

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

3

1999

НОВЫЙ МИР

1999

НОВОЛЕТНИЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(887)

Март, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Желябугские высылки. Двучастный рассказ.	
Адлиг Швенкиттен. Односуточная повесть	3
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ — Вороний пророк, стихи	56
ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА — Очередной отпуск, стихи	60
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — В четыре руки, стихи	63
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Актриса и милиционер, повесть	67
ЕЛЕНА УШАКОВА — Беглый след, стихи	117
ЛАРИСА МИЛЛЕР — Сик транзит, стихи	120
МИХАИЛ БЕЛЕНЬКИЙ — Обсерватория. Уроки ясновидения	123

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ИГОРЬ АНДРЕЕВ — В джунглях прапамяти. Африканские заметки	151
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«ПОШЛИ ТОЛКИ, ЧТО ДЕНЬГИ МОСКОВСКИЕ...». Письма Ильи Эренбурга Михаилу Кольцову 1935 — 1937 годов. Вступительная статья, публикация и комментарии А. И. Рубашкина. Послесловие Юрия Кублановского	164
---	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Долгое прощание у порога будущего	176
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СЛАВЕЦКИЙ — Поздние «александрийцы»	179
---	-----

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА — После литературоведения	186
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Алексей Смирнов. Прибавленный свет	194
Алексей Колобродов. Gursky-коктейль: от протокола к карнавалу	199
Станислав Айдинян. Городской альманах	202

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Борис Любимов. Воцерковление филологии	205
Валентин Оскоцкий. Оскал холокоста	208

Юрий Кублановский. — I. Вениамин Блаженный. Стихотворения.	
II. Евгений Карасев. Бремя безверья. Стихи	212
Лиля Панин. — Владимир Гандельсман. Долгота дня	214
Елена Касаткина. — Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским	216
Л. Опульская. — Сергей Толстой. Осужденный жить. Автобиографическая повесть	218

БЕСЕДЫ

«ПРОШЛОЕ НЕВОЗВРАТИМО». С Никитой Алексевичем Струве беседует писатель Вячеслав Репин	220
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	230
Периодика (составитель Андрей Василевский)	232
SUMMARY	240

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ДАНИИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГРАНИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ФАЗИЛЯ АБДУЛОВИЧА ИСКАНДЕРА
С 70-ЛЕТИЕМ
И С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
РОССИЙСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ
ПОощРЕНИЯ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА «ТРИУМФ»!**

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИКАМ МОСКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ
ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ
ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ «НОВОГО МИРА».**

Встречи наших читателей с авторами и сотрудниками журнала проходят каждый первый вторник месяца в 18.30 в зеленой гостиной Тургеневской библиотеки (метро «Тургеневская», «Чистые пруды», Бобров переулок, 6, строение 2, вход свободный).

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляр журнала «Новый мир».

А. СОЛЖЕНИЦЫН

*

ЖЕЛЯБУГСКИЕ ВЫСЕЛКИ

Двучастный рассказ

1

Четвёртый день, как мы вдвинулись в прорыв на Неручи. Прошлые сутки моя центральная стояла в *трубе* под железнодорожным полотном, там крепкая кладка, хороша от бомбёжки. Ещё и крестьянских баб с детворой там набилось до нас, да два десятка откуда-то взявшихся цыганок и цыган угнездились, — странно было после нашего двухмесячного стоянья в гражданском безлюдьи. А этой ночью в 3 часа дали моей батарее отбой: продвинуться. Пока свернули все посты — уже и свет. И, ещё до самолётного времени, перекатали в Желябугские Выселки.

Это называется — перекатали. Звукобатарее по штату шесть специально оборудованных автобусов, у нас же — драные трёхтонка и полуторка. Они везут только боевое и хозяйственное, да при том нескольких сопроводителей, остальная батарея нагоняет пешим ходом. Её ведёт обычно лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, а командир измерительно-вычислительного Ботнев, как и я, — гоним, в кабинах, выбирать центральную станцию.

Это — захватный момент: весь боевой порядок определяется выбором центральной станции. Чем мгновеннее выбрать её — тем быстрее и безопасней развернёмся. Но и выбрать — безошибочно, она — сердце батареи; осколок в сердце — и всей батарее как нет. Вкопать и брезентом перекрыть — в поле ржаном и так бывало, но это — с горя и накоротке.

Я четвёртые сутки обожжён и взбаламучен, не улегается. Всё, всё — радостно. Наше общее большое движение и рядом с Курской дугой — великанские шаги.

И какое острое чувство к здешним местам и здешним названиям! Ещё и не бывав здесь — сколько раз мы уже тут были, сколько целей пристреливали из-за Неручи, как выедали из карты глазами, впечатывали в сетчатку — каждую тут рожицу, овражек, переходмок, ручеёк Берёзовец, деревню Сетуху (стояли в ней позавчера), Благодатное (сейчас минуем слева, уже не увидим) и Желябугу, и, вот, Желябугские Выселки. И в каждой деревеньке заранее знали расположение домов.

Так, правильно: Выселки на пологом склоне к ручейку Паниковец. И мы — уже тут, докачались по ухабистому съезду с проезжей дороги. Пока самолётов нет — стали открыто. И — ребятам в кузова:

— Дугин! Петрыкин! Кропачёв! Разбегайся, ищи, может где подвал.

И — прыгают горохом на землю, разбежались искать. В Выселках уже кой-кто есть: там, здесь грузовики, вкопанные передами, наклоном, в апарели. Миномёты (уезжают вперёд). Дивизионные пушки — правее, на той

стороне лощинки. А я пока — по карте, по карте: куда пускать посты. Перед нами на запад — Моховое, оно крупное; у немцев до него ещё на той неделе доходили и поезда, разгружались. Моховое — будут держать, тут, наверно, постоим.

Приблизительно намечаю посты. (Точно выберет только Овсянников.) Они по фронту должны занимать километров пять (по уставу даже и до семи, но мы устав давно поправили, никогда шесть постов не разворачиваем, лишнее, а по нужде-спешке так и четыре; сейчас — пять). А впереди постов нужно найти место нашему наблюдателю — посту-предупредителю. Он должен стоять так (частенько в окопах пехоты), чтобы каждый звук от противника слышал раньше любого из крайних постов и — по выбору своему, тут искусство — решал, на какой звук нажать кнопку, запустить станцию — а на какой не нажимать.

— Нашо-о-ол! — кричит на подбеге кто же? наш «сын полка», 14-летний Митька Петрыкин, подобранный от начисто разорённого войной Новосилия — когда-то уездного, сейчас холмового белокаменного немого стража у слияния Неручи с Зушей. — Таащ старш... лет... по-о-огреб! Хороший!

Мы с Ботневым быстро шагаем туда. Как строят здесь — не под домом, а отдельно, с кирпичным обвершьем, дальше дюжина ступенек вниз. Но погреб не прохладный, душный: надышали за ночь-другую-третью ночлежники — хозяева ли, соседи — прячутся тут и вещей же наташили. Зато арочный кирпичный свод — лучше некуда.

Так нам странно и так радостно видеть живых русских крестьян, около домов — огороды живые, а в поле — хлеба. По советскую сторону фронта все жители, из недоверия, высланы на глубину километров двадцать, третий год ни живой души, ни посева, все поля заросли дикими травами, как в половине века.

(Но ту — обеспложенную, обезлюженную — ещё щемливее любишь. Приходит отчётливо: вот за это-то Среднерусье не жалко и умереть. Особенно — после болот Северо-Западного.)

А по немецкую сторону едва мы шагнули и видим: живут!

В погребе смотрят на нас с опаской. Нет, не выгоняем, свои:

— Придётся, друзья, придётся потесниться вам поглубже. А спереди — мы тут займём.

Бабы — мужиков нет, старик древний, ребятня — мягко охают: куды подвигаться? Но лица все такие родные. И рады, что не гоним вовсе.

— Да щас вам ребята мешки-корзины туда перекинут повыше, один на один. Давай, ребята!

Как ни теснись, а места надо порядочно: и для самого прибора и для четырёх малых столиков складных. Но, кажется, поместимся.

Выбрать место центральной — это был первый подгоняющий вихрь. Теперь второй: скорей спускать станцию в подвал. На это с нами и силы приехали: Дугин и Блохин — два сменных оператора на центральной приборе, и ещё из вычислительного взвода.

Пошёл вверх.

С востока обещательная розовость уже поднялась до вершины неба. И так выявились, до тех пор не видные, редкие перистые облачка.

Но — обещательно же возникает и самолётный гул. Как надоели, проклятые, до чего пригнетают.

А — нет. Нет-нет! Наши всё летят!

С этой весны — наши всё чаще в небе. И мы распрямляемся. В обороне стояли — ночами, в далёкий бомбовый налёт, с груженым гудом всё чаще плыли большими группами наши дальние бомбардировщики. (И что мы так рады? ведь это — по нашим же русским городам.) Когда по Орлу — то и видели мы за шесть десятков вёрст: пересеченные прожекторные лучи, серебряные разрывы зениток, красные ракеты и молненные

вспышки от бомбовых взрывов. А недавно узнали мы и торжествующие волны низкого возврата с ближней операции — Илов, штурмовиков, — и «ура» кричали им под крылья, это — прямая нам помощь тут, рядом.

Пролетают наши в высоте. Рассчитано точно, чтоб немцев заслепило: как раз выплывает край солнца.

Вычислительный взвод — слаженно работает, привыкли. Осторожно сняли из кузова центральный прибор, понесли вниз. И — столики за ним, и всё измерительно-чертёжное. А линейщики снаружи у подвала штабелюют проводные катушки с бирками постов: подключаться будем — тут, все линии потянем — отсюда. А старшина Корнев, распорядительный хозяин, выбрал для кухни местечко — пониже в кустах, не слишком прикрыто, но одаль от изб: по избяному порядку вполне пройдутся сверху пулемётами. И около ж кустов указал шоферам рыть аппарели для машин — и сам, здоровяк, им помогает: главно — хоть сколько-то принизить моторы в землю. Всё б это нам успеть поскорей.

Хожу, нервничаю, курю. Бессмысленно разворачиваю планшетку и снова, снова смотрю карту, хоть почти на память знаю.

Солнце взошло на полную. Облачка тают.

По склону от нас поднимается одна улица Выселок — уже и на ней нарыто свежих густо-чёрных воронок. А за малым овражком направо — плоская вторая улица. Там — батарейка семидесяти-шести развёрнута. Избы — как неживые: кто по погребам, кто в перелески подался. Ни одного дыма.

Ну же, ну же, Овсянников, да не столько же тут ходу.

А ведь идут! — открытой вереницей поднимаются из котловинки. И без бинокля чую, что — наши. Бодро идут, Овсянников ход задаёт. И вот сейчас, приблизятся, будет третий вихрь: каждый звукопост разберёт свою аппаратуру, катушки, свои вещмешки, свой сухой паёк — и за эти считанные минуты Овсянников должен по карте, уже на свою прикидку, уточнить места звукопостов; смеряя силы команд, назначить, кому первый, второй... пятый, и каждому начальнику звукопоста промахнуть отсюда по местности направление, как ему вести, чтоб не сбиться, азимут. А предупредителю — ещё особо. И вот эти десять-пятнадцать минут, пока вся батарея сгущена, — самые опасные. Рассредоточимся, не все шестьдесят в кучке, — будет легче.

Подходят наши, подходят — а дальше как по писаному, заученное. Посты хватко собираются на развёртывание.

С Овсянниковым садимся на поваленный ствол — поточней прикинуть места постов.

Кто-то перебранивается из-за катушек, чужую хорошую утащил, оставил с чининным проводом.

Лица у всех — невыспатые, примученные. Пилотки на головах сбиты у кого как. Но движенья быстры, всех держит это сознание: мы — не просто в какой-то безымянной местной операции, мы — в Большом Наступлении! Это много сил добавляет.

Линейные привязали концы — и потянули двухпроводные линии.

А от немцев уже летит — благородно хлюпающий крупный снаряд — через головы наши — и ба-бах! Наверно по Сетухе, при большой дороге.

И — первая сегодня «рама», двухфюзеляжный разведчик Фокке-Вульф, высоко, устойчиво завис, погуживает, высматривает, по кому стрелять. Наши зенитки не отзываются, да в «раму» почти бесполезно бить, всегда уклонится.

И — ещё туда, на Сетуху, несколько тяжёлых пролетело.

Пока утро прохладное — нам бы и засекать. Не вовремя нас передвинули.

На каждом звукопосту — 4-5 человек, а нести — тяжело и много, от одного аккумулятора плечо отсохнет; катушек бывает нужно по восемь, а

то и больше десятка; звукоприёмник — не тяжёлый, но трудноохватный куб, и ещё береги его пуше уха, повредишь большую мембрану, а то — осколком просечёт? Ещё трансформатор, телефон, другая мелочь. И автомат, у кого карабин, сапёрные лопатки — всё и тащи. (Противогазов уже давно не носим, все в кузова сбросили.)

Коренастый Бурлов повёл своих на первый, левый; компас у него на руке, как часы, он азимут всегда сверяет, точно идёт. У него в команде — и долговязый, всегда невозмутимый, всепереносный сибиряк Ермолаев, — на крайние посты Овсянников подбирает самых крепких. И Шмаков, как бы полуштрафник: в противотанковой не выдержал прямого боя, сбежал, куда глаза, попал на наш порядок. А у нас тоже от дезертиров не достача, комиссар махнул, сказал: «Бери его!» И — верно служит.

Сметливый Шухов (в ефрейторы мы его повысили, вместо сержанта раненого) повёл своих на второй. — Угрюмый чёрный Волков — на пятый, правый, северный, тоже дальний. — А средним звукопостам линия будет покороче, катушек меньше, у них и людей по-четверо.

С конопатым хмурым Емельяновым советуемся и по карте (когда бывает лишний экземпляр, то — и для него): предупредитель — работа тонкая, почти офицерская, а по штату ему так и ходить старшим сержантом и всегда попереди всех. На каждый нужный звук выстрела ему надо не упустить и полсекунды, и на слух определить калибр. (Потом, кто поближе к разрыву, ещё подправит.)

Оживился передний край — миномётная толчея с обеих сторон. Из наших Выселок семидесяти-шестёрки уже и палят — а мы ещё когда будем готовы. А спрос — не терпит.

У Овсянникова — ноги зудят обогнуть крайний пост: важен не только последний выбор ямки для звукоприёмника (а солдаты выбирают, где им легче устроиться, да ближе к воде) — но и ближайшее окружение чтоб не экранировало. (Был случай: шёл дождь, так в сарай занесли, а мы удивляемся, что за чёрт: все записи не резкие?) И — пошагал догонять Бурлова.

Сзади — ещё одна группка пешая к нам. По полосатым шестам, по треножникам видно — топографы. Вот вы — давайте скорей! эт-то нам надо!

Группку привёл командир взвода лейтенант Куклин, милейший мальчишок, и лицо мальчишеское и рост. Мой Ботнев, не намного взрослей, выговаривает ему:

— Вы что долго спите? Без вас наши координаты на глазок, кому годятся?

И правда: нас проверяют придирчиво, и все промахи в целях, в пристрелке — на нашу голову. А кто пошагает проверять топографов? — такого не бывало. Ошибутся они в привязке — и будем все цели ставить не там.

Присел я с Куклиным показать ему, где будут посты. Прошу:

— Юрочка, нет, не торопись. Но сделайте сперва три ближних поста, хоть для первой засечки. И сразу гони нам цифры.

Говорит: видели на ходу наш 3й огневой дивизион, сюда близко перекачивает, ещё не стали.

Куклин повёл свою цепочку к первому ясному ориентиру, от него пойдёт на шуховский. (Ориентир — он с карты снимается, это тоже неточно. А тригонометрической сети в перекатных боях никогда не дохватит.)

Не скажешь, у кого на войне работа хуже. Топографы вроде не воюют — а ходить им с теодолитами, с нивелирами, ленты тянуть по полям — прямо, как ворона летает: не спрашивай, где разминировано, где нет, и в любой момент под обстрел попадёшь.

А — уже нашли нас бригадные связисты. И тянут кабель на центральную, катушечники их поднимаются к нам от запруженного ручья.

Да кто — нашли? Не от огневых дивизионов, с которыми работать, те сами в переходе. Тянут — от штаба бригады, конечно, — и вот-вот оттуда начнут требовать целей.

Да только б и засекают нам с утра, пока воздух не разогрелся. Уже и долбачат немцы: вот один орудийный выстрел, там — налёт, снарядов с десятком, — так мы ещё не развёрнуты. А дневная работа будет сегодня плохая: станет зной, уже видно, и создастся *тепловая инверсия*: верхние воздушные слои разредаются от нагрева, и звуковые сигналы будут не загигаться вниз, к земле, а уходить вверх. Да это и на простой слух: снаряды, вот, падают, а сами выстрелы всё слабее слышны. Для звукометристов золотое время — сырость, туман, и всегда — ночь напролёт. Тогда записи исключительно чёткие, и цели — звонкие ли пушечные, глухие гаубичные — тут же и пойманы.

Но начальство никак этого закона не усвоит. Были б с умом — передвигали б нас днями, а не ночами.

Мы, инструментальный разведдивизион, — отдельная часть, но всегда оперативно подчиняют нас тяжёлой артиллерии, сейчас вот — пушечной бригаде. Сегодня нам будет парко: сразу два их дивизиона обслуживать: 2й — правой, к Желябуге, 3й — левой, к Шишкову.

У Ботнева в погребке уже втеснились: включили, проверили. Большой камертон позуживает в постоянном дрожании лапок. Чуть подрагивают стрелки на приборах. Все шесть капиллярных стеклянных пёрышек, охваченные колечками электромагнитов, готовы подать чернильную запись на ленту. У прибора сейчас — худошавый, поворотливый Дугин. (Он — рукобитый: каждую свободную минуту что-нибудь мастерит — кому наборный мундштук, кому портсигар, а мне придумал: из звукометрической ленты шить аккуратные блокноты, для военного дневника.)

Сбок прибора на прискамейке уткнулся телефонист, разбитной Енько. На каждом ухе висит у него по трубке, схвачены шнурком через макушку. В одну трубку — предупредитель, в другую — все звукопосты сразу, все друг друга слышат, и когда сильно загадят — центральный их осаживает, но и сам же до всех вестей падок: где там что происходит, у кого ведро осколком перевернуло.

А сразу за прибором — столик дешифровщика. За ним вплотную, еле сесть, столик снятия отсчётов. А к другой стене — столик вычислителя и планшет на наклонных козлах. В подвальном сумраке — три 12-вольтовых лампочки, одна свисла над ватманом, расчерченным поквadratно. Готовы.

Федя Ботнев в военном деле не лих, не дерзок — да ему, по измерительно-вычислительному взводу, и не надо. А — придиричиво аккуратен, зорек к деталям, как раз к месту. (Да даже к каждой соседней части, к технике их любознателен, при случае ходит приглядывается. Кончил он индустриальный техникум.) Любит и сам стать за планшеты, прогнать засекающие директрисы.

Но весь ход каждого поиска зависит от дешифровщика. У нас — Липский, инженер-технолог, продвинули мы и его в сержанты. Когда в работе не спешка — его единственного в батарее зову по имени-отчеству. (С высшим образованием у меня в батарее и ещё есть — Пугач, юрист. Очень убедительный юрист, всегда лазейку найдёт, как ему полегче. Не во всякий наряд его и пошлешь: то «помогает политруку», то «боевой листок выпускает».)

В глубине погреба бормочут глухо:

— Ну, стуконья! Ну, громовня...

— Да как бы мне пойтить глянуть: брадено у меня чего, аль не брадено? Один таз малированный остался, чего стóит.

— Всего имения, Арефьевна, не забереешь. Утютюкают напрямь — смотри и избы не найдешь.

— Ну, дай Бог обóйдется.

А снаружи — разгорается, уже в светло-жёлтом тоне, солнечный, знойный день. И те крохотные облачка растянуло, чистое-чистое небо. Ну, *будет* сегодня сверху.

У Исакова в кустах кухня уже курится.

Шофера усиленно кончают вкопку своих машин, помогают им по свободному бойцу. Ляхов — высокий, флегматичный, никогда и виду не подаст, что устал, не устал. А маленький толстенький Пашанин, нижегородец, разделся до пояса, и всё равно мохнатая грудь и спина потные, лоб отирает запястьем. Имел он неосторожность рассказать в батарее о горе своём: как бросила его любимая жена, актриса оперетты, — и стал он общий предмет сочувствия, однако и посмеиваются.

Ещё ж у меня Кочегаров околачивается, политрук батареи, а в напряжённый момент, когда все в разгоне, — ну не к чему его пристроить, и работать не заставишь. Сам-то был на гражданке шофёр, да только — райкома партии, и теперь взять лопату на помощь Пашанину — не догадается.

Первый звонок — с третьего поста, ближнего: дотянули, подключились, вкапываемся. На них и аппарат сразу проверили: хлопайте там (перед мембраной). Так. И выстрелы пишет. Порядок.

Но когда над одним постом пролетит самолёт — то уж, с захватом, испортит запись трёх постов.

От погреба расходящиеся веером линии — вкапывают линейные, каждый свою. На полсотню метров, чтобы в сгущеньи ногами не путаться — и чтоб хоть тут-то оберечь от осколков.

А уж — летят!! Летит шестёрка Хеншелей. Сперва высоко, потом снижают круг левее нас. Хлоп, хлоп по ним зенитки. Мимо. Отбомбились, ушли.

Наши тут несколько квадратных километров вдоль передовой густо уставлены: миномётами лёгкими и тяжёлыми, пушками сорокапятками и семидесяти-шести, гаубицами ста-семи, всякими машинами полуврытыми, замаскированными — бей хоть и по площади, не ошибёшься.

Меж тем в погребе ещё три места надо найти — для телефониста бригадного и от двух дивизионов. От поваленной липы отмахнули наши пилы — без двуручной пилы не ездим — три чурбачка, откатали их туда, вниз.

Ляхов — ввёл свой приопустевший ЗИС в апарель.

И пашанинский ГАЗ спустили. Ну, теперь полегче.

Со второго поста Шухов докладывает, чуть пришипячивая: дошли!

И их проверили. Порядок.

Доходят-то они все приблизительно, и ещё любят сдвинуться, себе поудобней. Но пока Всянников не проверит — копать им, может, и зря.

Из погреба крик:

— Таащ комбат, вызывают!

Ломай быстро ноги по кирпичным ступенькам.

Так и есть, бригада: сорок второй, ждём целей!

Отбиваюсь: да дайте ж развернуться, привязаться, вы — люди?

А — доспать бы, клонит. Смотрю на ребят в погребе — и они бы.

— Ну, пока нет работы — клади головы на столы!

И приглашать не надо — тут же кладут. Это последний льготный получасик.

Солнце поднимается — жары набирает.

Подключился и четвёртый пост, и предупредитель. На трёх постах уже можно грубо прикидывать — хоть из какого квадрата бьёт.

От начала работы у центральной дежурят двое линейных: бежать по линии, какую перебьют — сращивать. А от каждого поста — бегут навстречу, так что на один перебив два человека, никогда не знаешь, ближе куда. Починка линий — всего и опасней: ты открыт и в рост, как ни гнишь, а при налёте — шлёпайся к земле. Когда огневого налёта в зримости нет —

дежурный линейный и сам бежит, дело знает. А при горючей крайности — кто-то должен решить и послать. Если Овсянников здесь — то он, а нет — так я. Но по смыслу работы — и без офицеров, сержант от центрального прибора сам гонит, он отвечает: не хватит звукопостов, не засечём — может быть больше урона. А каждый такой гон может стоить линейному жизни, уже потеряли мы так Климанского. А как раз когда порывы, когда снаряды летят — тогда-то и засечка нужна.

Сейчас — Андреяшин, вот, дежурит. Сел на землю, спиной об кирпичную арку. Проворный смуглёныш, невысокий, уши маленькие. Только только взятый, с 25го года. Я прохожу — вскочил.

— Сиди, не навстаёшься!

Но, уже вставши, сверкает тёмными просящими глазами:

— Тааш старштенант! А вы меня в Орле часа на три отпустите?

Он — из Орла. Рос беспризорником, а какой старательный в деле. Хоть бессемейный, а есть же и ему в Орле кого повидать, поискать.

— Ещё, Ваня, до Орла добраться. Погоди.

— А — когда дойдём? Я — нагоню, нагоню вас, не сомневайтесь!

— Отпущу, ладно. Да может — и надольше. Неужели ж мы в Орле не постоим?

— И бурловский! — из погреба кричат навстречу мне.

Крайний левый! Теперь мы — в комплекте.

Дугин руки потирает:

— О то розвага! Ве-се-ло!

Отдаётся ему из глубины:

— Хорошая у вас весельба.

Ну, теперь не пропадём, засекаем. Привязку бы. (До привязки посты на планшете поставлены пока грубо, как наметили их по карте.)

На передовой — толчёный гуд перестрельной свалки. Но — всплесками. И если артиллерийский выстрел попадает в промежуток — то мы его берём.

У Исакова — каша готова. Побежала посменно центральная с котелками.

А в воздухе — зачастили, закрылили и наши, и немцы — но наших больше! Схватки не видно, те и другие клюют по передовым. Там — большая стычка, и по земле взрывы отдаются, вот и засекай.

Емельянов с предупредителя:

— Пока сидим с пехотой, своего не отрыли, не дают. И покрывать нечем. Пташинского — как не поцарапало? — пуля погон сорвала.

Пташинский, его сменщик на предупредителе, — ясный юноша, светлоокий, очень отчётливый в бою.

Всё-таки две цели мы пока нащупали, уже и пятью постами — 415ю и 416ю. Наша задача — координаты; калибр — это уж по ушному навыку, да и по дальности можно догадаться.

Из бригады донимают:

— Вот сейчас по Архангельскому — (это там со штабом рядом) — какая стреляла?

— От Золотарёва-третьего, 415я.

— Давайте координаты!

— Без привязки — пока не точно...

Отвечают матом.

Дошагал Овсянников с постов, километров десять круганул. Пошли с ним хватнуть горячего. Сели на лежащую липу.

Простодушного Овсянникова, да с его владимирским говорком, — люблю братски. Курсы при училище проходили вместе, но сдружились, когда в одну батарею попали. На Северо-Западном, в последний час перед ледоходом на Ловати, он сильно выручил батарею, переправил без облома. Или тот хутор Гримовский нас скрестил — весь выжженный, одни печные трубы стоят, и немцами с колокольни насквозь просматривается. Цент-

ральная вот так же в погребке, а мы с ним сидим на земле, ноги в щель, между нами — котелок общий. Так пока этот суп с тушёной дохлебали — трижды в щель прыгивали от обстрела, а котелок наверху оставался. Вылезем — и опять ложками таскаем.

Тут-то, за нашим склоном, Желябугские Выселки немцу прямо не видны, только с воздуха. Кручу махорочную цыгарку, а Виктор и вообще не курит. Рассказывает, как и где посты поправил. Кого, по пути идучи, видел, где какие части стоят. В Моховом у немцев виден сильный пожар, что-то наши подожгли.

— Натя-агивают. Будем дальше толкать, не задержимся.

Не докурил я, как слева, от главной сюда дороги — колыхаются к нам, переваливаются на ухабинках — много их! Да это — «катюши»!

Восемь машин полнозаряженных, дивизион, они иначе не ездят. Сюда, сюда. Не наугад — высмотрел им кто-то площадку заранее. И становятся все восьмеро в ряд, и жерла — поднимаются на немцев. От нас — двадцать метров, в такой близости и мы их в стрельбе не видели. Но знаем: точно стоять нельзя, вбок подались. И своим — рукой отмахиваю, предупреждаю, все вылезли лупить.

Залп! Начинается с крайней — но быстро переходит по строю, по строю, и ещё первая не кончила — стреляет и восьмая! Да «стреляют» — не то слово. Непрерывный, змееподобный! — нет, горынычеподобный оглушающий шип. Назад от каждой — огненные косые столбы, уходят в землю, выжигая нацело, что растёт, и воздух, и почву, — а вперёд и вверх полетели десятками, ещё тут, вблизи, зримые мины — а дальше их не различишь, пока огненными опахалами не разольются по немецким окопам. Ах, силища! Ах, чудища! (В погребе от катюшиного шипа бабы замерли насмерть.)

А крайняя машина едва отстрелялась — поворачивает на отъезд. И вторая. И третья... И все восемь уехали так же стремительно, как появились, и только ещё видим, как переколыхиваются по ухабам дороги их освобождённые наводящие рельсы.

— Ну, шас сюда по нам жарнёт! — кто-то из наших.

Да и не жарнёт. Знают же немцы, что «катюши» мигом уезжают.

Идём с Овсянниковым досиживать на липе.

Чуть передых — мысли лезут пошире.

— Да! — мечтаю. — Вот рванём ещё, рванём — и какая ж пружина отдаст в Европе, сжатая, а? После такой войны не может не быть революции, а?.. это прямо из Ленина. И война так называемая отечественная — да превратится в войну революционную?

Овсянников смотрит мирно. Помалкивает. С тех пор, как он нашёл у немцев бензинный порошок, — уже не верит, как пишут в газетах, что немцы вот-вот без горючего останутся. А беспокой у него — о предупредителе:

— Им там — головы не высунуть, не то что кипятку. — Окает: — Плохо им там. Посмотримте по карте: на сколько я могу перенести их вбок? назад? Я их быстро перетяну, даже без отключки.

Померили циркулем. Метров на триста—четырееста можно.

Пошёл — шагастый, неутомимый.

А Митька Петрыкин, вижу, ладит, как бы ему в пруду искупаться. Зовёт свободных вычислителей, те щели роют.

А вот и притянули к нам: справа — от 2го дивизиона, слева — от 3го. Вкапывают свою подводку и они. Наша центральная станция, по проводам, — как важный штаб, во все стороны лучами. В погреб втиснулись теперь и они все трое, на чурбачки, а телефоны уж на коленях.

И сразу — меня к телефону. Из 3го, комбат 8й Толочков. Нравится он мне здорово. Ростом невысок, отчаянный, и работе отдаётся сноровисто, всё забывает. Хорошо с ним стрелять.

— Цели, цели давай! Скучаю.

— Ну подожди, скоро будут. Ждём привязки. Вот 418ю шупаем.

Без звуковой разведки — артиллерийскую цель и найдёшь редко: только в притёмке, по вспышке, прямым наблюдением — и если позиция орудия открытая.

И из 2го дивизиона — сразу же мне трубку. По голосу слышу — сам комдив, майор Боев.

— Саша, у нас серьёзная работа сегодня, не подведи.

— Сейчас продиктуем несколько, но пока без привязки.

— Всё равно давай. А вот что: вечером приходи ко мне в *домик*.

В штаб дивизиона, значит.

— А что?

— Там увидишь.

Я, было, наружу — а сюда, по ступенькам Юра Куклин почти бегом. И съёт мне лист — со всеми нашими координатами.

— Если постоите — ещё уточним.

— Спасибо, ладно. — И сразу передаю планшетисту Накапкину.

Он тут же набирает измерителем с точностью до метра по металлической косоразлинованной угломерной линейке — и на планшете с крупной голубой километровой сеткой откладывает икс и игрек для каждого звукопоста, исправляет прежние временные.

Теперь — заново соединяет точки постов прямыми, заново перпендикуляры к ним, а от них заново — ведёт лучи на цели. Начиная с 415й все цели теперь пошли на новую откладку.

По ленте центрального прибора для каждого звукоприёмника течёт своя чернильная прямая. Там, на посту, колыханье мембраны отдаётся здесь, на ленте, вздрогам записи. По разнице соответственных вздрогов у соседних приёмников и рассчитывается направление луча на планшете. И в идеальных условиях, как ночью и в холодную сырость, эти три-четыре луча все сходятся в одну точку: то и есть — место вражеского орудия, диктуй его на наши огневые!

Но когда много звуковых помех да ещё эта, от зноя, отгибающая звук инверсия — то всё звуковое колебание расплывчато, искажено или слабо выражено, момент вздрoga нечёткий, откуда считать? А не так угадаешь отсчёты — не так пойдут и лучи на планшете. И желанной точки — нету, растянулась в длинный треугольник. Ищи-щищи.

Кажется, так и сейчас. Ботнев нависает над Накапкиным, хмурится.

С Ботневым — тоже у нас немало за плечами. Шли, как обычно, на двух машинах. К назначенному месту не проехать иначе, как по этому просёлку на Белоусово. Но стоп: воткнут у дороги шестик с надписью: «Возможны мины». Да блекло и написано как-то. А на боковые дороги переезжать — далеко отводят, даже прочь. Э-э-эх, была не была, русский авось. На полуторке Пашанина — рву вперёд! Ногами давишь в пол — как бы удержать, чтоб мина не взметнулась, глазами сверлишь дорогу вперёд: вот не под этой кочкой? вот не в этой разрыхлёнке? Прокатили метров триста — слышим сзади взрыв. Остановились, выскочили, противотанковая пешему не опасна, смотрим назад: у ляховской машины сорвало правое колесо, крыло, но остальное цело, и Ляхов, и в кузове бойцы — только Ботнев, с его стороны взорвалось, — тоже цел, но куда-то бежит, бежит по холмику вверх. И там очнулся в одичалом непонимании, полуконтуженный. (Но первая машина и дальше прошла, достигла места; остальное, что надо, донесли на руках.)

Не-ет, треугольник порядочный. Где-то, где-то там 415я, а не даётся. А она явно — ста-пятидесяти, и не одиночное орудие. И — дальше надо ловить, но и из записей, взятых, сумеешь же высосать. Утыкаюсь в ленты 415й.

По размытым началам — отсчётов не взять, но искать какой другой — пичок, изгиб? — и взять отсчёты по ним?

На местных тут, в подвале, мы даже не смотрим, иногда прикрикнем, чтоб не гадели. А вот мальчишка, лет десяти, опять к ступенькам пробирается.

— Ты куда?

— Смотреть. — Лицо решительное.

— А огневой налёт, знаешь такой? Не успеешь оглянуться — осколком тебя продырявит. В каком ты классе?

— Ни в каком, — втянул воздух носом.

— А почему?

Война — нечего и объяснять, пустой вопрос. Но мальчик хмуро объясняет:

— Когда немцы пришли — я все свои учебники в землю закопал. — Отчаянное лицо. — И не хочу при них учиться.

И видно: как ненавидит их.

— И все два года так?

Шморгнул:

— Теперь выкопаю.

Чуть отвернулись от него — а он по полу, на четвереньках, под столиком вычислителя пролез — и выскочил в свою деревню.

Меня — к телефону. Помощник начальника штаба бригады нетерпеливо:

— Какая цель от Золотарёва бьёт, дайте цель!

Да я же её и ищу, дайте подумать. Мне бы легче — ткнуть иглой в планшет, они десяток снарядов сбросят и успокоятся. А при новом обстреле сказать — это, мол, новая цель. Но не буду ж я так.

Который раз объясняю ему про помехи, про самолёты, про инверсию. Потерпите, работаем.

А меня — к другому телефону. Из 3го дивизиона, начальник штаба. Тот же вопрос и с тем же нетерпением.

Этого, капитана Лавриненку, я хорошо узнал. Хитрый хохол. Один раз зовёт пристреливать: кладём первый снаряд, корректируйте. — Сообщая им разрыв: теперь надо левой двести метров и дальше полтораста. — Кладём второй, засекайте. — Нету разрыва. — Как может быть нету? мы выстрелили. — Ах, вон что: записали мы разрыв, но на полкилометра правей. Куда ж это? Вы там пьяные, что ли? — Ворчит: — Да, тут ошиблись немножко, ну засекайте дальше. — И с одного же раза не поверил. Другой раз скрытно дал связь и к 1й звукобатарее, моя 2я, и обеим сепаратно: засекайте пристрелку! И — опять же сошлось у двух батарей. Теперь-то верит. Но вот теребит: когда ж координаты?

Да, кладёт тяжёлая, ста-пятидесяти, разрывы левее нас, между штабом бригады и штабом 3го — она и есть, наверно, 415я, но такой бой гудит, и по переднему краю и от двух артиллерий — не возмёмшь: при каждой засечке цель на планшете ускользает куда-то, треугольник расплывается поновому.

То и дело предупредитель запускает ленту. Одной неудачной сброшенной ленты ворох покрыл Дугину все ноги по колена. Уже большую катушку сменили.

А надо — кому-то поспать в черёд. Федя, иди в избу, поспи. А я пока буду здесь, догрызать 415ю.

Енько с двумя трубками на голове, а балагур. Доглядел: там, глубже, какая ж девушка прелестная сидит.

— А тебя, красуля, как звать?

Кудряшки светлые с одного боку на лоб. И живоглазка:

— Искитея.

— Это почему ж такое?

Старуха с ней рядом:

- Какое батюшка дал. А мы её — Искоркой.
- И сколько ж тебе?
- Двадцать, — с задором.
- И не замужем??
- Война-а, — старуха отклоняет за молодую. — Какое замужество.
- Енько — чуть из трубки не пропустил, одну с уха отцепляет мне:
- Лейтенант Овсянников.

Сообщает Виктор с предупредителя. Ползком пришлось. Перетащил их назад немного. Тут два камня изрядных, за ними траншею роет. Но всё равно горячее место.

— А вообще?

— А вообще: справа на Подмаслово, наши танки два раза ходили. Вклинились, но пока стоят. По ним сильно лупят.

— Ну ладно, хватит с тебя. Возвращайся, да отдохни. Ещё ночь какая будет.

— Нет, ещё с ними побуду.

Всё-таки, других целей мал-помалу набирается. Прямо чтобы в точку — ни одной. Но по каким треугольникам небольшой — колем в его центр тяжести и диктуем координаты обоим дивизионам. А 415ю — каждый раз по-новому разносит, не даёт.

А эта Искорка — тоже непоседа, пробирается на выход. Платье в поясе узко пережато, а выше, ниже — в полноте.

— Ты — куда?

— А посмотреть, чего там у нас разобрáто. Всё хозяйство порушат.

— Да кто ж это?

— Ну да! И ваши кур лавят, — глазами стреляет.

— А где ваша изба?

Лёгкой рукой взмахнула, как в танце:

— А по этому порядку крайняя, к лозинам.

— Так это далеко, — удерживаю за локоть.

— А чего ж делать?

— Ну, берегись. Если подлетает — сразу наземь грохайся. Ещё приду — проверю, цела ты там?

Порх, порх, вертляночка, по ступенькам — убежала.

Изводим ленту. Слитный гул в небе, наших и ваших. Ах, рычат, извиваются, на воздушных изворотах, кому достанется. И ещё друг по другу из пулемётов.

Сверху, от входа, истошно:

— Где ваш комбат?

И наш дежурный линейный — сюда, в лестницу:

— Товарищ старший лейтенант! Вас спрашивают.

Поднимаюсь.

Стоит по-штабному чистенький сержант, автомат с плеча дулом вниз, а проворный, и впопыхах:

— Таащ стартенан! Вас — комбриг вызывает! Срочно!

— Где? Куда?

— Срочно! Бежимте, доведу!

И что ж? Бежим. Вприпуск. Пистолет шлёпает по бедру, придерживаю.

Через все ухабы отводка просёлочной к Выселкам. Во-он виллис-козёл стоит на открытой дороге. Подъехать не мог? Или он это мне в проучку? Бежим.

Подбегаем. Сидит жгуче-чёрный полковник Айруметов.

Докладываюсь, рука к виску.

Испепеляя меня чёрным взором:

— Командир батареи! За такую работу отправлю в штрафной батальон!!

Так и обжёт. За что?.. А и — отправит, у нас это быстро.

Руки по швам, бормочу про атмосферную инверсию. (Да никогда им не принять! — и зачем им что понимать?) А на постороннюю стрельбу вздорно и ссылаться: боевой работе — и никогда не миновать всех шумов.

Слегка отпустил от грозности и усмехнулся:

— А бриться — надо, старший лейтенант, даже и в бою.

Ещё б чего сказал? но откуда ни возьмись — вывернулись поперек леска два одномоторных Юнкерса. И как им не увидеть одинокий виллис на дороге, а значит — начальство? Да! Закрутил, пошёл на пикировку!

А тот связной — уже в козле сзади. А зоркий шофер, не дожидаясь комбригова решения — раз-во-рот! раз-во-рот!

Так и не договорил полковник.

А первый Юнкерс — уже в пике. И, всегда у него: передние колёса — как когти, на тебя выпущенные, бомбу — как из клюва каплю вырывает. (А потом, выходя из пике — как спину изогнёт, аж дрожит от восторга.)

Отпущен? — бегу и я к себе. И — хлоп в углубинку.

Позади — взр-р-ыв!! Оглушение!

Высунулся, изогнулся: виллис у-дул! у-драпал, во взмёте дорожной пыли!

Но — второй? Второй Юнкерс — продолжил начатый круг — и прямо же на меня? Да ведь смекает: у виллиса стоял — тоже не рядовой? Или с досады, в отместку?

Думать некогда, бежать поздно — и смотреть кверху сил нет. Хлопнулся опять в углубину, лицом в землю — чем бы голову прикрыть? хоть кистями рук. Неужели ж — вот здесь?.. вот так случайно и глупо?

Гр-р-ро-охот! И — гарь! Гарью — сильно! И — землёй присыпало.

Цел?? Они-таки часто промахиваются. Шум в голове страшный, дурная голова.

Бежать! бежать, спотыкаясь по чёртовым этим ухабинам. Да ещё — на подъём.

Как бы и Выселки не разбомбили, а у нас тут все линии веером. Да и погреб ли выдержит?

Нет, отвязались Юнкерсы: там, наверху, своя разыгрывается жизнь, гоняются друг за другом, небу становится не до земли.

А от слитного такого гула — и вовсе ничего не запишешь. Иди в штрафбат.

Соседняя батарея семидесяти-шести — снимается из Выселок, перетягивают её вперёд, пожарче.

Ох, и гудит же в голове. Голова — как распухла, налилась. Да и сама же собой: ото всего напряженья этих дней, оттого, что в сутках не 24 часа, а 240.

Но сверх всех бессонниц и растёт в тебе какое-то сверхсильное настроение, шагающее через самого себя, — и даже легкоподвижное, крылатое состояние.

— Михаил Лонгиныч, отдайте мне все ленты по 415й, я сам буду искать, а вы — остальные.

Послал Митьку принести мне мой складной столик, ещё есть, сверхштатный. Поставил его близ погребца, в тенёчек под ракушкой.

— Табуретку найди, из какой избы.

Притащил мигом.

Сажу, разбираюсь в лентах. Думаю.

Уставный приём: снимать отчёты по началу первого вздрога каждого звукопоста. Но когда начала размыты, не исправишь, — научились мы по-разному. Можно сравнивать пики колебаний — первый максимум, второй максимум. Или, напротив, минимум. Или вообще искать по всем пяти колебаниям однохарактерные места, изгибы малые — и снимать отчёты по этим местам.

Делаю так, делаю этак, — а Митька таскает ленты в погреб, на обработку. Когда треугольник в пересечениях уменьшается — Накапкин зовёт меня посмотреть планшет.

Между тем 2й дивизион требует от нас корректировки. Близко справа стали ухачь пушки 4й и 5й батарей.

Мы, сколько разбираем, выделяем их разрывы из других шумов и диктуем координаты. Они доворачивают — мы опять проверяем.

С 5й батареей Мягкова всё ж умудрились пристрелять и покрыть 421ю. Звонит с наблюдательного, доволен, говорит: замолчала.

И — какая ж благодарность к прилежному вычислительному взводу.

Белые мягкие руки Липского — на ленте, разложенной вдоль стола.левой придерживает её, правой, с отточенным карандашом, как пикой, метит, метит, куда правильно уколоть, где вертикальной тончайшей палочкой отметить начало вздрога. (А бывает — и фальшивое. Бывает — и полминуты думать некогда, а от этого зависит лучший-худший ход дела.)

Сосредоточенный, с чуть пригорбленными плечами Ушатов прокатывает визир по линейке Чуднова, снимает отсчёт до тысячных долей.

Вычислитель Фенюшкин по таблицам вносит поправки на ветер, на температуру, на влажность (сами ж и измеряем близ станции) — и поправленные цифры передаёт планшетисту.

Планшетист (сменил Накапкина чуткий Кончиц), почти не дыша, эти цифры нащупывает измерителем по рифлёным скосам угломера. И — откладывает угол отсчёта от перпендикуляра каждой базы постов. Сейчас погонит прямые — и увидим, как сойдётся.

И от совестливой точности каждого из них — зависит судьба немецкой пушки или наших кого-то под обстрелом.

(А Накапкин, сменясь, пристроился писать, от приборных чернил, фронтую самозаклейную «секретку» со страшной боевой сценой, как красноармейцы разят врага, — то ли домой письмо, то ли девочке своей.)

А наши звукопосты пока все целы. Около Волкова была бомбёжка, но пережили, вот уже и вкопаны. Два-три порыва было на линиях, всё срастили.

У сухой погоды своё достоинство: провода наши, в матерчатой одежке, не мокнут. Резина у нас слабая, в сырость — то заземление, то замыкание. А прозванивать линии под стрельбой — ещё хуже морока. Немцы этой беды не знают: у них красно-пластмассовый литой футляр изоляции. Трофейный провод — у нас на вес золота.

Между тем зовёт меня Кончиц: моя 415я даёт неплохое пересечение, близко к точке. Решаюсь. Звоню Толочкову:

— Вася! Вот тебе 415я. Не пристреливай её, лучше этого не поправим, дай по ней налётник сразу, пугани!

Эт-то по-русски! Толочков шлёт огневой налёт, двадцать снарядов сразу, по пять из каждой пушки.

Ну, как теперь? Будем следить.

Тут — сильно, бурно затолкло на нашем склоне. Смотрю: где верхние избы нашей улицы и раскидистые вётлы группкой, куда Искитея побежала, — побочь их, по тому же хребтику — рядом два десятка чёрных фонтанных взлётов, кучно кладут! Ста-пяти, наверно. Кто-то там у нас сидит? — нащупали их или сверху высмотрели.

Хотя в небе — наши чаще. Вот от этого спину прямит.

В погреб сошёл, говорят: трясенье было изрядное. А то уж средь баб разговор: чего зря сидим? иди добро спасать. Теперь уткнулись.

Но — опять, опять нутряное трясение земли — это, знать, ещё ближе, чем тот хребтик.

Дугин нервно, отчаянно орёт наверх:

— Второй перебило!.. И третий!! И четвёртый!!

Значит, тут — близко, где линии расходятся. А с постов — все три погонят линейных зря, не знают же.

Меня ж хватает сзади, тянет бригадный телефонист. Почти в ужасе:

— Вас с самого высокого хозяйства требуют!

Ого! Выше бригады — это штаб артиллерии армии. Перенимаю трубку:

— Сорок второй у телефона.

Слышно их неважно, сильно издали, а голос грозный:

— Наши танки остановлены в квадрате 74-41!

Левой рукой судорожно распахиваю планшетку на колене, ищу глазами: ну да, у Подмаслова.

— ...От Козинки бьёт фугасными, ста-пятидесяти-миллиметровыми...

Почему не даёте?

Что я могу сказать? Выше прясла и козёл не скачет. Стараемся! (Опять объяснять про инверсию? уж в верхнем-то штабе учёном должны понимать.)

Отвечаю, плету как могу.

Близко к нам опять — разрыв! разрыв!

И сверху крик:

— Андрея-а-ашина!!

А в трубку (левое ухо затыкаю, чтоб лучше слышать):

— Так вот, сорок второй. Мы продвинемся и пошлём комиссию проверить немецкие огневые. И если окажутся не там — будете отвечать уголовно. У меня всё.

У кого — «у меня»? Не назвался. Ну, не сам же командующий артиллерией? Однако в горле пересохло.

За это время — тут большая суматоха, кричат, вниз-вверх бегут.

Отдал трубку, поправляю распахнутую обвислую планшетку, не могу понять: так — что тут?

Енько и Дугин в один голос:

— Андреяшина ранило!

Бегу по ступенькам. Вижу: по склону уже побежали наверх Комяга и Лундышев, с плащпалаткой. И за ними, как прихрамывая, не шибко охотно, санинструктор Чернейкин, с сумкой.

А там, метров сто пятьдесят — да, лежит. Не движется.

А сейчас туда — повторный налёт? и этих трёх прихватит.

Кричу:

— Пашанина ищите! Готовить машину!

Счёт на секунды: ну, не ударьте! не ударьте! Нет, пока не бьют, не повторяют.

Дугин, не по уставу, выскочил от прибора, косоватое лицо, руки развёл:

— Таащ стартенант! Тильки два крайних поста осталось, нэчого нэ можем!

Добежали. Склонились там, над Андреяшиным.

Ну, не ударь! Ну, только не сейчас!

В руках Чернейкина забелело. Бинтует. Лундышев ему помогает, а Комяга расстилает палатку по земле.

Ме-едленно текут секунды.

Пашанин прибежал заспанный, щетина чёрная небритая.

— Выводи машину. На выезд.

А там — втроём перекалывают на палатку.

Двое понесли сюда.

А Чернейкин, сзади, ещё что-то несёт. Сильно в стороне держит, чтоб не измазаться.

Да — не ногу ли несёт отдельно?..

От колена нога, в ботинке, обмотка оборванная расхлестнулась.

Несут, тяжело ступая.

К ним вподмогу бегут Галкин, Кропачёв.

И Митька за ними: тянет паренька глянуть близко на кровь.

И — тутошний малец за ним же, неуёма.

Про Галкина мне кто-то:

— Да он чуть замешкался. И он бы там был, его линия — тоже.

А Андреяшин, значит, сам вырвался, птицей.

Вот — и отлучился в Орле... Посетил...

Без ноги молодому жить. И отца-матери нет...

Подносят, слышно, как стонет:

— Ребята, поправьте мне ногу правую...

Ту самую.

Обинтовка с ватой еле держит кровь на культе. Чернейкин ещё прикладывает бинта.

Лундышев: — Он и ещё ранен. Вон — пятна на боку, на груди.

Осколками.

Вот и отлучился...

Лицо смугленьша ещё куда темней, чем всегда.

— Ребята, — просит, — ногу поправьте...

Оторванную...

Неровное, мягкое, больное — трудно и поднять ровно. И в кузов трудно.

Капает кровь — на землю, на откиннутый задний борт.

— Да и... — киваю на ногу, — её возьмите! Кто знает, врачам понадобится.

Взяли.

— Теперь, Пашанин: и скоро, и мягко!

По тем ухабам как раз.

Да Пашанин деликатный, он повезёт — как себя самого раненого.

И двое в кузове с Андреяшиным.

Закрыли борт — покатила машина.

Хоть и выживет? — ушёл от нас.

А к Орлу его — прямо и идём, прямёхонько в лоб.

Хмуро расходились.

Да, вспомнил: уголовно отвечать.

А Дугина — служба томит:

— Таащ старштенант! Так трэба срашивать? Як будэмо?

И линейные — сидят на старте, готовые. Со страхом. Тот же и Галкин, по случайности уцелевший.

А там — по нашим танкам бьют.

Кого беречь? Там — беречь? Здесь — беречь?

— По-до-ждите, — цежу. — Маленько ещё подождём.

И — как чувствовал! Выстрелы почти не слышны, и от шума, и от зноя — а всей толчейей! — полтора десятка ста-пяти-миллиметровых — опять же сюда! где Андреяшина пристигло, и ещё поближе — чёрные взмёты на склоне!

Одну избу — в дым. С другой — крышу срезало.

— Не говорите им там, в подвале.

Вот так бы и накрыли, когда тело брали.

Митька — снизу, от Дугина, ко мне с посланием:

— И предупредитель перебило! — так кричит, будто рад.

Так и тем более, извременно.

Как deduшка мой говорил: «Та хай им грець!» Одно к одному.

За всю армию — не мне отвечать. Да и командующий не ответит. А на мне — вот эти шестьдесят голов. Как Овсянников говорит: «Надо нам людей беречь, ой беречь».

Ещё сождём.

Курю бессмысленно, только ещё дурней на душе.

И — какое-то отупение переполняющее, мозг как будто сошёл с рельсов, самого простого не сообразишь.

Прошло минут двадцать, больше налёта нет. Теперь послал Галкина и Кропачёва — чинить. Раз перебиты все сразу — так тут и порывы, при станции, на виду. На боках у них по телефону — прозванивать, проверять.

А к телефону самым нижним — меня опять звали.

Комбатам соседним объяснил: посты перебиты.

Толочков считает: 415ю подавили, не проявляется.

А налёта — так больше и нет. Починили. Где и кровь Андреяшина.

Вернулись. Ну, молодцы ребята.

Только звуки немецких орудий — всё те ж нечёткие. Шпарит солнце — сил нет. Облака кучевые появились, но — не стянутся они.

Ботнев сменил меня на центральной.

Вернулся Овсянников. Умучился до поту, гимнастёрка в тёмных, мокрых пятнах. Про Андреяшина уже по проводу знал. На возврате и он попал под налёт. Перележал на ровнине, ничем не загородишься. Предупредителю, хоть и за камнями теперь, — тяжело, головы не высунешь.

И у самого — пилотку потную снял — голова взвихрена, клоки неuléжные, дыбятся. А порядливо так рассказывает обо всём, с володимирским своим оканьем.

— Иди, Витя, поспи.

Пошёл.

А текут часы — и ото всего стука, грока, от ералаша, дёрганий твоё сверхсильное напряжение начинает погружаться в тупость. Какой-то нагар души, распухшая голова — и от бессонницы, и от взрыва не прошло, голову клонит, глаза воспалены. Как будто отдельные части мозга и души — разорвались, сдвинулись и никак не станут на место.

А к ночи надо голову особенно свежую. Теперь пошёл спать и я, в избу. На кровати — грязное лоскутное одеяло, и подушка не чище. И мухи.

Положил голову — и нет меня. Вмерть.

Долго спал? Солнце перешло сильно на другой бок. Спадает.

Ходом — к станции.

А тут — Пашанин с котелком, после обеда.

Вернулись?

Он — соболезым, траурным голосом, как сам виноват:

— В медсанбате сразу и умер. Изрешеченный весь.

Вот — так.

Так.

Спускаюсь к прибору, о работе узнать.

Все наши — угнетены. Уже другая смена за всеми столами.

И бабы не галдят: покойник в доме.

— На 415ю нет похожей?

Кончиц от планшета: — Нету такой.

За это время, оказывается, наши дважды крупно бомбили немецкий передний край, и особенно — Моховое. А я ничего не слышал.

И порывы были там-сям, бегали чинить.

А Овсянников где?

На правые посты ушёл.

Неутомный.

Что-то и дёргать нас перестали.

Но отупенье — не проходит. Вот так бы не трогали ещё чуть, в себе уравновеситься. И до темноты.

И обедать не стал, совсем есть не хочется.

А от Боева звонили, напоминали: в двадцать ноль-ноль ждёт сорок второго.

Вот ещё... Да тут километр с малым, можно и сходить.

Да уже скоро и седьмой час...

Как-то и стрельба вся вялая стала. Все сморились.

Не продвигаемся.

И самолётов ни наших, ни их.

Сел под дерево, может запишу что в дневник? От вчерашних цыган — не добавил ни строчки.

А мысли не движутся, завязли. И — сил нет карандашом водить.

За эти четыре дня? Не приспособлен человек столько вместить. В какой день что было? Перемешалось.

Вернулся Овсянников, рядышком на траву опустился.

Помолчали.

Об Андреяшине.

Молчим.

— А когда Романюк себе палец подстрелил, это в какой день было?

— Дурак, думал его так легко спишут. Теперь трибунал.

— Колесниченко хитрей, ещё до наступления загодя сбежал.

— И пока с концами.

Пошли вниз к ручью, обмылись до пояса.

Ну, к вечеру. Солнце заваливает за наши верхние избы, за гребень, скоро и за немцев. Наших всех наблюдателей сейчас слепит.

Полвосьмого. Часа через полтора уже начнётся работа настоящая.

А что — полвосьмого? Что-то я должен был в восемь? Ах, Боев звал. Пойти, не пойти? Не начальник он мне, но сосед хороший.

— Ну, Ботнев, дежурь пока. Я — на часок.

А голова ещё дурноватая.

Дорога простая: идти по их проводу. (Только на пересеченьях проводов не сбиться.)

Перенырнул лошинку, на ту возвышенную ровную улицу. В ней — домов с десятков, и уцелели, все снаряды обминули её. И по вечеру, понадеясь, там и здесь мелькают жители, справляют хозяйственные дела, у кого ж и животины есть.

А дальше — хлебное польце, картофельное. И склон опять — и в кустах стоит боевая дивизионная штабная машина, ЗИС, с самодельно обшитым, крытым кузовом. Видно, прикатил сюда травной целиной, без дороги.

У машины — комбат Мягков и комиссар дивизиона, стоят курят.

— А комдив здесь?

— Здесь.

— Что это он меня?

— А поднимайся, увидишь.

Да и им пора. По приставной лесенке влезает внутрь, через невысокую фанерную дверцу.

С делового серединного стола, привинченного, сняты планшет, карты, бумаги, всё это где-то по углам. А по столу простелены два полотенца вышитых — под вид скатерти, и стоит белая бутылка неформенная, раскрыты консервы — американские колбасные и наши рыбные, хлеб нарезан, печенье на тарелке. И — стаканы, кружки разномастные.

У Боева на груди слева — два Красных Знамени, редко такое встретишь, справа — Отечественная, Красная Звезда, а медалек разных он не носит. Голова у него какая-то некруглая, как бы чуть стёсанная по бокам, отчего ещё добавляется твёрдости к подбородку и лбу. И — охватистое сильное пожатие, радостно такую и пожать.

— Пришёл, Саша? Хорошо. Тебя ждали.

— А что за праздник? Орла ещё не взяли.

— Да понимаешь, день рождения, тридцать без одного. А этот один — ещё как пройдёт, нельзя откладывать.

Комбат 4й Прощенков и ростом пониже, и не похож на Боева, а и похож: такая ж неотгибная крепость и в подбородочной кости и в плечах. Мужлатый. И — простота.

Да — кто у нас тут душой не прост? До войны протирался я не среди таких. Спасибо войне, узнал — и принял ими.

А Мягков — совсем иной, ласковый. При Боеве — как сынок.

Тут все фамилии — как вlepены, бывает же.

А комбат бй — за всех остался на наблюдательном.

И душа моя грузнеет устойчиво: тут. Хорошо, что пришёл.

К боковым бортам привинчены две скамьи. На них и спят, а сейчас как раз шестером садимся — ещё начальник штаба, капитан.

Пилоток не снимая.

Пыльные мы все, кто и от пота не высох.

Боев меня по имени, а я его — «тааш майор», хотя моложе его только на четыре года. Но через эту армейщину не могу переступить, да и не хочу.

— Тааш майор! Если тосты не расписаны — можно мне?

Не когда шёл сюда, а вот — при пожатьях, при этом неожиданном застольи на перекладных, и правда, кто куда дойдёт, где будет через год, вот и Андреяшин мечтал, — расвободилось что-то во мне от целого дня одурения. Никакие мы с Боевым не близкие — а друзья ведь! все мы тут — в содружестве.

— Павел Афанасьевич! Два года войны — счастлив я встречать таких, как вы! Да *таких* — и не каждый день встретишь.

Я с восхищением смотрю на его постоянную выпрямку и в его лицо: откуда такая самозабывчивая железность, когда сама жизнь будто не дорога? Когда всякую минуту вся хватка его — боецкая.

— И как вам такая фамилия выпала? — лучше не припечатаешь. Вы — как будто вжились в войну. Вы — как будто счастье в ней открыли. И ещё сегодня, вот, вижу, как вы по той колокольне били...

Рядом с тем хутором, где мы с Овсянниковым из-за колокольни голов поднять не могли, так и вижу: под тем же прострелом зажгли, догадальщики, ловкачи, рядок дымовых шашек. Заколыхалась сплошная серая завеса, но не надолго же! — выехал Боев сам с одной пушкой на прямую наводку. Оборотистый расчёт, надо ж успеть: из походного положения — в боевое, зарядили, — успеть развидеть верхушку колокольни в первом же расее, и бах! перезарядили, и второй раз — бах! Сшиб! И — скорей, скорей опять в походное, трактор цеплять — и уехали. И немцы грянули налётом по тому месту — а опоздали. И — прикончился их наблюдательный.

— ...Для вас война — само бытие, будто вы вне боёв и не существуете. Так — дожить вам насквозь через всю...

Боев с удивлением слушает, как сам бы о себе того не знал.

Встали. Бряк-бряк стеклянно-железным, чем попало.

И — все занялись, подзажглись.

А водка после такого дня — о-о-ой, берегись!

Какие яркие, мохнатые дни! И — куда всё несётся?

Большое наступление! Да за всю войну у нас таких — на одной руке пересчитать. Крылатое чувство. Доверху мы переполнены, уже через край. А нам — ещё подливают.

И опять встаём-чокаемся, конечно же — за Победу!

Мягков: — Когда война кончится — то сердце закатывается, представлять.

Ну, и потекла беседа вразнобой, вперебив.

Боев: — Затронули нас, пусть пожалеют. Дадим жару.

Начальник штаба: — Нажарим им пятки.

Комиссар: — Эренбург пишет: немцы с ужасом думают, что ожидает их зимой. Пусть подумают, что ожидает их в августе.

Все с азартом, а — без ненависти, то — газетное.

— Попробуешь с немцами по-немецки, а они переходят на русский. Здорово изучили за два года.

— А вот: поймут ли нас, когда мы вернёмся? Или нас уже никто не поймёт?

— Но и представить, сколько ещё России у них. Чудовищно.

— Почему Второго Фронта не открывают, сволочи?

— Потому что — шкуры, за наш счёт отсиживаются.

— Ну всё ж таки в Италии наступают.

Комиссар: — Капиталистическая Америка не хочет быстрого конца войны, прекратятся их барыши.

Я ему вперекос:

— Но что-то и мы слишком отклоняемся. От интернационализма.

Он: — Почему? Роспуск Зго Интернационала — это совершенно правильно.

— Ну, разве как маскировка, тактический ход. — И отклоняю: — Нет! Мне больше нельзя, у меня сейчас самая работа начнётся.

Прошенков рассказывает сегодняшний случай из стрельбы. Считает, что 423ю сокрушил: от того места — ни выстрела больше.

— А может она откочевала?

Да, вот ещё про *кочующие* орудия. Как у немцев — не знаем, а нашему иному прикажут кочевать с орудием — так он, дурья голова, по лени с одного места бьёт и бьёт, пока его не расколпачут.

Да мало ли глупостей? А как стреляют наобум, чтобы только расходом снарядов отчитаться?

Бывает...

Прошенков: — К вечеру хорошо вкопались. Хоть бы эту ночь не передвигали.

Через оконца кузова уже мало света, зажгли аккумуляторную лампочку под потолком.

— А славная у нас штабная халабуда? — озирается Боев. — Как бы её, старуху, в Германию дотянуть?

Стали перебирать, кто и сам не дотянул. Одного. Второго. Третьего. А четвёртого засудили в штрафбат, там и убили.

Бывал я в компаниях поразвитей — а чище сердцем не бывало. Хорошо мне с ними.

— Да-а-а, и ещё друг друга как вспомним...

Явственно раздался гнусный хрип шестиствольного миномёта.

Завыли мины — и в частобой шести разрывов, в толкотню.

— Ну, спасибо, братцы, и простите. Мне пора.

И правда, снаружи уже сумерки. До темноты дойти, не сбиться.

Линии наши все целы.

Емельянов с предупредителя: — Вот теперь вкопаемся, как надо. Правда, немец ракеты часто бросает.

Они и нам, в Выселки, отвечивают то красным, то бело-золотистым, долгие.

Шестиствольный записали, но не так чётко, миномёты всегда трудно записывать. А вот пушка была, наверно семидесяти-пяти, одиночный выстрел, цель 428, — сразу хорошо взяли, в точку.

Прибор — в порядке, все стрелки в норме. И ленты новый рулон исправлен. И чернила подлиты в желобочки под капилляры. И смена — выпалась, бодрая. Три маловольтных лампочки освещают всю нашу переднюю часть погреба. Белеют бумаги, посверкивает блестящий металл.

Двое дежурных линейных с телефонами на ремнях, с запасными мотками кабеля, фонариками, кусачками, изоляционной лентой — тоже тут.

Вот кому ночью горькая доля: по одному концу придёшь к разрыву, а найдёшь ли второй, оторванный?

А в глубинах погребов — темнота, дети спят, бабы тоже располагаются, лиц не видно. Но слышу по голосу — там батарейный мой политрук. Где пристылел — не вижу, а разъясняет певуче, смачно:

— ...Да, товарищи, вот и церковь разрешили. Против Бога советская власть ничего не имеет. Теперь дайте только родину освободить.

Недоверчивый голос: — Неуж и до Берлина дотараните?

— А как же? И там всё побьём. И — что немец у нас разрушил, всё восстановим. И засверкает наша страна — лучше прежнего. После войны хоро-ошая жизнь начнётся, товарищи колхозники, какой мы ещё и не видели.

Пошла лента. Это — предупредитель услышал.

А вот и посты: пишут.

И до нас донеслось: закатыстый выстрел. Ну, сейчас поработаем!

2

И вот через 52 года, в мае 1995, пригласили меня в Орёл на празднование 50-летия Победы. Так посчастливилось нам с Витей Овсянниковым, теперь подполковником в отставке, снова пройти и проехать по путям тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосила, от нашей высоты 259,0 — и до Орла.

А в Новосиле, совершенно теперь не узнаваемом от того пустынно каменного на обстреливаемой горе, посетили мы и бывшего «сына полка» Дмитрия Фёдоровича Петрыкина — вышел к нам в фетровой шляпе, и фотографировались мы со всей его семьёй, детьми и внуками.

Подземный наш городок на высоте 259,0 — весь теперь запахан, без следов, и не подступишься. А вблизи — лесистый овражек, где была наша кухня, хозяйство, и где убило невезучего Дворецкого (даже не за кашей пришёл, а к санинструктору, с болячкой) — маленьким-маленьким осколочком, но в самое сердце. Тот двухлопастный овражек и лесок очень сохранились — по форме, да и по виду: ежегодная пахота не дала древесной поросли вырваться наружу из овражка.

Но что стало с урочищем Крутой Верх! Был он — версты на три длины, метров на пятьдесят глубины — слегка извилистый, как уверенная в себе река, — и так проходящий по местности, что как раз и давал нам просторный, удобный и от наземных наблюдателей вовсе скрытый подъезд к самой передовой. Так что пешее, конное, тележное движение шло тут и весь день не прячась, а ночами — и грузовики со снарядами, снабжением, а к утру уходили в тыл или врывались носами в откосы оврага, прикрывались зелёными ветками, сетками. Зев Урочища, ещё завернув, выходил прямо к Неручи — тут и был подготовлен, накопился прорыв нашей 63й армии, к 12 июля 1943.

Но как же Крутой Верх изменился за полвека! Где та крутизна? где та глубина? да и та цепкая твёрдость одерневших склонов и дна? Обмелел, оплыл, кажется и полысел, и жёстких контуров нет — не прежнее грозное ущелье. А — он! он, родной! Но уж, конечно, ни следа прежних аппарелей, землянок.

А за Неручью, на подъёме, шла тогда немецкая укреплённая полоса — да каково укреплённая! какие непробивные доты, сколько натыкано отдельно врытых бронекотков. И это, забываемое: разминированный проход, тотчас после прорыва. Десятки и десятки убитых, наших и тех, наши больше ничком, как лежали, ползли, немцы больше вопрокидь, как защищались или поднялись убежать — в позах, искажённых ужасом, обезображенные лица, полуоторванные головы; немецкий пулемётчик в траншее, убитый прямо за пулемётом, так и держится. И местами — там,

здесь — ещё груды, груды обожжённого металла: танки, самоходки — с красным опалением, как опалается живое.

И блиндажи у них не по-нашему, помнишь? Уж как глубоки! И где-то там, под десятью накатами, — окошечко, а за ним — цветочки посажены, и для того пейзажа вырыт туда ещё и узкий колодец. А в блиндажах — какой-то запах неприятный, как псиный, — оказывается, порошок от насекомых. И — яркие глянцевого цветные журналы раскиданы, каких не бывало у советских, а в журналах — где про доблесть и честь, а где — красавицы. Чужой невиданный мир.

А как, чтоб на день единственный задержать наступление на Орёл, бросили на нас — от зари и до заката — сразу две воздушных армии? Этого не забыть. Ни на минуты не оставалось небо чистым от немецких самолётов: едва уходила одна стайка, отбомбься, — тем же курсом, на тот же круг, уже загуживала другая. И видим: на участках соседей — то же самое. Непрерывная самолётная мельница — и так весь день насквозь. А где наши? — в тот день ни одного. От волны до волны едва успеваешь лишь чуть перебежать, где там разворачиваться. Всё же я рыскал по Сафонову, куда бы станцию уткнуть. Перемежился в хилой землянке — а там трое связистов только-только открыли коробку американской колбасы, делят и ссорятся. Тоска! Убежал дальше. Через десяток минут возвращаюсь — той землянки уже нет, прямое попадание.

Но то — днями позже. А пока — в таком же джипе-козлике, в каком тогда наезжал на меня комбриг (конструкция за полвека не сильно изменилась), везут нас в Желябугские Выселки. В таком же джипе, но с твёрдой крышей, едут глава районной администрации и глава местной — долг гостеприимства.

Да ни на чём другом в Выселки, наверное бы, и не проехать. Дорога — из одних рытвин, хорошо, что закаменевшие, давно не было дождя. Не едем, а переваливаемся всей машиной с бока на бок, за поручни уцепясь.

Да! вот и склон, так и стоящий в памяти, он-то не изменился. Да наверху, на гребне, и вётлы же стоят, как стояли. И там — избы три около них. А сюда, книзу, уличный порядок сильно прорежен: какие избы — ещё война убрала, какие — время долгое, новые не построились. Улица — уже не улица, избяными островками, и не дорога: средняя полоса её заросла травой, остались от колеи — как две тропинки рядом.

А направо за ложиной, повыше, вторая улица — тянется сходно с прежней. Но и на ней что-то не видно жизни.

На открытом месте склона, сбочь и от дороги, стоит разбитая телега, на какой уже не поездишь: три колеса, одна оглобля на бок свёрнута, ящик разбит. И колёса обрастают молодой травой.

А центральная станция наша? Вот — тут бы должна быть, тут.

Но — нет кирпичного надземного свода, да и остатков ямы не видно. Все кирпичи забрали куда? а яму засыпали?

Машину мы покинули, администраторы в своей остались, не мешают нам вспоминать.

А внизу — вон, пруд, отметливое место.

Спустились к пруду.

Берег залядел резучей, широколистой травой.

И — чья-то исхудалая лошадь одиноко бродит, без уздечки, как вовсе без хозяина. И кажется: печальная.

Отдельно стоит решётчатый скелет из жердей — под шалаш? И покоился.

Застоялая, как годами недвижимая вода. От соседней яркой майской зелени она кажется синей себя. На воде — бездвижная хворостяная ветка, присып листьев — значит, прошлогодних? таких новых ещё нет. Никто тут не купается.

Через ручей — лава из горбыля. И торчат четыре-пять копыльев, руками перехватываться.

А вот — ландыши. Никому не нужные, не замечаемые.

Срываем по кисточке.

Медленно-медленно поднимаемся опять по склону, теперь — дальше, наверх. Мимо той телеги.

Мимо Андреяшина...

Три избы рядом. Одна — беленая, почище. Две других — из таких уже старых, серых брёвен, чем стоят? Изсеревшие корявые дранковые крыши. Можно и за сараюшки принять.

Откуда-то тьякает собачка слабым голосом. Не на нас.

Несколько кур прошло чередой, ищут подкормиться.

Людей — никого.

За теми избами — опять пустырь. На нём отдельно — даже и не сарайчик, наспех собран: стенки обложены неровными кусками шифера, покрыт листом жести — а уже покошен, и подпёрт двумя бревёшками. Не поймёшь: для чего, кому такой?

А в небе — какая тишь. Тут, может, и не пролетают никогда, забыт и звук самолётный. И снарядный.

А тогда — гремело-то...

На длинной верёвке привязана к колу — корова, пасётся. Испугалась, метнулась в бок от нас.

Подымаемся к самым верхним избам.

А тут, между двумя смежными берёзами, — перекладина прибита, как скамейка, ещё и посредине подпорка-столбик. И на той скамеечке мирно сидят две старухи — каждая к своей берёзе притулясь, и у каждой — по кривоватой палке, ошкуренной. У обеих на головах — тёплые платки, и одеты в тёплое тёмное.

Сидят они хоть и под деревьями, а на берёзах листочки ещё мелкие, так сквозь редкую зелень — обе в свету, в тепле.

У левой, что в тёмно-сером платке, а сама в бушлате, — на ногах никакая не обувь, а самоделка из войлока или какого тряпья. По-сухому, значит. А обглаженного посоха своего верхний конец обхватила всеми пальцами двух рук и таково держит у щеки.

У обеих старух такие лица заборозделые, врезаны и запали подбородки от щёк, углубились и глаза, как в подъямки, — ни по чему не разобрать, видят они нас или нет. Так и не шевельнулись. Вторая, в цветном платке, тоже посох свой обхватила и так упёрла под подбородок.

— Здравствуйте, бабушки, — бодро заявляем в два голоса.

Нет, не слепые, видели нас на подходе. Не меняя рукоположений, отзываются — мол, здравствуйте.

— Вы тут — давнишние жители?

В тёмном платке отвечает:

— Да сколько живы — всё тут.

— А во время войны, когда наши пришли?

— Ту-та.

— А с какого вы года, мамаша?

Старуха подумала:

— На'б, осьмьсот пятый мне.

— А вы, мамаша?

На той второй платок сильно-сильно излинял: есть блекло-синее поле, есть блекло-розовое. А надет на ней не бушлат, но из чёрного вытертого-перевытертого плюша как бы пальтишко. На ногах — не тряпки, ботинки высокие.

Отняла посошок от подбородка и отпустила мерно:

— С двадцать третьего.

Да неужели? — я чуть не вслух. А говорим: «бабушки, мамаша» — на себя-то забываем глядеть, вроде всё молодые. Исправляюсь:

— Так я на пять лет старше вас.

А лицо её в солнце, и щёки чуть розовеют, нагрелись. В солнце, а не жмурится, оттого ли что глаза внутрь ушли и веки набрякшие.

— Что-то ты поличьем не похож, — шевелит она губами. — Мы и в семьдесят не ходим, а полозиим.

От разговора нижние зубы её приоткрываются — а их-то и нет, два жёлтых отдельных торчат.

— Да я тоже кой-чего повидал, — говорю.

А вроде — и виноват перед ней.

Губы её, с розовинкой сейчас и они, добро улыбаются:

— Ну дай тебе Господь ещё подальше пожить.

— А как вас зовут?

С пришипётом:

— Искитея.

И сердце во мне — упало:

— А по отчеству?

Хотя при чём тут отчество. Та — и была на пять лет моложе.

— Афанасьевна.

Волнуюсь:

— А ведь мы вас — освобождали. Я вас даже помню. Вот там, внизу, погреб был, вы прятались.

А глаза её — уже в старческом туманце:

— Много вас тут проходило.

Я теряюсь. Странно хочется передать ей что-то же радостное от того времени, хотя что там радостное? только что молодость. Бессмысленно повторяю:

— Помню вас, Искитея Афанасьевна, помню.

Изборождённое лицо её — в солнышке, в разговоре старчески тёплое.

И голос:

— А я — и чего надо, забываю.

Воздохнула.

В тёмном платке — та погорше:

— А мы — никому не нужны. Нам бы вот — хлебушка прикупить.

Тишина. Чирикают птички в берёзах. Доброе мягкое солнце.

Искитея, из-под набрякших век, остатком ослабевших глаз — досматривает меня, отчётливо или в мути:

— А вы что к нам пожаловали? Что ль, с каким возвестием?

Та, другая:

— Може, наше прожитбище разберёте?

Мы с Витей переглядываемся. А — что в наших силах?

— Да нет, мы проездом. На старые места посмотреть приехали.

— А тут — и начальство ваше. Может, оно...

В тёмном — подсобралась:

— Идэ?

— Да тут где-то.

Невдали звонко пропел петух. Петушьё пенье, что б вокруг ни тво-рись, — всегда сочно, радостно, обещает жизнь.

Ну, а нам... нам что ж?.. Дальше?

Попрощались — пошли выше, через хребтик.

А сердце — ноет.

— Осталась наша деревня на голях, — окает Витя. — Как и была всю дорогу.

— Да, сейчас для людей не больше добьёшься, чем когда и раньше.

Во все стороны открытое место. Вот и Моховое близко. Да и ближе него теперь позастроено.

А поправей, ко второй улице, — с пяток овец пасётся. Без никого. Присели на бугорочек. Смотрим туда, вперёд.

— Во-он там предупредитель наш был. Как он уцелел тот день?

— Но ночью потом — здорово засекали. И давили много.

— А утром — опять нас сорвали.

— Суетилось начальство. Здесь бы — больше сделали, зачем к Подмаслову совали?

— В Подмаслово не поедем?

— Да нет, наверно. Времени не остаётся.

Сидим, солнышко с левого плеча греет.

— Помогать им — по одной не вытянешь. Весь распорядок в стране надо чистить.

А — кому? Таких людей — не видно.

Давно не стало их в России.

Давно.

Сидим.

— А какой же я дурак был, Витя. Помнишь — про мировую революцию?.. Ты-то деревню знал. С основы.

Витя — скромный. Его хоть перехвали — не занесётся. И через какие строгости жизнь его ни протаскивала — а он всё тот же, с терпеливой улыбкой.

— Вот там, поправей, отмечали тогда день рождения Боева. Говорил: доживу ли до тридцать — не знаю. А до тридцати одного не дожил.

— Да, прусская ночка — была, — вспоминает Овсянников. — И какое ж безлюдье мёртвое, откуда бы наступленью взяться? Я черезо всё озеро перешёл — и до конца ж никого, ничего. И тут — Шмакова убило.

— Как мы из того Дитрихсдорфа ноги вытянули? Бог помог.

Овсянников — теперь уже с усмешкой:

— А от Адлига, через овраг, по снегу — бегом, кувырком...

Смотрим: слева, в объезд Выселок, по без дороги, — сюда два наших джипа переваливаются.

Забеспокоились, куда мы делись.

Оба администратора — в белых рубашках и при галстуках. Местный — куда попроще, и куртка на нём поверх костюма дождевая. На районном — галстук голубой, хороший серый костюм в редкую полоску — и ничего сверху. Лицо же — широкое, сильно скуластое, с хмурким выражением. Волосы — смоляно-чёрные, жёсткие, густы-перегусты, и с чёрным же блеском на солнце.

Говорим: — Забросили их тут.

Районный: — А что от нас зависит? Пенсии платим. Электричество им подаём. У кого и телевизоры.

А местный — это то, что прежде был «сельсовет» — видно, из здешних поднялся, до сих пор в нём деревенское есть. Долговатый лицом, длинноухий, волосы светлые, а брови рыжие. Добавляет:

— Есть и коровы, у кого. И курочки. И огород у каждой. По силам.

Садимся в джипы и — администраторы впереди — едем по грудкой дороге через саму деревню, по нашему склону вниз.

Но что это? Четыре бабы тут как тут, пришли и стали поперёк дороги заплотом. И деда — с собой привели, для подпоры, — щуплого, в кепочке.

И с разных сторон — ещё три старухи с палочками доковыливают. Одна — сильно на ногу улегает.

И — ни души помоложе.

Значит, про начальство прознали. И стягиваются.

Ехать — нет пути. Остановились.

Чуть повыше андрейшинского места, шагов на двадцать.

Местный вылез:

— Что? Давно больших начальников не видели?

Перегородили — не проедешь. Уже шесть старух кряду. Не пропустим. Вылезает и районный. И мы с Витей.

Платки у баб — серые, бурые, один светло-капустный. У какой — к самым глазам надвинут, у какой — лоб открыт, и тогда видно всё шевеленье морщинной кожи. На плечо позади остальных — дородная, крупная баба в красно-буром платке, стойко стала, недвижно.

А дед — позади всех.

И — взялись старухи наперебив:

— Что ж без хлебушка мы?

— Надо ж хлебушка привозить!

— Живём одна проединая кажная...

— Этак ненадалеко нас хватит...

Сельсоветский смущён, да при районном же всё:

— Так. Сперва Андоскин вам возил, от лавки.

В серо-сиреневом платке, безрукавке-душегрейке, из-под неё — кофта голубая яркая:

— Так платили ему мало. Как хлеб подорожал, он — за эту цену возить не буду. Целый день у вас стоять, мол, охотности нет. И бросил.

Сельсоветский: — Правильно.

Голубая кофта: — Нет, неправильно!

Мотнул головой парень:

— Я говорю, что — так было, да. А теперь, на отрезок времени, должен вам хлеб возить — Николай. За молоком практически приезжает — и хлеб привозить.

— Так он тоже завсяко-просто не возит. Сперва молоко сдай — а на той раз хлеб привезу.

В тёмно-сером — наша прежняя, знакомая. Напряглась доглядеть, доулышаться: чего же скажут? выйдут ли решенье какое?

В светло-буром:

— А кто молоко не сдаёт, тому как? Просишь: Коля, привези буханочку! А он: у меня зарплата — одна. У меня уже набрато, кому привезти.

В серо-клетчатом, с живостью:

— Мы, выселковские, вдокон пришли. Житьеца не стало, йисть нечего. В капустном, маленькая:

— Конечно, к нам ездю нету...

Сельсоветскому — край оправдываться, скорей:

— А я у него всегда интересуюсь: Николай, ты возишь? Говорит — вожу.

Голубая кофта и подхватила, залоскотала:

— А вы — у нас поинтересовались? Когда-нибудь приехали сюда? Вы, председатель сельсовета, — хоть бы распронаединственный раз... С давних давён никого не было.

И поварчивают другие:

— Повередилось не до возможности...

— О нас и вспомятухи нет...

А бритый дед во втором ряду стоит молча, малосмысленно. То — жевал, а то — раздвинул губы, и так со ртом открытым.

Овсянников голову свою лысеющую опустил. Болит его деревенская душа.

— Минуточку, — спешит сельсовет, — а почему вы прямо сразу не сказали, как он возить не стал?

В капустном: — Не посумеем мы сказать.

Искитея: — Опасаемся.

Тут — вступил районный, сильным голосом:

— А я вам говорю: надо говорить. Вот боимся мы сказать Николаю, вот боимся Михал Михалычу, боимся сказать мне, а чего бояться?

Голубая кофта: — Да я б не побоялась, приехала. Да уж я — никуды, ехать. И дед мой тем боле никуды.

А в красно-буром как оперлась на палку левым локтем, согнула, к плечу кулак приложила, глаза совсем закрытые: «Не видать бы мне вас никого...»

— А я к вам, вот, разве не приехал? Я спрашивал Михал Михалыча: хлеб возят? Возят, каждый день. Почему же вы не говорили?

В серо-клетчатом, рукой рубя:

— Вот теперь молчанку нашу взорвало!

— Уж как измогаем, сами не знаем.

У нашей той, в тёмно-сером платке, руки причернённые, в кожу въелось навек и чёрные ободки вокруг ногтей, — руки сплелись на верху палки, так и стоит. Морщины, морщины — десятками, откуда стольким место на лице? Теперь — потухла, уставилась куда-то мимо, так и застыла.

Районный уже решил:

— Давайте договоримся так. Теперь целую неделю к вам будет ездить Михал Михалыч...

— Да кажедён — по что? Хоть через день ба...

— Да хлебушка хоть раз бы в три дни...

— Я не говорю, чтоб каждый день возил хлеб. Но в течение недели, вот, до праздника Победы, 50 лет, каждый день будет приезжать и проверять, как вы обеспечены.

(Только успевай записывать...)

— ...Мы его избрали здесь, голосовали за него в сельскую администрацию, так пусть он выполняет свой долг как глава местного самоуправления. Пусть хотя бы хлебом обеспечивает. Мы не говорим, чтоб он дома строил, дома — конечно уже нельзя сделать по нашей жизни.

— Дома-а-а... Где-е-е...

— ...А вода — у вас есть. Да вот — хлеб. Чтоб самое необходимое. Он обязан это сделать.

Стоном:

— Да хлебушек бы был — мы бы жили, не крякнули...

— Вся надея и осталась...

— А ржаной хлеб — он убористый...

Оправился и сельсоветский:

— Давайте договоримся так. Не только у вас будет хлеб, но каждую неделю автолавка будет приезжать.

Поразились бабы:

— Ещё и автолавка на неделе? Ну-у-у!..

Тут в серо-клетчатом не зевает:

— А вот и такая есть надоба. Давняя. Пока фронт воевал — мы тут, иные, и на фронт поработать успели...

Искитея: — От августа сорок третьего, как фронт прошёл...

А серо-клетчатая — как помоложе других: веки не набрякшие, глаза открытые, серые, живые. Сыпет бойко, да только зуб в нижнем ряду мелькает единственный:

— Я, например, чуть не три года отработала на военном заводе. Город Муром, Владимирской области. Мы, значит, на кого работали? И праздников не знали, без выходных, без отпусков. Нам тогда что говорили? Ваш труд — будет наша победа, быстрее покончится война и упокоится страна. А почему ж вы нас забыли, которые трудились, а? Теперь даже пенсии меньше какой другой старухи получаем...

Районный пригладил чуб свой смоляной:

— Да, впервые в этом году вспомнили тех, которые работали в тылу. Вот я почти каждый день теперь вручаю юбилейные медали своим матерям. Они — до слёз... Каждый день получают юбилейную медаль и плачут. Говорят, наконец-то нас вспомнили, потому что весь фронт вынесли на

своих плечах. Вручную пахали, сеяли, последние носки отдавали солдатам. А если вы действительно трудились, — согласно Указа вам нужно или документы найти, что вы трудились, или надо хотя бы двух свидетелей...

— Да вот нас тут двое и есть. Мы друг другу свидетели.

— Ещё третью нужно.

— В Подмаслове есть.

— Если вы до 45го года работали в тылу больше шести месяцев и найдёте документ или свидетельские показания — мы вам обязательно вручим медаль. И согласно медали получите льготы, которые положены.

А сельсоветский-то, оказывается, законы лучше знает. И — к районному, остережённо:

— К сожалению, я вас перебую. Значит, если только будет какая поправка, — а то сейчас в Указе свидетельские показания не берутся во внимание. И если в трудовой книжке нет отметки, то юбилейной медали не дают. Вот о чём мы подымали всегда...

Районный хмурится, слегка смущён:

— По-моему, поправки должны быть.

Серо-клетчатая — с новым напором:

— Как так?? Мы — военкоматом были мобилизованы и как военные девушки считались. Которы наши девушки уходили с работы — тех военный трибунал судил. Понимаете, какие мы были?

Искитея только кивает, кивает: — Да, да.

Сельсоветский: — Тогда надо делать запрос через военкомат.

Районный: — Да. Составим списки, официально сделаем запрос, пусть поднимают документы сорок третьего года. Такие вопросы очень многие возникают.

Вижу — Овсянникова аж перекосило: слушал-слушал, совсем голову повесил, и одной кистью держится за неё безнадёжно.

А в капустном, маленькая, выступила, пока ей перебоя нет:

— А у меня, вот, есть медаль за военные годы. Конечно, у меня её нет, но документ на неё есть, справный. И — льготы у меня какие, за свет половину плачу. Конечно, неведь какие ещё мне могут быть положены. Поехала в правление, отвечают: колхоз у нас бедный, нету вам. И даже зряно моё осталось неполучённое, председатель машины зряна не пригнал для пенсионеров.

— Льготы? Теперь — всё заложено в районном бюджете. И через районный бюджет обязательно оплотим, кому чего отпускать за пятьдесят процентов. Но, конечно, я не могу каждый день у вас бывать...

— Это мы понимаем... — сразу в три улыбки.

И тут решила Искитея. И тем старчески-мягким, ненастойчивым голосом, как говорила со мной под берёзой:

— А вот мой муж был и участник войны. И инвалид. И льготы были. А как умер он — за всё плачу безо льготы.

Подполковник Овсянников встрепенулся возмущённо. И, сильно окая:

— Должны быть! Все льготы, которые даны были вашему мужу, и если вы не вышли замуж за другого...

Искитея — самой дивно, губы в слабой улыбке:

— Да где-е...

— ...то все эти льготы сохраняются за вами! И неважно, когда он умер.

— А — восьмой год его нет...

— Ну, — встрепенулся районный, посмотрел на часы. — Вопросы, которые касаются вас, наших ветеранов, наших матерей, — я буду лично решать. Если не смогу я — тогда будем выходить на область. А Москвы — мы не затронем, не должны.

АДЛИГ ШВЕНКИТТЕН

Односуточная повесть

*Памяти майоров Павла Афанасьевича Боева
и Владимира Кондратьевича Балужева.*

1

В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к балтийскому берегу! И значит: Восточная Пруссия отрезана от Германии!

Отрезана — пока только этим дальним тонким клином, за которым ещё не потянулся шлейф войск всех родов. Но — и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия! Окружена!

Это уже считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина — рукой подать, если и не нам туда заворачивать.

Уже пять дней нашего движения по горячей Пруссии — не было недостатка в праздниках. Как одиннадцать дней назад мы прорвали от наревского расширенного плацдарма — то пяток дней по Польше ещё бои были упорные, — а от прусской границы будто сдёрнули какой-то чудо-занавес: немецкие части отваливались по сторонам — а нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами; спаньё на мягком, а то и под пуховиками; в погребах — продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей; ещё ж и даровая выпивка, кто найдёт.

И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Ну, после стольких-то лет военных жертв и лишений — когда-то же чуть-чуть и распуститься.

Это чувство заслуженной льготы охватывало всех, и до высоких командиров. А бойцов — того сильнее. И — находили. И — пили.

И ещё добавили по случаю окружения Пруссии.

А к утру 26го семеро бригадских шоферов — кто с тягачей, кто с ЗИСов — скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчётов. И несколько — схватились за глаза.

Так начался в бригаде этот день. Слепнувших повезли в госпиталь. А капитан Топлев, с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, — постучал в комнату, где спал командир 2го дивизиона майор Боев, — доложить о событии.

Боев всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь, теперь натягивал, гимнастёрку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастёрке его было орденов-орденов, удивисься: два Красных Знамени, Александра Невского, Отечественной войны да две Красных Звезды (ещё и с Хасана было, ещё и с финской, а было и третье Красное Знамя, самое последнее, но при ранении оно утерялось или кто-то украл). И так, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками: приятная эта тяжесть — одна и радость солдату.

Топлев, всего месяц как из начальника разведки дивизиона — начальник штаба, уставно, чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос ещё тёпло-ребяческий. Из 2го дивизиона тоже на смерть отравились: Подключников и Лепетушин.

Майор был роста среднего, а голова удлинённая, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело как вытянутый прямоугольник, с углами

на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень и нос как чуть-чуть бы свёрнут к боковой глубокой морщине — как будто неуходящее постоянное напряжение.

С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу, горько:

— Э-э-эх, глупеньё...

Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбёжками, на стольких переправах и плацдармах — чтоб из бутылки захлебнуться в Германии.

Хоронить — да где ж? Сами себе место и выбрали.

Пройдя Алленштейн, бригада на всяк случай развернулась на боевых позициях и здесь — хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка.

— Не на немецком же кладбище. Около огневой и похороним.

Лепетушин. Он и был — такой. Говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников? — высокий, пригорбленный, серьёзный мужик. А польстился.

2

Земля мёрзлая и каменистая, глубоко не укопаешь.

Гробы сколотил быстро, ловко свой плотник мариец Сортов — из здешних заготовленных, отфугованных досок.

Знамя поставить? Никаких знамён никто никогда не видел, кроме парада бригады, когда её награждали. Всегда хранилось знамя где-то в хозчасти, в 3м эшелоне, чтоб им не рисковать.

Подключников был из 5й батареи, Лепетушин из 6й. А речь произносить вылез парторг Губайдулин — всего дивизиона посмешище. Сегодня с утра он уже был пьян, и заплётно выговаривал заветные фразы — о священной Родине, о логове зверя, куда мы теперь вступили, и — отомстим за них.

Командир огневого взвода 6й батареи, совсем ещё юный, но крепкий телом лейтенант Гусев слушал со стыдом и раздражением. Этот парторг — по легкоте проходимости политических чинов? или, кажется, по непомерному расположению комиссара бригады? — на глазах у всех за полтора года возвысился от младшего сержанта до старшего лейтенанта, и теперь всех поучал.

А Гусеву было всего 18 лет, но уже год лейтенантом на фронте, самый молодой офицер бригады. Он так рвался на фронт, что отец-генерал подсадил его, ещё несовершеннолетнего, на краткосрочные курсы младших лейтенантов.

Кому как выпадает. А рядом стоял Ваня Останин, из дивизионного взвода управления. Большой умница и сам хорошо вёл оружейную стрельбу за офицера. Но в сталинградские дни 42го года — из их училища каждого третьего курсанта выдернули недоученного, на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта.

Кончил парторг — Гусева вынесло к могилам, на два шага вперёд. Хотелось — не так, хотелось — эх! А речь — не высекалась. И только спросил сжатым горлом:

— Зачем же вы так, ребята? Зачем?

Закрыли крышки.

Застучали.

Опускали на верёвках.

Забросали чужой землёй.

Вспомнил Гусев, как под Речицей бомбанул их Юнкерс на пути. И никого не ранил, и мало повредил, только в хозмашине осколком разнёс

трёхлитровую бутылку с водкой. Уж как жалели ребята! — чуть не хуже ранения. Не балуют советских солдат выпивкой.

В холмики встучали надгробные столбики, пока некрашенные.

И кто за ними надсмотрит? В Польше немецкие военные надгробья с Пятнадцатого года стояли. Ищуков, начальник связи, — на Нареве выворачивал их, валял, — *мстил*. И никто ему ничего не сказал: рядом смершевца стоял, Ларин.

Гусев проходил мимо затихшей солдатской кучки и слышал, как из его взвода, из того же 3го расчёта, что и Лепетушин был, подвижный маленький Юрш поделился жалобно:

— А — и как удержаться, ребята?

Как удержаться? в том и сладкая косточка: думаешь — пройдёт.

Но — промахнуло серым крылом по лицам. Охмурились.

Командир расчёта Николаев, тоже мариец, очень неодобрительно смотрел суженными глазами. Он водки вообще не принимал.

А жизнь, а дело — течёт, требует. Капитан Топлев пошёл в штаб бригады: узнать, как похоронки будем писать.

Начальник штаба, худой, долговязый подполковник Вересовой, ответил с ходу:

— Уже комиссар распорядился: «Пал смертью храбрых на защите Родины».

Сам-то он голову ломал: кого теперь рассаживать за рули, когда подем.

3

Ошеломительно быстрый прорыв наших танков к Балтийскому морю менял всю картину Прусской операции — и тяжёлая пушечная бригада никуда не могла поспеть и понадобиться сегодня-завтра.

А комбриг уже не первый день хромал: нарыв у колена. И уговорил его бригадный врач: не откладывать, поехать сегодня в госпиталь, соперироваться. Комбриг и уехал, оставив Вересового за себя.

Ни дальнего звука стрельбы ниоткуда. Ни авиации, нашей ли, немецкой. Как — кончилась война.

День был не холодный, сильно облачный. Малосветлый. Пока — сворачивались со своих условных огневых позиций, и все три дивизиона подтягивались к штабу бригады.

Тихо дотекало к сумеркам. Уже и внедрясь в Европу, счёт мы вели по московскому времени. Оттого светало чуть не в девять утра, а темнело, вот, к шести.

И вдруг пришла из штаба артиллерии армии шифрованная радиограмма: всеми тремя дивизионами немедленно начать движение на север, к городу Либштадту, а по мере прибытия туда — всем занять огневые позиции в 7-8 километрах восточнее его, с основным дирекционным углом 15-00.

Всё-таки сдёрнули! На ночь глядя. Да так всегда и бывает: когда меньше всего охота двигаться, а только бы — переночевать на уже занятом месте. Но поражало 15-00. Такого не было за всю войну: прямо на восток! Дожили. Привыкли от 40-00 до 50-00 — на запад, с вариациями.

Нет, ещё раньше разила начальника штаба потребность немедленно заменить перетравившихся шоферов. Запасных — почти не было. С каких рулей снимать и что оставить без движения? Больше всех пострадал 1й дивизион, и подполковник Вересовой запросил штаб артиллерии оставить его на месте, за счёт него докомплектовать тягу 2го и 3го.

Выхода и нет. Разрешили.

Переломиться к ночному движению — трудны только самые первые минуты. А вот уже двадцать четыре крупнокалиберные пушки-гаубицы

подцепляли тракторами — все нагло с фарами. За ними строились подсобные машины. Всё вокруг рычало.

Два комдива огневых в белых коротких полушубках и комдив инструментальной разведки в длинной шинели — пришли к начальнику штаба получать точные места развёртывания и задачу.

А задачу — начальник штаба мог только сам домыслить. Разведданных от штаба армии нет никаких — да они и знать не могут при таком быстром прорыве и пасмури минувшего дня. «Семь-восемь километров восточнее» — это очень не всё. Топографическая карта, километр в двух сантиметрах, вот передавала складки местности, да не все, конечно; шоссе и просёлочные дороги, и какие обсажены, а какие нет; и извивы реки Пассарге, текущей с юга на север, и отдельные хутора, рассыпанные по местности, — да все ли хутора? а ещё сколько там троп? А хутора — с жителями, без жителей?

Подполковник наудачу прикинул: 2й дивизион вот тут, поужней, 3й — вот тут, посеверней.

Разметили примерными овалами.

Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько сотен раз за военную службу приходилось вот это ему — *получать задачу*. И нередко бывало, что расположение противника при этом не сообщалось, оставалось неизвестным: начнётся боевая работа — тогда само собой и прощупается. А сейчас — ещё издали, за 25 километров от того Либштадта, — как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное: где наша пехота? и той ли дивизии, какая сюда назначена? Ведь наверняка отстали, не за танками им угнаться, растянулись — и насколько? И где их искать?

Но привычно твёрдый голос Вересового не выдавал сомнений. Стрелковая дивизия — да, наверно, та самая, что и была. Растянулась, конечно. Да немцы — в ошеломлении, наверно стягиваться будут к Кёнигсбергу. Штаб бригады — будет в Либштадте или около. Где-нибудь там и штаб дивизии.

А в чём был смысл — занять огневые позиции до полуночи? В темноте топопривязки не сделаешь, только по местным ориентирам, приблизительно, — такая приблизительная будет и стрельба.

Да при орудиях — сильно неполный боекомплект.

Тылы отстали. Что делать, подвезут.

Боев посмотрел на Вересового исподлобья. С начальством и близким не договоришься. Как и тому — со своим. Начальство — всегда право.

По зимней дороге и с малым гололёдом ещё надо дотянуться невредимо до этого Либштадта, часа бы за три. За тучами — луна уже должна быть. Хоть не в полной тьме.

Слитно рычали тракторы. Вся колонна, светя десятками фар, вытягивалась из деревни на шоссе.

Выбирались едва не полчаса. Потом гул отдалился.

4

А какой подъём от Победы!

И от тишины, глухоты, — всё это тоже знаки Победы.

И от этого — всюду брошенного, ещё тёплого немецкого богатства. Собирай, готовь посылки домой, солдат пять килограмм, офицер — десять, генерал — пуд. Как отобрать лучшее, не ошибиться? А уж сам тут — ешь, пей, не хочу.

Каждый дом квартировки — как чудо. Каждая ночёвка — как праздник.

Комиссар бригады подполковник Выжлевский занял самый видный дом в деревне. В нижнем этаже — даже не комната, а большой зал, освещённый

щённый дюжиной электрических ламп с потолка, со стен. И шёл же откуда-то ток, не прерывался, тоже чудо. Здешняя радиоло (заберём её) подавала, в среднем звуке, танцевальную музыку.

Когда Вересовой вошёл доложить, Выжлевский — крупноплечий, крупноголовый, с оставленными ушами, сидел, утонувши в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. (Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа.)

На том же диване, близ него, сидел бригадный смершевец капитан Тарасов — всегда схватчивый, доглядчивый, легкоподвижный. Очень решительное лицо.

Сбоку распахнута была в обе половинки дверь в столовую — и там сервировался ужин, мелькнули две-три женские фигуры, одна в ярко-синем платье, наверно немка. А была и политотдельская, переделась из военного, ведь гардеробным добром изувешаны прусские шкафы. Тянуло запахом горячей пищи.

Вересовой с чем пришёл? В отсутствие комбрига он был формально старший, и мог бы сам принять любое дальше решение. Но, прослужив в армии уже полтора десятка лет, хорошо усвоил не решать без политруков, всегда надо знать их волю и не ссориться. Так вот насчёт перевозки штаба? — не сейчас бы и ехать?

Но явно: это было никак невозможно! Ждал ужин и другие приятности. Такой жертвы нельзя требовать от живых людей.

Комиссар слушал музыку, полузакрыв глаза. Доброжелательно ответил: — Ну, Костя, куда сейчас ехать? Среди ночи — что там делать? где остановимся? Завтра встанем пораньше — и поедем.

И оперуполномоченный, всегда уверенный в каждом своём жесте, чётко кивнул.

Вересовой не возразил, не поддакнул. Стоял палкой.

Тогда Выжлевский в удобрение:

— Да приходи к нам ужинать. Вот, минут через двадцать.

Вересовой стоял — думал. Оно и самому-то ехать не хотелось: эти прусские ночлеги сильно размягчают. И ещё соображение: 1й дивизион стоит разукомплектованный, не бросить же его.

Но и взгреть могут.

Тарасов нашёлся, посоветовал:

— А вы — снимите связь и с армией, и с дивизионами. И вот, для всех мы будем — в пути, в переезде.

Ну, если смершевец советует — так не он же и *стукнет*?

А ехать на ночь — и правда, выше сил.

5

Весь вечер сыпал снежок, притрушивая подледеневшее шоссе. Ехали медленно не только от наледи, но чтоб и лошади не сильно отстали.

В Либштадте простились, обнялись с комдивом Зго, он северней забирал.

В пути глядя на карту при фонарике: выпадало Боеву переехать на восточный берег Пассарге, потом ещё километра полтора по просёлочной, и поставить огневые, наверно, за деревней Адлиг Швенкиттен, — так, чтобы вперёд на восток оставалось до ближнего леса ещё метров шестьсот прозора и не опасно стрелять под низким углом.

Мост через Пассарге оказался железобетонный, целёхонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост.

Тут — оставили маяка, для лошадиных саней. Никаких лошадей, ни телег, моторизованным частям по штату не полагалось, и начальство мыслило, что таковых, разумеется, нет. Но ещё от орловского наступления и

потом когда шли — все батареи нахватали себе бродячих, трофейных, бесхозных, а то и хозных лошадей и потянули на них подсобный тележный обоз. Во главе такого обоза ставишь грамотного сержанта — и он всегда свои батареи нагонит, найдёт. Трактора Аллис-Уильмерс — конечно, отличные, но с ними одними и пропадёшь. Потом, и особенно ближе к Германии, нахватывали вместо наших средних лошадок — да крепких немецких битюгов, лошадиных богатырей. Зимой меняли телеги на сани. Вот сегодня бы без саней — от огневых до наблюдательных, по снежной целине, сколько бы на себе ишачить?

Снегопад поредел, а выпало, смотри, чуть не в полголени. На орудийных чехлах выросли снежные шапочки.

Нигде — никого ни души. Мертво. И следов никаких.

Вмеру посвечивая фарами, поехали по обсаженной, как аллея, дороге. И тут никого. Вот — и Адлиг. Чужеродные постройки. Все дома темны, ни огонька.

Послали поглядеть по домам. Дома деревни — пустые и все натопленные. Часов немного, как жители ушли.

Значит и недалеко они. Ну, одни б молодки убежали в лес, — нет, все сплошь.

По восточной окраине Адлига вполне уставлялись восемь пушек, однако, всё ж, не двенадцать, да и бессмысленно бы так. Распорядился Боев комбату Касьянову ставить свою Шестую батарею — метров восемьсот по южней и наискосок назад, у деревушки Кляйн Швенкиттен.

Но и до чего ж — никого. В Либштадте не поискали, а от самого Либштадта никого живого не видели. Где ж пехота? Вообще из братьев-славян — ни души.

И получалось непонятно: вот поставим здесь орудия — слишком далеко от немцев? Или, наоборот, зарвались? Может, они и в этом ближнем леске сидят. Пока — выдвинуть к тому леску охранение.

Делать нечего. Трактора рычали. Шестая утягивалась по боковой дороге в Кляйн. Четвёртая и Пятая становились рядышком, одним фронтом. Собирались расчёты каждый к своему орудью, переводить из походного в боевое и снаряды выкладывать. (А уж приглядывали себе, конечно, окраинные домики на пересидку и пересып.)

Домик — как игрушка, разве это сельская изба? Обстановка городская, расставлено, развешано. Электричества нет, прервано, а нашли две керосиновые лампы, поставили на стол. И сидел Боев над картой. Карта — всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадёжно что-то можно увидеть, догадаться.

Боев никого не торопил, всё равно саней подождём. В безвестье он, бывало, и попадал. Попадал — да на своей земле.

Радист уже связался со штабом бригады. Ответ: скоро выезжаем. (Ещё не выехали!) А новостей, распоряжений? Пока никаких.

Вдруг — шаги в прихожей. Вошёл, в офицерской ладной шинели, — командир звукобатареи, оперативно подчинённой Боеву. Давний приятель, ещё из-под Орла, математик. И сразу же свою планшетку с картой к лампе развёртывает. Думает он: вот, прямая просёлочная на северо-восток к Дитрихсдорфу, ещё два километра с лишком, там и центральная будет, туда и тяните связь.

Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрее и точнее, чем книгу. И:

— Да, будем где-то рядом. Я — правей. Нитку дам. А топографы?

— Одно отделение со мной. Да какая ночью привязка? Наколют примерно. И к вам придут.

Такая и стрельба будет. Приблизительная.

Торопится, и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием:

— Пока?

Что-то не сказано осталось. И своих бы комбатов наставить, так и они заняты. И — лошадей пождать.

И прилёт Боев на диванчик: в сапогах на кровать — неудобно. А без сапог — не солдат.

6

Для кого война началась в 41м, а для Боева — ещё с Хасана, в 38м. Потом и на финской. Так и потянулось сплошной войной вот уже седьмой год. Два раза перебивал на ранениях — так та ж война, а в родной край отпусков не бывает. В свою ишимскую степь с сотнями зеркальных озёр и густостайной дичью, ни к сестре в Петропавловск вот уж одиннадцатый год путь так и не лёд.

Да когда в армию попал — Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на воле? Южная Сибирь долго не поднималась от гражданской войны, от подавленного ишимского восстания. В Петропавловске, там и здесь, — заборы, палисадники ещё разобраны, сожжены, а где целы — покривились. Стёкла окон подзаткнуты тряпками, подзаткнуты бумагой. Войлок дверной обивки где клоками висит, где торчит солома или мочало. С жильём — хуже всего, жил у замужней сестры Прасковьи. Да и с обувью не лучше: уж подшиваешь, подшиваешь подошвы — а пальцы наружу лезут. А с едой ещё хуже: этого хлеба карточного здоровому мужику — ничто... И везде в очереди становятся: где — с пяти утра, а где набегают внезапной гурьбой, не спрашивая: а что будут давать? Раз люди становятся — значит, что-то узнали. И — нищих же сколько на улицах.

А в армии — наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии — любимые сыны народа. Петлицы — малиновые пехотные, чёрные артиллерийские, голубые кавалерийские, и ещё разные (красные — ГПУ). Чёткий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок — и жизнь твоя осмыслена насковзь: жизнь — служба, и никто тут не лишний. Рвался в армию ещё до призыва.

Так — ни к чему, кроме армейского, не прилачился, и не женился, — а позвала труба и на эту войну.

В армии понял Павел, что он — отродный солдат, что родная часть ему — вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свёртывания, передвижки, смены карт, новые порядки — вот и жизнь. В 41м теряли стволы и тягу — но дальше такого не случалось, только если разворотит орудие прямым попаданием или на mine трактор подорвётся. Война — как просто работа, без выходных, без отпусков, глаза — в стереотрубу. Дивизион — семья, офицеры — братья, солдаты — сынки, и каждый своё сокровище. Привык к постоянной передряге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело — *забыл бояться*. И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее — всегда шёл. И под самой жестокой бомбёжкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только — как операцию заданную осмыслить и исполнить получше.

Глаза открыл (и не спал). Топлев вошёл. Лошади — притянули.

Боев сбросил ноги на пол.

Мальчик он ещё, Топлев, хлипкок для начальника штаба. Но и комбата ни одного отпустить не хотелось на штаб, взял с начальника разведки.

Позови Боронца.

Крепок, смышлён старшина дивизиона Боронец, и глаза же какие приёмчивые. Уже сам догадался: из саней убирает лишнее — трофеи, барахло. Трое саней — под погрузку, на три наблюдательных — катушки с проводом, рации, стереотрубы, гранаты, чьё и оружие, чьи и мешки, из взводов управления, и продукты.

— После Либштадта — кого видел по дороге? Пехоту?
Боронец только чмокнул, покачал большекруглой головой.
— Ник-к-кого.

Да где ж она? Совсем её нет?

Вышел Боев наружу. Мутнела пасмурная ночь, прибеленная снегом. Висела отстоянная тишина. Полная. Сверху снежка больше не было.

Все трое комбатов — тут как тут. Ждут команды. Один всегда — при комдиве, это Мягков будет, как и часто. А Прошенков, Касьянов — по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые.

Ну, уже многое видали, сами знают сынки. Сейчас самое важное — правильно выбрать места наблюдательных. Ещё раньше: на какую глубину можно и нужно внедриться. В такой темноте, тишине и без пехотной линии — как угадать? Мало продвинешься — будешь сидеть бесполезно, много продвинешься — и к немцам не чудо попасть.

— А всё ж таки понимай, ребята: вот такая тишина, и такая пустота — это может быть очень, очень серьёзно.

Топлеву:

— Ищи, Женя, пехоту, нащупывай всеми гонцами. Найдёшь — пусть командир полка меня ищет. Это уж... слишком такое... Из бригады — узнавай, узнавай обстановку. А я выберу НП — свяжусь с тобой.

И прыгнул в передние сани.

7

В отсутствие комбата старшим офицером 6й батареи был командир 1го взвода старший лейтенант Кандалинцев. А по годам он был и старше всех бригадных командиров взводов: под 40 лет. И росту изрядного, хотя без статной выправки, плечи не вразвёрт, голова прежде времени седая, и распорядительность разумная — его и другие комвзвода «батей» называли.

А Олег Гусев, хотя и вырос среди уличных городских сорванцов, — от Кандалинцева ещё много жизненного добирал, чего б ниоткуда не узнать.

Ещё раньше, чем поставили все четыре пушки в боевое положение, Кандалинцев распорядился выставить на 50 метров вперёд малым веером — охранение. А замолкли оттянутые от огневых трактора — разрешил расчётам чередоваться у орудий. Гусеву же показал на каменный сарайчик, близко позади:

— Пойдём пока, костям на покой.

Чуть сдвинув батарею, можно было поставить её и ближе к удобным домам, но отсюда стрелять будет лучше.

Да сменные в расчётах туда и побежали спать. Гусев тоже в два дома заходил и покрутил приёмники, надеясь, что попадётся на своём питании, заговорит, — нет, молчали глухо. Приёмники в домах — это была заграничная новость, к которой привыкали боязно: по всему Советскому Союзу они на всю войну отобраны, не сдашь — в тюрьму. А тут вот...

Очень уж хотелось Олегу узнать что-нибудь о нашем прорыве, какие б ещё подробности. А батарейные радики ловили только одну нашу станцию на длинных — и никакой сводки о прорыве не было.

Кандалинцева призвали в 41м из запаса, два года он тяжело провоевал на Ленинградском фронте, а после ранения прислали сюда, в бригаду, уже скоро тоже два года.

Когда можно хоть чуть отдохнуть — Кандалинцев никогда такого не пропускал.

Пошли в сарайчик, легли рядом на сено.

А тишина-а-а.

— А может немцы в обмороке, Павел Петрович? Отрезаны, отброшены, к Кёнигсбергу жмутся? Может быть, вот так и война кончится?

Хотя Олег от войны совсем не устал, ещё можно и можно. Отличиться.
— О-ох, — протянул Кандалинцев.

И лежал молча. Но ещё не заснул же?

Молодым мечтается:

— Вот, говорят, после войны у нас всё к лучшему переменится. Свободная жизнь будет! Заживём! И, говорят, колхозы распускают?

Ему-то самому — что колхозы, но такими надеждами полна была вся воюющая армия. Отчего бы, правда, не пожить хорошо, привольно?

А Кандалинцев-то всё это знал-перезнал, он все партийные чистки на том прошёл. И — несупротивным, усталым голосом:

— Нет, Олег, ничего у нас не переменится. Смотри бы, хуже не стало. Колхозов? — никогда не отменят, они очень государству полезны. Не твоей время, поспим сколько.

8

Да, война — повседневное тяжкое бремя со вспышками тех дней, когда и голову легко сложить или кровью изойти неподобранному. Однако и на ней не бывает такого угнетённого сердца, как тихому интеллигенту работать в разоряемой деревне девятьсот тридцатого-тридцать первого года. Когда бушует вокруг злобно рассчитанная чума, видишь глаза гибнущих, слышишь бабий вой и детский плач — а сам, как будто, от этой чумы остережён, но и помочь никому не смеешь.

Так досталось Павлу Петровичу сразу после института, молоденькому агроному, принявшему овощную селекционную станцию в Воронежской области. Берёт ростки оранжерейной рассады, когда рядом ростки человеческие и двух лет, и трёх месяцев отправляли в лютый мороз санями — в дальний путь, умирать. Видишься и сам себе душителем. И втайне знаешь, ни с кем не делишь, как крестьяне против колхоза сами портят свой инвентарь. А то лучшие посевные семена перемальвают в муку на едево. А скот режут — так и не скрывают, и не остановить. Потом активисты сгребают последнее зерно из закромов, собирают «красный обоз», тянут в город: «деревня везёт свои излишки», а там, в городе, впереди обоза пойдёт духовой оркестр.

От тех месяцев-лет стал Павел Петрович всё окружающее воспринимать как-то не вполне, недостоверно, будто омертвели кончики всех нервов, будто попригасли и зрение его, и смех, и обоняние и осязание — и уже навсегда, без возврата. Так и жил. В постоянном пригнёте, что райком разгневаётся за что — и погонят со службы неблагонадёжного беспартийца. (Хорошо если не арестуют.) И гневались не раз, и теми же омертвелыми пальцами подал заявление в партию, и с теми же омертвелыми ушами сживал на партийных собраниях. Да какая безалаберность не перелопачивала людям мозги и душу? — от одной отмены недели, понедельник-среда-пятница-воскресенье, навсегда, чтоб и счёту такого не было, «непрерывка»-пятидневка, все работают-учатся в разные дни, и ни в какой день не собираться вместе с женой и с ребятами. Так и погремела безразрывная гусеница жизни, как косые лопатки траков врезаются в землю.

И с этими навсегда притупленными чувствами Павел Петрович не вполне ощутил и отправку на войну в августе сорок первого, младшим лейтенантом от прежних призывов. И с тем же неполночувствием, как чужой и самому себе, и своему телу, воевал вот уже четвёртый год, и на поле лежал под Ленинградом, тяжело, пока в медсанбат да в госпиталь. И как до войны любой райкомовский хам мог давать Кандалинцеву указания по селекции, так и на войне уже никогда не удивлялся он никаким глупым распоряжениям.

Вот и война кончилась. Как будто пережил? Но и тут малочувствен оставался Павел Петрович: может ещё и убьют, время осталось. Кому-то ж и в последние месяцы умирать.

Неомертвелое — одно чувство сохранилось: молодая жена, Алла. Тосковал.

Ну, как Бог пошлёт.

9

Сани шли без скрипа, по теплу. Чуть кони фыркнут.

Ночь становилась посветлей: за облаками — луна, а облака подрастянуло. Видны — где, вроде, лесочки, где поле чистое.

Прикрывая снопик ручного фонарика рукавом полушубка, Боев поглядывал на карту — по изгибам их заметной полевой дороги определяя, где расставаться с комбатами и каждый на свой НП, по снежной целине.

Кажется, вот тут.

Касьянов и Прошенков соскочили с саней, подошли.

— Так не очень от меня удаляйтесь, не больше километра. Работать вряд ли придётся, наверно с утра передвинут. Ну всё же, на разный случай, покопайте.

И — разъехались. Лошади брали уверенно. Местность — мало волнистая, тут и высотку не сразу выберешь. Если до утра не свернут — надо будет подыскать получше.

И всё так же — ни звука. Ни — передвинется какая чернота в поле.

Кого любишь, того и гонишь. Позвал сметливого Останина:

— Ванечка, возьми бойца, сходи вперёд на километр — какой рельеф? И не найдёшь ли кого? Да гранаты прихватите.

Останин с вятским причмоком:

— Щас в поле кого издали увидишь — не окликнешь. «Кто это?» — а тебя из автомата. Или, с нарощки «Wer ist da?», а тебя — свои же, от пуза.

Ушли.

А тут — вытащили кирки и лопаты, помахивали. Верхний слой уковало, как и на могилах сегодня. Лошадей отвели за кустики. Радист, с радией на санях, вызывает:

— Балхаш, Балхаш, говорит Омск. Дай Двенадцатого, Десятый спрашивает.

Двенадцатый — Топлев — отвечается.

— Из палочек нашли кого?

— Нету палочек, никого, — очень озабоченный голос.

Вот так так. Если и вокруг Адлига пехоты до сих пор нет — и у нас её нет. Где ж она?

— А что Урал?

— Урал говорит: ищите, плохо ищите.

— А кто именно?

— Ноль пятый.

Начальник разведки бригады. Ему б самому тут и искать, а не в штабе бригады сидеть, за тридцать вёрст. Да что ж они с места не сдвинулись? Когда ж — тут будут?

Копали трудно.

Ну, да окопчика три, не в полный профиль. Перекрывать всё равно нечем.

Проворный Останин вернулся даже раньше, чем ждался.

— Товарищ майор. С полкилометра — запад в ложину. И она, кажись, обхватом справа от нас идёт. А я налево сходил, наискосок. Вижу, фигуры копошатся. Еле опознались: заматерился один, катушка у него заела, — так и услышал: свои.

— Кто же?

— Правый звукопост. Тут до них одной катушки нам хватит и будет прямая связь с центральной. Хорошо.

— Ну что ж, тогда тянем. Пусть твой напарник ведёт.

Да — по кому пристреливаться? И с какой привязкой, все координаты на глазок.

— А больше никого? Пехоты нет?

— И следов по снегу нет.

— Да-а-а. Двенадцатый, двенадцатый, ищи палочки! Разошли людей во все стороны!

10

Теперь стало повидней малость: и лесок, что от Адлига слева вперёд. И справа прочернел лес пораскидистей — но это уже, очевидно, за большой тут ложиной.

А штаб бригады перестал отзываться по радию. Хорошо, наверно уже поехали. Но не предупредили.

Топлев очень нервничал. Он и часто нервничал. Он-то был старателен, чтобы всё у него в порядке, никто б не мог упрекнуть. Он — малой вмятинки, малой прогрызинки в своей службе не допускал, ещё прежде, чем начальство заметит и разнесёт. Да часто не знаешь, что правильно делать.

И сейчас места не находил. То — цепочку охранения проверить. То — к пушкам 4й-5й батарее. Из каждого расчёта дежурят человека по два. А остальные — растянулись по домам. Ужинают? — есть чем в домах. Прибарахливаются? — тоже есть, а в батарейном прицепе всё уложится. (Осталось в деревне несколько стариков-старух, ничего возразить не смеют.)

Это просто — несчастье, что разрешили из Германии посылки слать. Теперь у каждого солдата набухает вещмешок. Да не знает, на чём остановиться: одного наберёт, потом выбрасывает, лучшего нашёл на свои пять килограмм. Топлеву было это всё — хоть и понятно, но неприятно, потому что делу мешало.

То — уходил к дивизионной штабной машине, на окраину Кляйн Швенкиттена. Там рядом, в домике, и кровать с пуховой периной, растянь да поспи, ведь уже за полночь. Да разве тут уснёшь?

За облаками всё светлело. Мирно и тихо, как не на войне.

А вот: поползи сейчас что с востока — как быть? Наши снаряды по сорок килограмм весу, с подноской-перезарядкой, от выстрела до выстрела — никогда меньше минуты. И убраться не успеешь — 8 тонн пушка-гаубица. Хоть бы какие другие стволы промелькнули — дивизионная, противотанковая, — никого.

В машину, к радию опять. Доложил майору: связь с Уралом прекратилась. И *палочек* нет, ищем, разослал искать.

И тут же — один посланный сержант сработал. По дороге, по какой сюда приехали, — лёгкий шум. Виллис. До последней минуты не различишь, кто да что.

Из виллиса выскочил молодое. Майор Балуев.

Топлев доложил: огневые позиции тяжёлого пушечного дивизиона.

У майора — и голос очень молодой, а твёрдый. И завеселился:

— Да что вы, что вы! Тяжёлого? Вот бы никак не ждал!

Вошли в дом, к свету. Майор — худошавый, чисто выбрит. А, видно, примучен.

— Даже слишком замечательно! Нам бы — чего полегче.

И оказался он — командир полка, того самого, из той дивизии, что искали. Тут Топлев обрадовался:

— Ну, как славно! Теперь всё будет в порядке!

Не совсем-то. Пока первый батальон сюда дошагает — ещё полночи пройдёт.

Присели к керосиновой лампе карту смотреть.

Топлев показал, где будут наши наблюдательные. Ещё вон там, в Дитрихсдорфе, — звукобатарей. А больше — ни одной пока части не обнаружено.

Майор, шапка сбилась на льняных волосах, впивчивым взглядом вонзился в карту.

Да нисколько он не был весел.

Смотрел, смотрел карту. Не карандашом — пальцем провёл предположительную линию — там где-то, впереди наблюдательных. Где пехоту ставить.

Раскрыл планшетку, написал распоряжение. Протянул старшему сержанту, какой с ним:

— Отдашь начальнику штаба. Забирай машину. Если где по дороге какое средство на колёсах — старайся прихватить. Хотя б одну роту подвезти вперёд.

А двух разведчиков при себе оставил.

— Пойду к вашему комдиву.

Топлев предупредительно повёл майора в Адлиг. И к исходу пути:

— Вот прямо по этой санной колее.

Она хорошо видна была под ногами.

Всё светлело. Луна пробивается.

11

После лёгочного ранения на Соже — майора Балуюва послали на годичные курсы в Академию Фрунзе. Грозило так и войну пропустить — но вот успел, и прибыл в штаб Второго Белорусского — как раз в январское наступление.

Оттуда — в штаб армии. Оттуда — в штаб корпуса. Оттуда — в штаб дивизии.

И нашёл его только сегодня днём — нет, уже считай вчера это.

А у них как раз за день раньше — убило командира полка, и уже третьего с этой осени. Так вот — вместо него, приказ подпишем потом.

С командиром дивизии досталось поговорить пять минут. Но и того хватило для опытного офицера: топографической карты почти не читает, видно по двум оговоркам, и по движениям пальцев над картой. И — выше ли того понимает всю обстановку? Мутновато мямлит. Да кого, бывает, у нас в генералы не возвысят? А тут ещё — и по обязательной квоте национальных кадров? равномерное представительство нацменьшинств.

После академической слаженности теоретической войны — вот так сразу плюхнуться, немного обалдеваешь. А отвык — бодрись.

Да кое-что из обстановки Балуюв успел охватить ещё в оперотделе штабарма. За сорок четвёртый год вояки наши сколько прокатились вперёд, неудержимо! — как не обнаглеть. Наглостью отличной, красивой, победительной. С нею — и врезались в Пруссию. Уже отстали тылы, отстала пехота — но катит, катит Пятая танковая, катит — и аж до Балтики. Эффект — захватывающий, восхитительный!

Однако же — и размах такого швырка: на одну дивизию приходится вместо обычных трёх-пяти километров фронта — да сразу сорок!

Вот — и растяни свой полк. Вот и проси хоть пару пушек семидесятишести.

Но это и есть — армия в движении: переменчивая конструкция, то ли через сутки окаменеет во мраморе, то ли через два часа начнёт рассыпаться как призрак. На то ты — и кадровый офицер, на то и академический курс прошёл.

И в этой бурной неожиданности, колкости, остроте — сладость воина.

12

Всё светлело — а к часу ночи разорвало. И луна — ещё предполная, на всю ночь её не станет. С нехваткой по левому обрезу, и уже сдвинутая к западу, стала картинно проплывать за облаками, то ясней, то затуманенно.

Светлей-то светлей, но и в бинокль не многое можно рассмотреть на снежном поле впереди — только то, что оно, кажется, пусто — посверх ложины. Да ведь и перелесками там-сям перегорожено, могут накапливаться.

Луна имела над Павлом Боевым ещё с юных лет особую власть, и навсегда. Уже подростка — она заставляла остановиться или сесть, или прилечь — и смотреть, смотреть. Думать — о жизни, какая будет у него. И о девушке — какая будет?

Но хоть был он крепкий, сильный, первый гимнаст — а девушки к нему что-то плохо шли, не шли. Голову ломал: отчего неудачи? Ну некрасив, губы-нос не так разлинованы, — так мужчине разве нужна красота? красота — вся у женщин, даже чуть не у последней. Павел перед каждой женщиной замирал душой, преклонялся перед этой нежностью, хрупкостью, уж боялся не то что сломать её, но даже дыханием обжечь. Оттого ли всего, не оттого — так и не женился до войны. (И лишь Таня, госпитальная, потом объяснила: дурачок, да мы хваткую власть над собой только и любим.)

Уже в спину светила. Оглядывался на неё. Опять застилалась.

И всё так же — ни звука ниоткуда. Здорово ж немцев шарахнули.

Между тем телефонные линии протянули с огневых на все три наблюдательных. Через звукопост имели связь и со звукобатареей в Дитрихсдорфе, а у неё ж левые посты ещё севернее, и вот звонил их комбат: никого-никого, потянули предупредитель ставить за озером, вперёд.

А озеро — уж чистый прогал, там-то немцев бы увидели, при луне. Значит, и ещё два километра на восток никого.

Ещё сказал: топографы, при луне, звукопосты уже привязывают, и в Адлиг тоже пошли, огневые привязать.

Ну, через час будет готовность к стрельбе! Да вряд ли тут останемся: перейдём.

А видно, оттепели не будет. Ночь тут стоять, взял из саней валенки, переобулся.

Но вот, Топлев докладывал: со штабом бригады связи нет как нет. Странно. Сколько им тут ехать? Не перехватили ж их немцы по дороге?

Тут вспомнил: комбриг в госпиталь днём уехал. Значит, там Выжлевский направляет?

И всяких-разных политруков сторонился, не любил Боев как больше людей пустых. Но Выжлевский был ему особенно неприятен, что-то в нём нечистое, — оттого и особенно пустозвонское комиссарство. Натихую поговаривали в бригаде, что за 41й год что-то у Выжлевского не сходилось в биографии: был в окружённой Одессе, потом два-три месяца тёмный перерыв — потом как ни в чём не бывало, в чине, на Западном фронте. И как-то с этим всем был связан Губайдулин? отчего-то сразу из пополнения Выжлевский взял его в политотделы и быстро возвышал в чинах. (И Боеву в парторги навязал.)

От Топлева: связи с бригадой всё нет. Но нашёлся командир стрелкового полка, пошёл по следу на НП.

Ну, наконец. Теперь хоть что-нибудь поймётся.

13

— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший!..

— Что? — сразу несонным голосом отозвался Кандалинцев.

— Тут немец прибрёл! Перебежчик!

Это докладывал ефрейтор Нескин, вшагнувший в сарайчик. Немца задержало охранение — он прямо шёл через поле.

Услышал и Гусев. Дивная новость! Оба взводных командира с сенной копны соскользнули вниз.

Пошли наружу, смотреть. Светила луна, и хорошо было видно немецкую обмундировку и что без оружия. Шапка утеплённая.

Немец увидел офицеров — чётко руку к виску.

— Herr Oberleutnant! Diese Nacht, in zwei Stunden wird man einen Angriff hier unternehmen!

А немецкий-то оба, эге, так себе. Да оно и слова по отдельности, может, знаешь, а всё вместе не разберёшь.

А взволнован очень.

Всё равно с ним — в штаб дивизиона. Показали ему — иди. Вперёд — Нескин, а сзади — маленький Юрш с карабином, везде поспел — и докладывает офицерам на ходу: уже, мол, калякал с ним, на тары-бары. Он — и к нашему ближе умеет, а всё равно непонятно.

Что-то срочное хочет, а вот, поди.

До штабной машины тут, по Кляйну, недалеко. Пока шли — ещё спрашивали. И немец силен, стал не по-немецки, а по какому-то узнаваемому. Узнаваемому, а всё равно ни черта не поймёшь.

И одно слово отдельно повторял:

— Ангриф! Ангриф!

А это мы, кажется, знаем: наступление? Нападение?

Да этого и надо было ждать.

В штабной машине не спал радист, разбудил планшетиста, а тот немецкому учен. Да тоже не очень. Выкатился быстро, стал с немцем говорить — и переводит, но не с быстрым подхватом, не слово в слово.

— Это, вот что, немец — судетский. Он и по-чешски немного. Пришёл нас предупредить: через час-два тут, на нашем участке, начнётся общее, большое наступление немцев.

А — не дурит нас?

А зачем? ему же хуже.

Голос у немца — просительный, жалостный, даже умоляющий.

А — уже сильно в возрасте он, постарше и Павла Петровича.

И пожалел его Кандалинцев. Воевать надоело, горюну.

А кому за столько лет не надоест?

Бедняга ты, бедняга. И от нас — ещё когда семью увидишь?

Послал гонкого Юрша в Адлиг — искать капитана Топлева, доложить.

14

Допросив перебежчика через планшетиста и сам голос его наслушивая, дружелюбную готовность, поверил Топлев, что — не врёт. А перейти? — и нетрудно. Через пустое поле, без единой боевой линии — отчего и не отшагать?

Ладно, перебежчика держать при штабной машине.

Но если он не врёт и не ошибается — так наши пушки совсем беззащитны, пехоты же до сих пор нет!

А Топлев исполнительен — в стельку! в струнку! И всегда старался знать, вникать, успевать.

Но — что было надо сейчас? Что было можно делать сейчас?..

Скорей бы, скорей бы штаб бригады нашёлся!

Понукал радиста: вызывай их, вызывай!

Но — нету связи, как нет.

Ну, что с ними? Необъяснимо!

Схватил телефонную трубку, комдиву звонить — да что это? И тут связи нет. Обстрела не было — откуда порыв? Послал линейного, ругаясь,

только не матом, никогда. Телефонист — ворона! Проверять каждую минуту!

А по радиции — как сказать? Прямым текстом — невозможно, а кода на такой случай никак же не предусмотрено. Радисту:

— Вызывай Десятого!

Услышал голос Боева — густой, всегда уверенный, надёжный — малость приуспокоился. Сейчас рассудит. И, поглядывая неотрывно на светящийся красный глазок радиции, стал Топлев, извёртывая, объяснять.

Вот тут пришёл к нам дядя один... Совсем не наш... Ну, с той стороны... На вруна не похож, я проверил вдоль и поперёк. Говорит: через час-два... а теперь уже меньше осталось... Мол, *пойдут!* И — валом! Да, повалят... А Урал всё молчит... Что прикажете?

Боев — не сразу. Да он не говорлив. Думает. Ещё раз:

— И Урал — молчит?

Топлев, чуть не плача:

— Ну, ни звука!

Ещё там подумал.

— Давай вот что. Переведи всё касьяновское хозяйство — за реку. Немедленно. И там занять позиции.

— А этим двум?

Даже слышно, как вздохнул Боев, при клапане:

— А этим двум? Пока стоять. И — будь, будь начеку. А что — с линией?

— Послал, не знаю.

— Всем — в боевой готовности, и смотреть, и слушать. Чуть что — докладывай.

Спустя сколько-то прибежал линейный. Клянётся, божится:

— В лесочке — вот такой кусок провода вырезали, как ножом. И — следы сбоку.

Немцы?!

Уже тут?

15

Так, по санным колеям, и дошагал Балув с двумя своими связными до темноватой группки людей на открытом снежном месте.

Назвал себя, и по должности.

Майор Боев — чуть пониже ростом, в коротком белом полушубчике.

Поручались. Уж кажется, у Балуева — крепкое пожатие, но у Боева — цепная хватка.

И с фронтовой простотой:

— Где ж твой полк?

Его полк! Он сам его ещё толком не видел. В ответ:

— Да кто ж ваши пушки так выставил?

Боев клокотнул усмешкой:

— Попробуй не выстави. Приказ.

Рассказал обстановку, что знал.

Хоть и луна — ещё фонариком по карте поводили.

— Петерсдорф? Да, мне в него и ткнули, для штаба. Тут бы — и вам близко нитку тянуть. А я б — на НП сюда пришёл.

Хотя — что за НП? на ровном месте, без перекрытия.

— Но пока у меня часа два запаса — я должен сам поразведать: где ж немец? Где передовую ставить?

Вот это бы — если б знать!

Боева отозвали к радиции. Он там присел на корточках.

А Балув водил светлым пятном по карте. Если всё это озеро — у нас, так что и ставиться тут? Надо вперед.

Боев вернулся и басом тихим, от солдат, передал Балуюеву новость.

— И вполне может быть, — без колебания сразу признал Балуюев и такую обстановку. — Именно в первые сутки он и пойдёт, пока у нас не может быть обороны. Именно с отчаяния и пойдёт.

И тогда — хоть по здешнему рубежу передний край поставить.

И когда ж успеть сюда хоть роту подтянуть?

Но Боеву, с тяжёлыми пушками, — несравнимо?

А — никакого волнения.

Балуюев искренно:

— Год я на фронте не был — удивляюсь, какие ж мы на четвёртом году войны. Как раньше — нас не пуганёшь.

Да и сам Балуюев в Пруссии всего четвёртый день — а уже опять в полном фронтовом ощущении.

— Всё ж, я пойду вперёд, поправей озера. Что узнаю — сообщу тебе. И — где выберу штаб, тогда и нитку твою туда.

Сошлись в голом поле на четверть часа. Сейчас расстаться — до пока провод, до первой связи. А то — и никогда не увидится, это всегда так.

— А величать тебя — как?

— Павел Афанасьич.

— А меня — Владимир Кондратьич.

И — сдвинулись тёплыми ладонями.

Зашагал Балуюев со связными.

Луну — заволакивало.

16

Даже во Второй Ударной, весной 42го, остался Володя Балуюев жив, и из окружения вышел. А вот на сожевском плацдарме весь ноябрь 43го сгнивали — так ранило за два часа до отхода немцев, когда они уже утягивались. Но ранило — возвратимо, два месяца госпиталя в Самаре. И тогда — на год в Академию.

В Академии теперь не обстрелянных, не обмолоченных мало, все уже знают, что на войне почём. А всё-таки год учёбы — другой мир: война, возвышенная до ясности, красоты, разума. А и трудно запретить себе поворот мысли: за год-то, может, война и кончится? может, хватит с меня?

Не кончилась. Но как уже близко! Через северную Польшу, через Пруссию догонял, догонял попутными машинами, от КПП набиты случайными военными. И поспевал уже радуясь, войти опять в привычное фронтовое. И в такой величественный момент — отхвата Восточной Пруссии! (И в такую глухую растяжку фронта...)

Шли в уброд по рыхлому снегу, по целине. Разведчики сзади молча.

Вёл по компасу.

Если вот-вот начнётся — то уже и Петерсдорф не годится, высунутый. Как успеть хоть не роту, хоть взвод рассыпать охранением пушек под Адлигом?

А дотащится ли сюда хоть одна рота? Может, так с устатка свалились, что и не встанут?

Только б эту одну ночь передержаться — уже завтра будет легче.

А вот что: по левую руку, к северо-востоку, километрах в четырёх-пяти, бесшумно возникло, не заметил минуты, небольшое зарево, пожар. И — горело.

А стрельбы никакой не слышно.

Постоял, посмотрел в бинокль. Да, пожар. Ровный. Дом?

Пожара на войне по-пустому не бывает. Оно — *само* загорается почему-то при действиях.

Или это — уже у немцев? Или кто-то из наших туда заскочил, сплошал?

Пошагали дальше, на восток.

И ещё вот: сон. Мама.

Володина мать умерла молодой, такой молодой! И Володе, вот, 28 — а уж много лет снится ему, ненаглядная. Несчастливая была — а снится всегда весёлой. Но никогда не близко: вот только что была здесь — вышла; вот сейчас придёт; спит в соседней комнате; да вот проходит мимо, кивает, улыбается. И — никогда ближе.

Но от каких-то примеров, сравнений или чьих рассказов сложилось у Балуева: когда придёт время умирать — мама подойдёт вплотную и обнимет.

И минувшей ночью так и приснилась: мама дышала прямо в лицо да так крепко обняла — откуда у неё силы?

И так было тепло, радостно во сне. А проснулся — вспомнил примету...

17

Четыре пушки-гаубицы бй батареи вытянулись из Кляйн Швенкиттена, рычаньем своих тракторов нарушая всё ту же полную тишину вокруг. И, без фар, потянулись назад по той же обсаженной дороге, по какой притянулись несколько часов тому. За снаряжными прицепами шла и дивизионная кухня, и хозяйственная трёхтонка, отправили и их. (И перебежчика-немца.)

Лейтенант Гусев сидел, как обычно, в кабине первого трактора второго взвода. Этот отход очень ему не нравился: какие б там ни тактические соображения, а считай отступление. И теперь — в каком-то накате боя участвовать не придётся.

Олег жил с постоянным сознанием, что он — не сам по себе, молодой лейтенант, но сын славного командарма. И каждым своим боевым днём и каждым своим боевым поступком он хотел оправдывать такое сыновство. Сокрушением было бы для него в чём-то опозорить отца. И награда ему была пока — Отечественная, 2й степени, светленькая, так — за дело. (Отец следил, чтобы не было сыну перехвала по протекции.)

Езды тут было всего ничего, километра полтора, — и вот уже тот проеханный вечером железобетонный мост через Пассарге.

Одно за другим массивные орудия вытащились за своими тракторами на крутой подъёмчик после моста.

Там — вышла заминка, что-то впереди помешало. Потом опять зарычали во весь рык. И вытянули.

Олег спрыгнул, пошёл вперёд узнать.

Кандалинцев разговаривал с каким-то высоким полковником в папаше. Тот был чрезвычайно возбуждён и, кажется, сам не различал, что держал и держал в руке для чего-то вытянутый парабеллум.

А вытянул его, видно, — исключить неподчинение. Требовал он, чтобы пушки сейчас же, вот тут, развернулись в боевой порядок, стволами на восток. Для прямой наводки.

Дальше, за полковником, журавлино вытянулся ствол самоходки СУ-76. Несколько бойцов — на броне, и рядом.

Кандалинцев спокойно объяснял, что 152-миллиметровые не для прямой наводки: быстрее минуты не перезарядишь, это не противотанковые.

— А — других нет! — кричал полковник. — И не разговаривать!

Да дело было не в парабеллуме. В боевой обстановке, при отсутствии своего высшего начальника, каждый обязан подчиняться любому старшему по званию на этом месте. От своего ж они с этим переездом оторвались.

Да собственно и разницы не было: метров двести дальше они и думали занять позицию. Только вот, размыслительно-хладнокровно докладывал Кандалинцев полковнику, — тут, у моста, узко, четыре пушки фронтом негде поставить.

Полковник, как ни был возбуждён, отчасти внял старшему лейтенанту и велел поставить у моста лишь две пушки, по двум бокам дороги.

Нечего делать. Кандалинцев — не приказным тоном, тот ему слабо давался:

— Олег. Одно твоё орудие — слева, одно моё — справа.

Стали разворачиваться, разбираться.

Гусев поставил на позицию Зй расчёт, сержанта Пети Николаева. Кандалинцев у себя назначил 1й, старшего сержанта Кольцова — своих же лет, под сорок, донского казака.

Остальные пушки и грузовики протянули дальше метров на двести, где чернел господский двор Питтенен, с постройками.

А ещё ж перебежчика досмотреть.

Кандалинцев странно положил ему руку на плечо. И сказал:

— Гут, гут, всё будет гут. Иди с нашими, спи.

18

Перерезка провода не могла быть случайной, если выхватили два метра. Ясно, что им тут местность родная, они тут каждый ход знают, свои проводники, своя разведка — а лески и перелески там и сям. Мы — никак их не увидим, а они за нами следят.

Так Боев ещё не попадал. Переpravлялся он через реки под бомбёжкой, сиживал в НП на смертных плацдармах под частыми клювами немецких снарядов и мин, и вылёживал огневые налёты в скорокопанной лёгкой щели — но всегда знал, что он — часть своей пушечной бригады и верный сосед пехоты, и раньше ли, позже — подтянется к нему дружеская рука или провод, или приказ начальства — да и свои ж соображения тоже доложить.

А вот — так?.. Ни звука, ни снаряда, ежеминутная смерть не подлетает, ничем не проявлена. Но пехоты — нет, и раньше утра не будет, хорошо, если утром. А свой штаб — как умер, уже полночи. Что это может быть? Рация испортилась? — ведь есть же у них запасные.

Облака опять плотно затянули, да луна там и сходит к закату. Мёртвое снежное поле, очень смутная видимость. С одним комбатом под рукой, при двух по сторонам, глухо сидеть в мелких ямках — и чего ждать? Может — да, вот-вот немцы начнут наступать, хотя ни тракторных, ни грузовых моторов не слышно ни звука, значит и артиллерия у них не подтягивается. А если обойдут пешком стороной — и прямо на наши пушки? Они беззащитны.

И — чего стоять? По ком стрелять? Зачем мы — тут?

Уже одну батарею Боев оттянул самовольно. Хотя в том можно оправдаться. (А вот что: Касьянову, раз у него к батарее линия теперь не достигает — пусть-ка сматывается и идёт к своим орудиям, на тот берег. Скомандовал.)

Но оттянуть и две другие батареи за Пассарге? Это — уже полностью самовольная смена позиции, отступление. А есть святой принцип Красной армии: ни шагу назад! В нашей армии — самовольное отступление? Не только душа не лежит, но и быть такого не может! Это — измена родине. За это судят — даже и на смерть, и на штрафную.

Вот — бессилие.

Ясный, полный смысл: конечно, надо отступать, оттянуть дивизион.

И ещё ясней: это — совершенно запретно.

Хоть и погибай, только не от своих.

От Балуева, как ушёл, — ничего. Но новости подтекали. От комбата слева: метрах в трёхстах по просёлочной проскакал одинокий конный, на восток. А больше не разобрать. И стрельнуть не спохватились.

Так, это у немцев — разведка, связь, из местных?

Через тот же левый НП и через свой звукопост вызвал Боева комбат звукобатареи. Слышимость через два-три соединения — так себе. Тот сообщает: сразу за озером — немцы, обстреляли предупредитель, убили бойца.

— Саша! А что ещё видишь-слышишь?

— Слева — два зарева появились.

— А около тебя — наш кто есть?

— Никого. Мы тут — дворец прекрасный заняли.

— Я имею сведения: могут вот-вот пойти. А ты *коробочки* раскинул. Подсобрал бы, пока стрельбы нет.

— Да как же можно?

— Да что ими слушать?

Топлев докладывает: теперь и ему слева зарево видно. А Урал — не отвечает. Спят, что ли? Но не могли же — все заснуть?

Топлев — молоденький, хиловат. А ведь могут с фланга пушки обойти. Внушил ему: поднять все расчёты, никому не спать, разобрать карабины, гранаты. Быть готовым оборонять огневые напрямую. Держи связь, сообщай.

Останин пришёл:

— Товарищ майор! Хороший хутор нашёл, пустой. Метров пятьсот отсюда. Перейдём?

Да уж есть ли смысл? Пока линии прокладывать — ещё что случится.

19

И прошло ещё с полчаса.

Зарева слева, по северной стороне, ещё добавились. Близких — уже три, а какое-то большое — сильно подальше.

Но стрельбы — ни артиллерийской, ни миномётной. Ружейная может и не дойти.

А справа, откуда снял НП Касьянова, хоть никаких признаков не было, но рельеф, огибающая лощина, очень давали основание опасаться.

Тут и Останин вернулся из передней лощины, он по совести не может на месте усидеть. Говорит: на том склоне копошились фигурки, две-три. Почти наверняка можно б застрелить, да воздержался.

Пожалуй, и правильно.

С местными проводниками немцы тут и каждую тропу найдут. А за рельефом — и батальон проведут, и с санями.

Видимость всё меньше. Кого пошлешь — до метров ста ещё фигура чуть видна, больше по догадке — и всё.

В темноте — пехотной массой, без звука? На современной войне так не наступают, невозможно. Такое молчаливое наступление организовать — ещё трудней, чем шумное.

А — и всё на войне возможно.

Если немцы сутки уже отрезаны — как же им, правда, не наступать!

Мысли — быстро крутятся. Штаб бригады? Как могли так бросить?

Отступать — нельзя. Но — и до утра можем не достоять.

Да бесполезно тут стоять. Надо пушки спасать.

Рискнуть ещё одну батарею оттянуть? Уже не признают за манёвр: самовольное отступление.

Ну, хоть тут пока: стереотрубу, рацию, какие катушки лишние — на сани. И сани развернуть, в сторону батарей. Мягкову:

— Вторые диски к автоматам взять. Гранаты, сколько есть, разобрать.

Да разговаривать бы ещё потише, ведь разносится гомон по полю.

Конечно, может и танк быстро выкатить. Против танка — ничего нет. И щели мелкие.

Телефонист зовёт Боева. По их траншейке — два шага в сторону.

Опять комбат звукоачей. Очень тревожно: его левый звукопост захвачен немцами! Оттуда успели только: «Нас окружают. В маскхалатах». И — всё.

— А у вас, Павел Афанасьич?

— Пока — не явно.

— У меня на центральной — пока никого. Но коробочки — сверну, не потерять бы. Так что — будьте настороже. И забирайте свою нитку.

Боев не сразу отдал трубку, как будто ждал ещё что услышать.

Но — глушь.

Это — уже бой.

Мягкову:

— Давай-ка всех, кто есть, — рассыпь охранением, полукругом, метров за двести. Оставь одного на телефоне, одного в санях.

Мягков пошёл распоряжаться тихо.

Рассыпать охранение — и риск: узнаешь — раньше, но отсюда стрелять нельзя, в своих попадёшь.

А держаться кучкой — как баранов и возьмут.

Волнения — нет. Спокойный отчётливый рассудок.

Проносились через голову: Орловщина, на Десне, Стародуб, под Речицей. Везде — разный бой, и смерти разные. А вот чего никогда: никогда снарядов не тратил зря, без смысла.

Ликование бобруйского котла. Гон по Польше. Жестокий плацдарм под Пултуском.

А ведь — одолели.

...До утра додержаться...

На северо-востоке — километра за два, протрещали автоматные очереди. И стихли.

А — примерно там, куда Балув пошёл.

20

У Топлева на огневых — снаряды соштабелёваны близ орудий. Но стрелять, видно, не придётся раньше завтрашнего света. А вот приказал комдив всем расчётам карабины приготовить — их же никогда и не таскают, как лишние, сложены в снарядных кузовах. Для тяжёлых пушек — стрелковый бой не предполагается. Автоматы — у разведчиков, у взводов управления — они все на НП.

Не стало видно ни вперёд, ни в бока, всё полумуть какая-то.

Топлев и без того расхаживал в тревоге, в неясности, а после команды комдива разбирать карабины?..

Вот, стояли восемь пушек в ряд, как редко строятся, всегда батареи по отдельности, — и нервно ходил Топлев, маленький, вдоль этих громадин.

У каждой пушки — хорошо если полрасчёта, остальные разошлись по ближним домам и спят: сухо, тепло. Да кто и подвыпил опять трофейного. И шофера где-то спят.

Настропалил всех четырёх командиров взводов: разбирать оружие, готовиться к прямой обороне.

Одни подхватывались, другие нехотя.

Хоть бы был замполит при дивизионе, как часто околачивается, — его б хоть побоялись. Так и его комиссар бригады оставил по делам при себе до утра.

Но и нападать же не станут без артподготовки, хоть сколько-то снарядов, мин пошвыряют, предупредят.

А — тихо. И танкового гула не слышно.

Слушал, слушал. Не слышно.

Должно обойтись.

Пошёл — в Кляйн, к штабной машине. Ведь там — все, всякие документы. Если что?.. — тогда что?

Велел шофёру быть при машине. А радисту — Урал дозваться.

Пошёл опять в Адлиг, на огневые.

— Товарищ капитан! — глухим голосом зовёт телефонист, где примостился в сениях. — Вас комдив.

Взял трубку.

Боев — грозным голосом:

— Топлев! **Нас тут окружают! Готовь оборону!**

И ещё, зная, клапана на трубке не отпустил — услышался выстрел, выстрел!

И — всё оборвалось. Больше нет связи.

И Топлев ощутил на себе странное: коленные чашечки стали дрожать, сами по себе, отдельно от колена, стали попрыгивать вверх-вниз, вверх-вниз.

Да на всю огневую теперь не закричать. Вдоль пушечного ряда оббегал командиров взводов: готовьтесь же к бою! на комдива уже напали!

Теперь-то — и все зашурудились.

А штабная машина? если что? Послал бойца: обливать бензином, из канистр.

Не уйдём — так сожжём машину.

21

Верность отцу — была ключ к душе Олега. Мальчику — кто святей и возвышенней отца? И какая обида была за него: как его в один из тридцатых (Олегу — лет 10, понимал) беспричинно ссунули из комбрига в полковники, из ромба в шпалы. И жили в двух комнатах коммунальной квартиры, а в третьей комнате — стукач. (Причина была, кто-то, по службе рядом, *сел* — но это мальчик лишь потом узнал.) А с подростком: так и следовать в армейской службе? В 16 лет (в самые сталинградские месяцы) — добился, напросился у отца: натянул на себя солдатскую шинель.

Верность отцу — чтобы тут, у двух своих пушек, не посрамиться, не укорили бы отца сыном, лучше — умереть. Олег даже рад был, как это всё повернулось, что их поставили на мост охранять на невиданную для 152х прямую наводку. И — скорей бы эти немецкие танки накатывали из полумглы!

Сегодня — небывалая для него ночь, и ждалось еще большее.

Хотя по комплекту полагается на каждое орудие 60 снарядов — но сейчас и с двух взводных орудий набрали — половину того. И в расчёте — семь человек вместо восьми. (Вот он, Лепетушин...) Но не добавил лейтенант бойца из другого расчёта, это неправильно, достанется ещё и тем. Лучше подможет этому, своими руками.

Ни той самоходки, ни того грозного полковника уже и близко не было, а орудия бй батареи — стояли у моста, сторожили.

Впереди — пустое тёмное пространство, и, кажется, нет же там никаких наших частей — а стали люди набегать.

Несколько топографов из разведдивизиона — один хромает, у одного плечо сворочено. Послали их на топопривязку, когда луна светила, и застряли на тьму: ждали, может разойдётся. Вперебив рассказывают: странное наступление, только молча подкрадываются — кто лопатой, кто даже ножом, изредка выстрел-два.

А какие-то топографы — ещё и сзади остались.

Проехали сани звуковиков с разведоборудованием, успели утянуть. Только трофейные битюги и вызволили, а машина их — там застряла, вытаскивают.

Так это — ещё сколько там звуковиков?

— Павел Петрович, как же стрелять будем, если свои валят?

— Придётся подзадержаться.

Там, на восточном берегу, вглуби, — перестрелка то вспыхнет, то смолкнет.

Велел Кандалинцев двум свободным расчётам готовиться к стрелковому бою. И сейчас — послал в охранение, слева и справа.

Ещё подымались наши с моста.

А вот — несли раненого, на плащпалатке. Полковые разведчики.

Еле несут, устали. Кто бы их подвёз?

Тут — поищем, снарядим.

Олег наклонился над раненым. Майор. Волоса как лён.

Недвижен.

— Ваш?

— Полковой. Новый. Только прислали его вчера.

— Тяжело?

— В голову и в живот.

— А где же полк ваш весь?

— А ... его знает.

Наши батареицы подменили носчиков, до господского двора.

Кандалинцев им:

— Пусть на наших санях довезут до Либштадта, и сразу назад.

Городок Либштадт, на скрещении шести дорог, пушечный дивизион беззаботно проехал вчера вечером. А если немцев туда допустить — у них все дороги.

— Павел Петрович, а ведь наш перебежчик — не соврал.

— Велел я его покормить, — проворчал Кандалинцев.

— А что наш комбат? И по рации не отвечает?

А — что весь дивизион?

От дальних зарев тоже чуть присвечивает. И глаза пригляделись в мути. Вон, чернеет ещё группка наших. Сюда.

И вон.

И вон.

Да, тут не постреляешь.

И вдруг: справа, спереди — да где наши 4я-5я батареи! — густая громкая пулемётная стрельба.

И — крупная вспышка! вспышка! — за ними взрыв! взрыв!

22

Из смутного ночного брезга, из полного беззвучья — грянуло на 5ю батарею сразу от леса справа, но даже и не миномётами — а из трёх-четырёх крупнокалиберных пулемётов — и почему-то только трассирующими пулями. Струями удлинённых красных палочек, навесом понеслась предупреждающая смерть — редкий случай увидеть её чуть раньше, чем тебя настигнет.

И сразу затем от того же лесу раздалось — «hur-га! hurra!» — густое, глоток не меньше двести.

И бежали на орудия — валом, чуть видимые при мелькающих красных струйках.

От пушек звукнуло несколько ружейных выстрелов — и больше не успели. Красные струи перенеслись на левую, 4ю, батарею — а 5ю уже забрасывали гранатами. Вспыхивало, вспыхивало огнями.

Атака застала Топлева на дальнем краю 4й батареи — вот! готовились — сам их готовил — а и сами не верили. Да целую ночь уже на струне, ослабли, кто и заснул.

Да — и больше их втрое, чем нас!

Кричать? командовать? уже голос не дойдёт, и не он разбудит.

Всё это коротко — как удар ночным кинжалом.

Ни-че-го Топлев сделать уже не мог! Только — бежать? Бежать в Кляйн к штабной машине и поджечь.

И — побежал.

И слышал взрывы за собой, уже близко — и прорезались меж взрывами крики — наши? ихние?

Ещё отличить: из карабинов бьют, это наши.

У машины планшетист и радист только и ждали: плескали на будку машины бензином! подносили и тыкали горячей паклей.

Ах, взялось с четырёх сторон! Ат-бегай!

Убегай!

Планшета нашего вам не видеть! И в документах не ковыряться.

Уже гранат на батарее не метали. Достреливал кто-то кого-то.

Бежали сюда, на пожар, пули просвистывали рядом, цель видна.

И Топлев — побежал со своими штабными солдатами.

Бежал — зная только направление верное, а весь смысл — потерял.

Кто-то ещё сбоку бежал, с батареей, не видно.

В голове проносилось: детство, школа — да с какой плотностью, да всё сразу.

Солдат приотстал, чтоб рядом с капитаном.

От задыха и не скажешь, понятно и так.

По дороге — на мост, как утянули, спасли бю. Тут — километр.

Остановились, оглянулись. Высоко, над деревьями, краснело пламя от машины.

Говорил комдив: до Германии дотянуть её.

А где пушки остались — только автоматные дострелы.

23

Кандалинцев и Гусев потом только вместе, помогая друг другу, — могли и не могли вспомнить, как же оно точно было? Что после чего? И чья именно пушка попала в первый танк? и в третий? и отчего горел бронетранспортёр?

Аж часов до шести утра нельзя было стрелять: впереди, по тот берег, трещала автоматная перестрелка, и всё время выходили наши люди из окружения. Как будто и частей наших там нет, а сколько их набралось в этой снежной мгле.

Но потом по левой дороге, от Дитрихсдорфа, стали помигивать подфарники танков и бронетранспортёров. Немцы пошли! Иногда коротко вспыхивали и фары, не удерживались не включать, — шла моторизованная колонна. И всё явней нарастал её гул, через последнюю автоматную стрельбу.

А вот оно — первое рыло и вылезло! Пора — и бить.

— Орудие к бою! — еле донеслось через шоссе справа от Кандалинцева.

— Прямой наводкой! — трубно заорал Олег и своему расчёту. — Огонь!

Наводил Петя Николаев. Рыгнуло наше орудие. И кольцовское рыгнуло.

И Олег бросился помогать расчёту со следующим снарядом, теперь всё в быстроте!

А немец не ожидал тут огня.

Стал распознаться в стороны.

Но и мы — не мимо! Фонтаны искр от брони! — значит, угодили, осколочно-фугасным!

Остановился танк.

А позадей — загорелось что-то, наверно бронетранспортёр.

А по дороге — колонна катила!

Но и мы свои снаряды — чуть не по два в минуту!

А наш снаряд — и «королевскому тигру» мордоворот.

И так получилось удачно — как раз перед мостом и на мосту — разворотили по танку, и пробкой закрыли мост.

Удивляться, что сам мост уцелел.

Немецкие танки били сюда, но оттого, что берег наш много выше, а они снизу — снаряды их рикошетили и улетали выше. Расчёты падали влёжку в кюветы и тут же вскакивали опять заряжать. Николаев и Кольцов не отходили от орудий — и целы остались.

...Когда не думаешь ни о себе, ни о чём, ни о ком, а только как бы *вжарить!* как бы взарить.

А немцы вперемежку стреляли и неразрывными болванками, как у них повелось ещё с осени: не хватает снарядов?

А от болванок — осколочных ранений нет, только во что прямо уходит.

Всё ж — ранило мятучего Юрша и двух из расчёта Кольцова.

И на орудии Николаева танковой болванкой перекосило колонку уравновеса.

Вот так — вспоминали потом, все вместе, но *что* именно за *чем* и от *кого* — уже никому не разобраться.

Потом — было разное. Подошёл-таки, ни откуда возьмись, наш стрелковый взвод — и залёг по берегу.

Мост — на пристреле. Между подбитыми танками немцы поодиночке пытались сюда пробегать — тут их и укладывали.

А через лёд, да по круче, в снегу утопая, — кручу берега тоже не взять.

Ну и нам по мотоколонне на тот берег — нечем бить, снаряды кончились.

А тут, по свободной дороге сзади, вдруг подкатил наш танк с угловатым носом, ИэС, новинка, сильнейшая броня, из дивизионной по нему стрелять — что семячки бросать. Стал между пушками — и бабахнул предупредительно раза три по мотоколонне, два раза — по дороге на Адлиг.

И оттуда — не совались.

Моторы — оттянули немцы в лес.

А сзади ещё два ИэСа подошли.

Вот когда полегчало.

Ещё потом — выше, ниже по реке — через лёд, и на снежную кручу карабкаясь, — выходили из окружения.

Средь них — и свой комбат Касьянов, с подбитой рукой.

И — батарейцы с захваченных 4й и 5й, кто смог убежать, добежать. Не — много их.

И капитан Топлев, целенький.

Но про комдива — только и мог сказать, что его — *окужили*.

Как бы не насмерть.

Не поверил Олег, глянувши на часы: куда три часа ушло? Как они сжались, проскочили? Будто канули в бою.

Уже и светало.

24

Кухня кормила, кто тут был из наших.

Капитан Топлев — стыдливо растерянный перед командирами взводов. Но что он мог — лучше? Не умолкал, всё заново рассказывал Касьянову: как было, как неожиданно они подкрались — и нельзя было спасти пушки.

И капитан Касьянов, невиноватый, — как в чём виноват.

Спустя часок — от Либштадта, сзади, подкатило две легковых. На переднем, трофейном Опель-блице, — помначштаба бригады — майор, начальник разведки бригады — майор, ещё из штаба помельче. Верить не

могли: вот за эти несколько часов? со вчерашнего тихого вечера? и — такое произошло?

Бросились радировать в штаб бригады.

А из второй машины — замполит 2го дивизиона Конопчук, и парторг Губайдулин, отоспался, трезвый.

И — бригадный СМЕРШ майор Тарасов.

Столпились с офицерами: как и что? Негодовали, ругали Топлева, Касьянова: как можно было так прохлопать?!

Тарасов строго отчитывал:

— Понятия «неожиданность» не должно существовать. Мы должны быть всегда ко всему...

А задёрганный Топлев, теряя рассудок:

— Да ведь и знали. Предупреждение было.

— Да? Какое?

Топлев рассказал про перебежчика.

Тарасов — смекнул молнией:

— И где он?

Повели его туда, к барскому двору.

А остальные приехавшие огляделись, поняли: эге, ещё и сейчас тут горелым пахнет. Надо уезжать.

А в штабе бригады уже знали *сверху* о крупном ночном наступлении немцев, на севере и пошире здешнего. Третий дивизион в полном окружении. Приказ: уцелевшим немедленно отступать через Либштадт на Герцогенвальде.

Привели к Тарасову перебежчика.

Несмотря на ночную перепалку, он, может, и поспал? Пытался улыбаться. Миролюбиво. Тревожно. Ожидательно.

— Ком! — указал ему Тарасов резким движением руки.

И повёл за сарай.

Шёл сзади него и на ходу вынимал ТТ из кобуры.

А за сараем — сразу два выстрела.

Они — тихие были, после сегодняшней громовой ночи.

Эпилог

От вечера 25 января, когда первые советские танки вырвались к Балтийскому морю, к заливу Фриш-Хаф, и Восточная Пруссия оказалась отрезанной от Германии, — контрнаступление немцев на прорыв было приготовлено всего за сутки, уже к следующему вечеру. Их танковая дивизия, две пехотных и егерская бригада — начали наступление к западу, на Эльбинг. В ходе ночи с 26 на 27 января к тому добавились ещё три пехотных дивизии, и танки «Великой Германии», захватывая теперь левым флангом Вормдйт и Либштадт.

При стокилометровой растянутости клина к морю наши стрелковые дивизии не успели создать даже пунктирной линии фронта, из трёх дивизий одна оказалась окружена. Но Эльбинга, через нашу 5ю гвардейскую танковую армию, немцы не достигли, — лишь на четыре дня захватили территорию от Мюльхаузена до Либштадта. С юга их остановила наша танковая бригада и подошедший от Алленштейна кавалерийский корпус — как раз по снегам сгодились, напослед, и конники.

2 февраля мы снова отбили и Либштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Адлиг Швенкиттен. Пушки двух погибших батарей стояли в прежней позиции на краю деревни, но все казённые части, а где и стволы, были взорваны изнутри тротильовыми шашками. Этого уже не восстановить. Между пушками и дальше к Адлигу лежали неубранные

трупы батарейцев, несколько десятков. Некоторых немцы доби́ли ножами: патроны берегли.

Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали близ Боева мёртвыми. И сам он, застреленный в переносицу и в челюсть, — лежал на спине. Полушубок с него был снят, унесен, и валенки сняты, и шапки нет, и ещё кто-то из немцев пожадился на его ордена, доложить успех: ножом так и вырезал из гимнастёрки вкруговую всю группу орденов, на груди покойного запёкся ножевой след.

Похоронили его — в Либштадте, на площади, где памятник Гинденбургу.

Ещё на день раньше командование пушечной бригады подало в штаб артиллерии армии наградной список на орден Красного Знамени за операцию 27 января. Список возглавляли замполит Выжлевский, начальник штаба Вересовой, начальник разведки бригады, ниже того нашлись и Топлев, и Кандалинцев с Гусевым, и комбат-звуквик.

Начальник артиллерии армии, высокий, худошавый, жёсткий генерал-лейтенант, прекрасно сознавал и свою опрометчивость, что разрешил так рано развёртывание в оперативной пустоте ничем не защищённой тяжёлой пушечной бригады. Но тут — его взорвало. Жирным косым крестом он зачеркнул всю бригадную верхушку во главе списка — и приписал матерную резолюцию.

Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева — Отечественной войны 1й степени. Удовлетворили. Только ордена этого, золотенького, никто никогда не видел — и сестра Прасковья не получила.

Да и много ли он добавлял к тем, что вырезали ножом?

Тоже и командир стрелковой дивизии в своих послевоенных мемуарах — однодневного комполка майора Балуева не упомянул.

Провалился, как не был.



ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ

ВОРОНИЙ ПРОРОК

Малинник

Покой — в проплывающем облаке. Забыты мечи и орала.
Вовек не бывавшему в обмороке неведомо чувство астрала.

Безумцев забавы опасные. Околица тысячелетья.
А утро — стоячее, пасмурное... Неужто могу не стареть я?

Неужто дано попустительство мне, жалкой ликующей глине,
и эта стезя обольстительная в глухой раскаленной малине?

Неужто уволен до вечера от подлой и злой процедуры —
ветшания тела, привеченного всей прелестью местной природы?

Прыщ, чирый я, черная оспина, но — как нам без разговора:
Ты всем нас пожаловал, Господи, но всех и разжалуешь скоро.

Иль, может, тому, кто влюбился так в Твое загляденье земное,
за это посмертно предписано совсем заведенье иное?

Так что ж я сияю, как гривенник, как глупый расхожий полтинник,
открыв этот горный молитвенник, молитвенник мой, Твой малинник...

На яру

Что-то все не начинается весна,
и под тяжестью нагрузки снеговой
все трясет горизонтальная сосна
над обрывом сумасшедшей головой.

Белоснежный неподтаявший покров
только чуть засеребрился на ветру.
Черен дуб. Закат внезапен и багров.
И судьба неудержима на яру.

Этот яр так упоителен и крут,
что любого завлечет на суицид.
Слушай, тело, не сочти за тяжкий труд —
пусть душа над этой бездной повисит.

Ряшенцев Юрий Евгеньевич родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил Московский государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Автор шести книг стихов. Много работает для театра и кино, автор зонгов к спектаклям «История лошади», «Бедная Лиза», «Три мушкетера». Живет в Москве.

Там, внизу, в неясной схватке плоскостей, —
камни серые в земном своем поту.
Кто упал, не соберет небось костей.
А зачем они в бесплотном-то быту,

в том грядущем, где в отсутствие-то тел
не мутируют ли души до цинги,
за которой беспредельность в беспредел
превратится?.. О, прости и помоги!..

Перелетные ангелы

Очнулась река, всю проспавшая зиму без просыпу.
И лед притонувший похож на гнилой поролон.
Какой-то вороний пророк по воде — аки посуху.
Похоже, что чуда взыскует и вера ворон.

Они барражируют в светлом и медленном воздухе.
Весенняя твердь раздвигает кирпичный проем.
И все это небо висит лишь на бронзовом гвоздике,
чья шляпка сейчас засветилась над монастырем.

Наверно, люблю. А не то бы навряд ли бездельничал.
Быть может, любим, а иначе зачем так открыт
я этим однажды предавшим прудам Новодевичьим,
где, стоя с сухими глазами, я плакал навзрыд.

Теперь вот не плачу — глаза же влажны. Отчего б это?
Небось оттого, что рассказы про возраст — вранье:
бесстрастная юность не лучше бесстрашного опыта.
А юность, ей-богу, бесстрашна — взгляни на нее:

как точно считает и как заседания свиданиям
уверенно предпочитает. Но это пройдет.
Цель жизни — прийти к одиноким весенним скитаниям,
когда под мостом не вода, но уже и не лед.

Уж если мы что получаем, то, право же, — вскорости.
Всей жизни — на миг. Где уж тут позабыть о былом.
И нет ничего, что бы стоило мартовской новости
об ангелах, стаей вернувшихся с первым теплом.

* *
*

Освоена, но не воспета,
грязна, прекрасна, глубока
за теплым камнем парапета,
как сон подростка, та река.

Состав воды давно опален,
давно остыл к ней рыболов.
И внятен плеск былых купален
тому лишь, кто седоголов.

Все это, в общем-то, нормально,
 хотя и жалко той реки.
 Судьба горланит: — Вира! Майна!.. —
 и мы глядим из-под руки
 на чудеса родного града,
 все понимая и смеясь
 тому, что нас ему не надо,
 ну а у нас одна досада:
 что, мол, времен прервалась связь.

Вот, Гамлет, в чем твоя ошибка:
 та связь не рвется никогда...
 Ловись, ловись, золотая рыбка.
 Теки, проклятая вода.

* *
 *

Вода стоит с гранитом вровень.
 И май то светел, то свинцов,
 плывет вдоль изумрудных кровель
 екатерининских дворцов.
 И клочья рыхлого тумана
 возносятся под облака.
 И город — вроде наркомана,
 спасибо, «ломка» далека.

Чуть ветер небо прополощет
 и глянет сверху медный диск,
 как по-хозяйски тень на площадь
 свою положит обелиск,
 и в сквере ослабеет цветом
 костер у нищих. Но взгляни:
 он на стихи похож. При этом
 растет из сора, как они.

Иною копотью заморен
 решетки золотой узор.
 Там — сад, который так намолен
 любовью, что уже — собор.
 Там тот, кто дал мне жизнь когда-то,
 он и до свадебного дня,
 молясь на стрелки циферблата,
 уже молился за меня.
 Молился! Хоть и рушил церкви
 и в гневе правом, но слепом
 все разные курочил цепи —
 то молотом, а то серпом.
 И мне давно пора Николе
 поставить за него свечу:
 Никола добр ко грешным. Боле
 на эту тему не хочу.

Хочу смотреть, как он бескровен,
 закат над серою водой.

Вода стоит с гранитом вровень —
 стоит, молчит, как понятой.
 Но непривычную свободу
 порой дает седой висок —
 казенную пощупать воду
 иль даже просто на глазок
 определить, что лето близко
 и что оно — твое пока,
 твое — как тень без обелиска,
 твое — как дым без костерка.

* *
 *

Ты живешь под этим деревом столько лет,
 так и не зная, осина это или ольха.
 Между тем это ясень, несущий весь месяц бред,
 что будто бы он — Микула. Но он — Вольга.

Здесь вообще князей поболее, чем крестьян.
 Такова роковая действительность наших дней,
 у которых, может быть, самый большой изъян —
 поиск каждым стручком могучих своих корней.

Тот, кому корней своих мало, стучит ребром
 маломощной ладони по древней доске стола,
 полагая, что все может кончиться и добром
 в неизбежном, как жизнь, столкновенье добра и зла.

А счастливые книги стоят в старинном шкафу,
 равнодушные, как природа (со слов Певца),
 совершенно не понимая, зачем кунг-фу
 при такой вседоступности пороха и свинца.

Дай-ка чаю. Подвинь-ка кресло. Открой окно:
 пусть вползет, профильтрован листвою, голубой бензин...
 А гнездо, недоступное вроде, — разорено,
 ибо нет недоступных гнезд у родных осин.

* *
 *

Опустевший террариум рая.
 Безопасные фрукты цветут.
 Предыюньская ясность сырая...
 Как с тобой оказались мы тут?

Одержимые хворью познанья,
 преступившие умный наказ,
 беспощадные, словно пиранья, —
 кто пустил нас сюда в этот раз?

Непонятно радушье Господне,
 странен вохровский сон ключаря.

Мы не завтра — сегодня, сегодня
 согрешим, никого не коря:

ни змеи, не прощенной доньине,
 ни крылатой охраны слепой.
 Там, внизу, в безысходной долине,
 в нас грехом нашим тычет любой.

Там любой на запретах зациклен
 и прищурен, как храбрый Вьетнам,
 и один лишь Господь беспринципен
 и опять улыбается нам.



ОЛЬГА ЕРМОЛАЕВА



ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК

1

Когда распрямлюсь, озирая работу мою,
стараясь руками в земле не запачкать косынку, —
блаженно-беспамятно, слепо-счастливо стою,
как эти растения всюду стоят по суглинку.
О, как же мы с ними роднимся, как близко живем...
с резучими травами часто меняемся кровью.
И там, где собой земляной замещаем объем,
они непременно приникнут потом к изголовью.
В свои именины ходила одна по грибы,
и лес задарил меня так, что я тихо смеялась.
Я вспомнила Толю. Он был как знаменье судьбы.
Я с ним и сугубо приятельски не целовалась.
Ох, вспомнился мне незабвенный дружок мой Толян,
уткнувшийся в шпалу своей полудетской мордахой.
В грязи — да не грязен. Был не уркаган, не буян...
кого-то в сельпо отрядили за белой рубахой.
Жердинский, Жердинский... Прости меня, подлюю, за...
за то, что над мертвым тобою мелю, как Емеля.
От долгого рева бумагу не видят глаза.
Я мажу их вытяжкой из уссурийского хмеля.
А было, бывало! мы шли болотами в тайгу,
да всё почему-то подчеркнуто ходко и рьяно,
но он завернул к неизвестному в травах цветку
и с ним познакомил меня, помню жест: «Валерьяна!»
Все Толя. Моторки, саранки, кета, черемша,
кедровые шишки... а такта при бездне уменя!..
На галечной отмели жду у костра не дыша
его, острогою лучащего ночью тайменя.
И помню — в котельной. И помню — пожары тушил
в тайге — вертолетом, в какой-то команде мобильной.
Был мой одноклассник. На срочной во флоте служил.
Лесной человек. А на улице жил Лесопильной.
Пуст Дальний Восток. Фотографий его не брала.

Ермолаева Ольга Юрьевна родилась в Новокузнецке (Сталинске). Долгое время жила на Дальнем Востоке. Окончила Московский институт культуры, режиссерско-театральный факультет. Автор трех поэтических книг («Настасья», «Товарняк», «Юрьев день»). Живет в Москве.

Не встретимся боле — ну разве что по воскресеньи...
 теперь понимаю, как сильно Дерсу Узала
 всей горестной нежностью помнил Владимир Арсеньев...
 Когда распрямлюсь, я не там буду, Толя, где ты,
 а там, где ухлопаны лучшие годы и силы.
 Увижу лесничества, храмы Можайска, лесные посты
 да братские в сильноподзолистых почвах могилы.
 Черничные тучи, картошку да жилистых коз,
 с неловкой поспешностью мне уступавших тропинки,
 и будто все тот же опять паучишка пронес,
 как беженец, грядями, марлевый узел на спинке.

27 июля 1998.

2

Не восхити меня в половине дней моих.

Пс. 101.

Я думаю, что, разумеется, я не дождусь,
 когда небеса, как в сто первом псалме, обветшают, как риза,
 но запах точенных из дерева ялтинских бус
 душистей и смиренны, и ладана, и кипариса.
 Чужая моя

там с тяжелыми слитками роз,
 с дикарской роскошью горных ручьев от Дарсана,
 с ее гиацинтовым — морем ли, роем стрекоз, —
 с мелькнувшей по камню нарядною вязью Корана...
 А здесь, где теперь на досуге и в отпуске печь,
 уже не представить глухую волчиную зиму,
 таинственно и обособленно жившую вещь
 любую! — мышами точиму, морозом палиму...
 По стеклам веранды антоновка ночью скребет
 и смотрит в лицо мое, но никогда не пугает,
 в отличие от полной луны... а ненастье найдет —
 ее под дождем каждый листик дрожит и мигает.
 В проволглые дни пахнет плотная шерсть одеял,
 как пахнет кошачья прижавшаяся головенка,
 а ватный матрац помнит дым дровяной, сеновал
 и будто б однажды

опрудившегося ребенка,
 как помнит меня мой, с ногами фигурными, стол:
 шары на балясинах, выемки, кольца, манжеты, —
 еще с моей алгебры школьной за мною прибрел,
 в шарах его лаковых, в кольцах — зеркальные светлы.
 Должно быть, и умер давно уж безвестный столяр,
 на Дальнем Востоке когда-то сработавший мебель,
 но я все твержу в его честь, как примерный школяр:
 «зензубель, шпунтубель, фуганок, рубанок, шерхебель»...
 Навек водружен мой этюдничек на шифоньер.
 Там в глиняной вазе — букет из коробочек мака
 пергаментный; палево-сиз он и крапчато-сер...

А кошка нейдет сюда, спит на крыльце, как собака,
боится: восхитят, ухватят, увеют в Москву...

Не сделает шага к барометру и самовару.

О, все, что угодно, узришь, но никак не тоску
в очах, приникая к салатному, в крапе, муару.

И я, мил дружок, хочу обходиться без слов,
не рвусь возвращать что ни есть

и не рвусь возвращаться,

и к пепельно-сизому фетру еловых стволов
от детства привычно мне легкой душой прилепляться.

Там, в каторжной жизни — бурлацкой ли, женской — бог весть! —

есть звездного неба складные огромные карты,

но я-то и Ветхий Завет не успею дочесть,

не то что роскошную книжищу «Кавалергарды»...

...Там нежная сизость колен, отходящих в тепле,

громадное детство: тоска, гениальность, морока...

...Здесь глаз отдыхает в зеленой лесной полумгле,

на черно-лиловой земле, как войдешь с солнцепека.

8 августа 1998.



ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ



В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Эти кольца

Смиренье, смиренье, смиренье.
Все прошлое перебелю.
Смиренное стихотворенье
придумаю, что не люблю.

Отрину болезненное и злое...
Мне ангелы весть подадут
о том, что Тебя к аналою
насильно сейчас поведут.

Смиренья! Но вестник ошибся,
ошибся мой ангел весьма:
с лицом желто-серого гипса,
в смирительной робе, сама —

«как странно невесту одели» —
сама жениха Ты ведешь...
Тогда в полутемном приделе
послышится внятнее: ложь.

Так вот как закончилась драма...
И я, полумертвый, уйду
из этого скверного храма
и женщину не уведу.

Смиренья... Но вздыбится паперть,
как палуба, встанет стеной —
и бурная Бездна-праматерь...
Но крики! Но вопль за спиной:

Твое — в ослепительном круге —
лицо! — и меня захлестнут
родные, любимые руки —
жила ради этих минут!

Твой смех сквозь рыдания рвется,
мелькают комочки-платки...
Никто не порвет эти кольца —
объятыя в четыре руки.

Леонович Владимир Николаевич родился в 1933 году в Костроме. Учился в Одесском мореходном училище, в Московском военном институте иностранных языков, в Московском государственном университете. Автор пяти поэтических книг. Много занимался литературными переводами.

Единым дыханьем

С бегучей искрою малиновые голыши,
железные проймы дверные от инея белы:
снаружи мороз... Столько сразу всего для души
от собственной смелости и простоты оробелой...

Неистовый жар из сучков выжимает смолу.
Дыши через веник. Он пахнет ангарской пихтою...
Вверху — невозможно... На корточках на полу
зажалась в комочек, прикрытая лишь смуглотою.

Слегка на прозрачные камни плесну из ковша —
вода в этом пекле от ужаса воспламенится! —
жар вылетит из камеленки, клубясь и шурша:
— Тебе это снилось когда-нибудь?
— Мне это снится.

А полдень — Эллада морозная! Мы разошлись
с толпою так круто: сегодня мы — пара мишеней.
— А что, я вернул тебе девство?
— И детство! И жизнь! —
Смеется довольная. — Тише, не делай движений.

Сюда... молодец... узковат этот жгучий полок...
и воздух тут... неприкасаемый, просто железный...
Дыши Ангарой: я с тобой был тогда, видит бог,
но легкости не было этой — почти бестелесной...

Ты видела Индию предков, любимого ты
искала и в термах, и в страшных гемониях Рима...
Ты здесь. Я слепой — я не вижу твоей наготы.
— И я... Не поверишь — совсем!
— Потому что любима.

А помнишь: сиянье встает за горами грудей —
и он это видел: сиянье. Как страшно, как жалко —
совсем ведь мальчишка. Сорвался — слеза площадей,
заплеванных вечно...
В тепле одевайся... весталка.

Роса выступает... Оденься в тепле не спеша.
— И все? — и смеется.
— И все. Я тебя нарисую,
как только прозрею. Без красок и карандаша —
единым дыханьем. Иные художества — всуе.

Ты здесь, эту страшную зиму собой освятя...
О Боже! И я наконец до Тебя докричался!
...А лучше — простынку накинуть, прижать, как дитя, —
и так бы нести бы — до самого смертного часа...

Пока дышу*Записи*

Я только мать. Меня нельзя обидеть.
 Мой долг простой нельзя перерешить.
 Решили... Ничего у них не выйдет.
 Я только мать, обязанная жить.

Я не вольна в себе. Гляжу повинно
 на их старанья. Что ни говори,
 добра хотят... Но только пуповина,
 связь всех времен, — здесь, у меня, внутри.

О, это велико и непостижно...
 С великой жалостью на них гляжу...
 Нет, у Иуды ничего не вышло —
 и никогда... А я пока дышу,

и дни и месяцы плывут навстречу —
 дышу — шевелится — седьмой, восьмой...
 Я ничего другого не замечу
 и не решу... О Боже! Боже мой!

Рассказывали мне... Я не забуду...
 Как бредил Иисус... Как у одра
 дежурил Петр — и Бог просил Петра,
 очнувшись: — Петр! Петр! Спаси Иуду!

Я мать. Я оболочка. Я обложка
 великой книги: вам ее читать.
 Я на восьмом... Еще, совсем немножко —
 и все. И нет меня. Я только мать.

Костер. Сон. Шепотом

Как будто мы с Тобой в соборе —
 знакомый: Шартр? или Дом?
 Народ на площади. Идем
 в пульсирующем коридоре,
 в толпе...

Вдруг! нефтяным огнем —
 КОСТЕР! Костер мне снится часто...
 Но вместе мы — какое счастье —
 рука в руке...

Но я — одна!
 А Ты в толпе — ТВОЯ СПИНА...

И стала бы я вдруг — старуха.
 И нет мне радости — гореть...
 Что это? Милый мой, ответь.

И он сказал: ХУЛА НА ДУХА.
 Любовь — и вдруг такие сны?
 Ты предаешь меня. Неправда,
 что мы в сомненьях не вольны.

И стал лицом чернее мавра
 и отвернулся от жены.

Напрямик

С. И. Липкину.

Переведу ямбом чеченского волка вой,
 в стену стучась бетонную повинною головой.

Грустно, Семен Израилевич, плохи наши дела.
 За полночь еле-еле вылезешь из-за стола

письменного (кроме круглых, «покойных», прочих иных
 еще сохранился письменный в эпоху пиров чумных).

Переведу хоть этого, хоть того Шамиля...
 Волчий след — сквозь горбатые олонецкие поля —

след прямой и глубокий — рубанули сплеча —
 след, подобный удару архангелова меча —

ГЕРБОВЫЙ СЛЕД... Так в юности прямо через квартал
 через заборы и стены лез и перелетал —

ночью прямо по курсу выбрав себе звезду...
ВОЙ ЧЕЧЕНСКОГО ВОЛКА ЯМБОМ ПЕРЕВЕДУ.



ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА

*

АКТРИСА И МИЛИЦИОНЕР

Повесть

7 ноября

«**Р**ассказать бы кому», — думала она.

В тот вечер в метро продавали запаянные в целлофан орхидеи. Белые с красноватым узором лепестки распахнуто стояли на узком черном стебле. Продавщица из новообращенных инженерок сразу стала их навязывать. Пришлось уйти, уйти до противности торопливо. Так уходишь от стыда. Дурного запаха. Хамства. Хотя какое хамство? Сплошная доброжелательность. Обнять бы инженерку-оборонщицу, что училась на «отлично» сбивать американские ракеты, и прошептать ей в ухо: «Извините, у меня на орхидеи нет денег...» Но дело это рискованное. Оборонщица могла бы закричать в ответ, что да, понимает, что было время, когда она сама каждый год ездила в санаторий ЦК им. Фабрициуса, а теперь вот — на! Торгует цветами. «Это, по-вашему, что?»

Поэтому она и уходит быстро-быстро...

В метро сквозило, и хотелось быстрее оказаться дома. Между прочим, Вадим был оборонщик. И оба-два ее мужа. Они ушли от нее навсегда. Сегодня девять дней Вадиму. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зверек» попищит, а она поплачет. «Ах, — думает она, — рассказать бы кому...»

Она ищет глазами лицо в толпе, которая станет потом «лицом томагочи». Но сегодня день цветов. Много их — чересчур! Больше всего гвоздик. Боже! Она совсем забыла. Сегодня же праздник. Зря из-за него обижают гвоздики. Красивый, ни в чем не повинный цветок. Она чувствует сейчас любовь к гвоздикам. «За общность судьбы», — смеется. Надо бы купить гвоздичку и ее сделать «лицом томагочи», когда они будут поминать Вадима.

Но смешно сказать: у нее в кармане только проездной. Последние деньги она истратила на лосьон «Деним» для юного мальчика, милиционера, который спас ее от самой себя и вернул ей слезы.

Кому бы рассказать...

Она не была актрисой милостью Божьей.

Ах эта милость Божья! Вправе ли мы роптать на ее недoves? Но когда прожито больше, чем осталось, такие вещи про себя уже пора бывает знать. Хотя она это знала давно. «Милость Божья, — думала она, — дар. А мне просто отмерено». Как шепот для посола. Она у нее точнехонькая. «Вот этого у меня не отнять!» — смеется ее встрепанный ум. Обычно она в ладу с ним, но временами!.. Как же он подвел ее за последнее время, как подвел! Дурак ты, мой ум!

Рассказать бы кому...

17 октября

В тот день она ехала после пробы в шальной антрепризе — в одной такой она уже репетировала, — где у нее была третья по значимости роль. Главную должна была играть ее землячка. Они из одного южного городка, более того — они из одной школы. Уже много лет они делают вид, что не знали друг друга раньше. Вот и на показе их «познакомили». «Ах» — «ах»! Читали маленькую сценку. Она, как всегда у нее, сразу с полной выкладкой, а землячка путалась в словах, соплях и ударениях, а потом вообще загундосила, пришлось ей капать в нос, убирать со стола скатерть из синтетического плюша как возможного аллергена, искать супрастин.

Актриса милостью Божьей — а такой была землячка — может такое себе позволить. У Милостью Божьих иначе кровь брызжет, иначе кудри вьются.

В конце концов читку отменили. Она тогда ехала домой с чувством глубокого удовлетворения. Пусть землячка противная, главное — у нее есть работа. Это главное. А раз есть главное, можно позволить себе скулеж. Это ее свойство. Она ропщет именно в момент глубокого удовлетворения. Так она ворожит, так боится спугнуть удачу.

Мемория

К пятидесяти она уже чуть ближе, чем к сорока, и умри она завтра — ни у кого от горя не оборвется сердце. (У нее — увы! — к тому же не льстивый к себе ум.) Даже ее редкое имя Нора Лаубе забудется вмиг по причине нерусскости его природы. Ее никогда не считали еврейкой только потому, что славянская кладка не оставляла никаких надежд антисемитам. Даже те, кто искал в ней немку или прибалтийку, понимали, что такой высокий лоб и слегка «утопленные» серые глаза бывают только у среднерусского разлива. Проклятая и неизбежная националистическая чепуха! Нора родом «из югов», где крови намешано не сказать сколько, а фамилия Лаубе досталась ей от мужа, с которым она прожила два молодых своих года. Он был русский, русский, русский.

Этот Лаубе-муж очень искал хоть в четвертом от себя колене что-нибудь годящееся для эмиграции. Искал, но так и не нашел, женился после Норы на какой-то приبلудной американке, нескладной, глупой, но какое это имело значение? Взнуздal широкую спину большестопой барышни из Айдахо и прыгнул. А Нора осталась носить эту фамилию, которая вызывала нездоровые вопросы у траченного комплексом неполноценности населения. Имя же ей дала театралка мама в честь ибсеновской Норы. Потрясший маму спектакль Нора видела уже в свои пятнадцать лет. Его возобновили. Нору играла все та же актриса. Ей, видимо, было столько, сколько Норе сейчас.

Было ощущение болезненного дискомфорта — так идешь по длинному переходу, в котором побили лампочки. Одним словом, чувства на спектакле «ее имени» были физиологические, и хоть она была еще девочка, она понимала, что так не должно быть... Тем не менее она заболела театром — оказывается, бывает и так, — ища ответы на вопросы, от которых во рту был железистый вкус, а на зубах трещало, как от песка. Ну что ж... Судьба приходит по-разному. К ней она пришла выпрененным именем, чужой фамилией и притягательной силой пусть плохого, но театра. Она поступила в институт с первого захода и училась на повышенную стипендию. О том, что у нее не сложилась судьба, знает только она сама. Для многих, очень многих она везунчик. Всегда при ролях. Всегда нужна. Никому нет дела до милости Божьей, кто ее вообще придумал? «У Лаубе все схвачено». Вот как говорят про нее. И ее ум не спорит. Она знает, что нельзя оспаривать глупца... Из мудростей мудрость. Эта Нора Лаубе много чего знает. Она хитрая... Она мудрая...

17 октября

Возле подъезда клубился народ. Сейчас ее зацепят глазом и будут долго держать, чтоб потом сожрать с потрохами, как схваченную на лету дичь. О, этот люд подъезда! В городе ее детства Ростове подъезд называли «клеткой». «Вы в какой клетке живете?» Это было так точно. Люди клетки... С соответствующими законами жанра клетки. Она подошла совсем близко и вдруг поняла, что странным образом сейчас, сегодня не представляет интереса для «клетки». Что может пройти незамеченной мимо толпы, потому что у той другое направление интереса. Норе так хотелось домой, к джину с тоником, что она почти минула их всех, но что-то ярко-полосатое, почему-то известное ей, остановило ее взгляд. На земле лицом вниз, сжимая в руках махровое полотенце, лежал человек и весь дрожал, как будто бы человек рыдал в это самое полотенце. Был хорошо виден странно заросший затылок с неправильным направлением волос.

— Что с ним? — спросила Нора.

Даже для ответа люди не повернулись к ней — так притягательна была эта чужая дрожь.

— Упал с балкона, — сказали ей.

— Или скинули, — расширился круг гипотез.

— Или сам, — восхищался народ широтой возможностей смерти.

— Могло под ним и обломиться...

Нора подняла взгляд и увидела свесившиеся с балконов и из окон головы. Некоторые были так лихи, что подтягивали к себе уже все туловище, и это выглядело жутко, особенно сейчас, когда на земле распласталось мертвое тело. Но головы отважно нависали — им было по фигуре чужое падение, но получалось, что — и свое тоже.

— С какого этажа? — спросила Нора.

— Неизвестно, — ответила толпа. — Может, и с крыши.

Но тут подъехали «скорая» и милиция, и Нора первой вбежала в лифт, не дожидаясь, когда народ начнет рассасываться. Уже в лифте она подумала: «Человек не мог упасть с крыши. Под ним было полосатое полотенце, точно такое, как у меня самой сохнет на балконе».

Ее охватила паника, и она просто бежала к двери; дверь была у нее просто дверью из ДСП, которую выдавливают хорошим плечом за раз. Такое уже случалось, когда она потеряла ключи и пришлось звать соседа. Тот пораскачивался на месте туда-сюда, сюда-туда — и дверь под ним хрустнула жалобно и беспомощно. Пришлось купить другую дверь у этого же соседа, который обзавелся металлической. Может, он и ломал Норину дверь с надеждой, что понадобится другая? Его предыдущая дверь лежала под диваном и раздражала жену, но сосед — как знал! — терпеливо ждал какого-нибудь подходящего случая. И — на тебе! Дождлся и продал старую дверь. Норина связка пропорола тонкую подкладку кармана, и ключи брякнули, когда она вдавливалась в троллейбус. В конце концов вагончик тронулся — ключи остались. Была целая история, как она возвращалась к этому месту, но вам когда-нибудь удавалось найти то, к чему вы возвращались? Вот и Нора ключей не нашла.

Сейчас дверь (бывшая соседская) была цела и замки на ней все были на месте. Дома пахло домом, без чужачих примесей. Мысль снова вернулась к этому человеку на земле, и Нора пошла на балкон, чтоб, как все, «свеситься и посмотреть».

Ограда ее балкона была сбита и погнута, бельевая веревка сорвана, с оставшейся прищепкой валялись на бетоне трусики, лифчик зацепился за штырь ограды.

Полотенца не было.

Невероятно, но факт. Человек упал с ее балкона. Каким-то непостижимым образом он попал на него, согнул перила, сорвал белье. Нора по-

смотрела вверх. Из кухонных окон, что были выше, свисали головы, они были безмятежны и наслаждались смертью.

В доме девять этажей. Ее — шестой.

«Сейчас придет милиция, — подумала она. — Значит, не надо пить джин». Ведь ей предстоит давать показания. Объяснять, как, не входя в квартиру, человек оказался на ее балконе. Что ему было нужно на нем? Ведь не мог же он залететь туда, падая?

Нора вымыла руки и стала ждать.

К ней никто не пришел.

Вечером, собираясь в театр, она подумала, что это по меньшей мере странно... Горячие следы там и прочая, прочая... Но тот человек на земле дрожал. Возможно, он остался жив и сам рассказал, как под ним оказалось ее полотенце. Тогда ей как минимум должны были бы это объяснить. Большое махровое полотенце, почти простыня, полоса желтая, потом зеленая, потом оранжевая и снова желтая... Хорошее полотенце. Норе его жалко.

На улице она посмотрела на то место. Смятый газончик. Сломанные ветки тополя. Из подъезда вышла женщина со второго этажа. Она, как и Нора, жила в однокомнатной квартире и все время ждала, когда ее убьют. Она первая в подъезде (клетке!) поставила металлическую дверь и застеклила балкон, а на окнах сделала решетки. Но от всего этого бояться стала еще пуще, ибо квартира с такими прибабасами неизбежно становилась ценней, а значит, убить ее было все завлекательней. Ее звали Люся, и она работала кассиршей в аптеке.

— Видели, у нас тут с крыши прыгнул? — спросила Люся.

— С крыши? — опять задала свой вопрос Нора.

— У него на чердаке было место. Матрац и даже столик... Вот несчастные люди с девятого этажа, вот несчастные. Мог ведь их поубивать! — Люсе нравилась грозящая другим опасность. Даже жаль, что «разбойника» нет, хорошо бы он попугал девятиэтажников, как ее пугает улица. Хорошо, чтобы что-то случилось с другими. Ужас вокруг странным образом успокаивал Люсю, придавая этим как бы большую крепость ее замкам и решеткам. Но так мгновенно кончилась замечательная история. Человек разбился, а милиция тут же нашла, откуда он выпал...

Люся смотрела на Нору и думала, что хорошо бы и с этой артисткой что-нибудь случилось — нет, она к ней, можно сказать, даже нормально относится, но если выбирать, то пусть убьют артистку. Какой от них прок людям? Не сеют, не пахнут, не пробивают в кассе лекарства. Люся смотрит на Нору, Нора смотрит на Люсю.

«Какая сука! — думает Нора. — Такая сука!»

И разошлись. В тот вечер Нора играла Наталью в «Трех сестрах». Она всегда не любила эту роль, хотя ей говорили, что она у нее лучшая. Ну да! Ну да! Наталья — фальшивая обезьяна. Обезьянство обезьянски обезьянное. «Бобик!» «Софочка!» Фу...

В финале, говоря последние по пьесе Натальины слова: «Велю срубить эту еловую аллею... Потом этот клен... Велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...», увидела глаза актера, игравшего Кулыгина, и так закричала: «Молчать!», что тот реплику «Разошлась!» сказал как бы не по пьесе, а по жизни. Это она, Нора, разошлась, тут финал, тут сейчас сестры будут высевать во все стороны разумное, доброе, вечное, а она, Нора-Наталья, как будто забыла, что она тут не главная. Натянула на себя одеяло и закончила пьесу тем, что сказала всем: «Молчать!», хотя столько после этого слов и такие туда-сюда мизансцены.

Но теперь все так торопятся, что никто, кроме напарника, не заметил ее «разрушений». Не пришлось, оправдываясь, объяснять, что с ее балко-

на разбился человек, что никто про это ничего не знает, хотя у милиции есть улика — ярко-оранжево-зелено-желтое ее, Норино, полотенце.

Она рассказала все Еремину (Кулыгину), с которым не то дружила, не то крутила роман, одним словом, имела отношения, когда можно рассказать то, что не всем скажешь.

— Знаешь, — сказал Еремин, — перво-наперво почини перила, а потом сразу забудь. В милицию не ходи ни в коем разе. Это последнее место на земле, куда надлежит идти человеку. Даже при несчастье, даже при горе... Вернее, при них — тем более. Сию организацию обойди другой улицей.

— Но он был на моем балконе!

— А тебя при этом не было дома. Тебя, как говорится, там не стояло.

— Если так подходить... — возмутилась Нора.

Но Еремин перебил:

— Не взывай! Только так и подходить. Заруби на носу. Милиция. ФСБ. ОМОН. Армия. Прокуратура. Адвокатура. Суд. Что там еще? Беги их! Они — враги. По определению. По назначению. По памяти крови и сути своей.

— Окстись, — сказала Нора. — Я без иллюзий, но не до такой же степени!

— До бесконечности степеней, — ответил Еремин. — Пока не умрет тот последний из них, кто уверен, что имеет над тобой право.

— Ванька! — засмеялась Нора. — Так тебя ж надо выдвигать в Думу.

— Я чистоплотный, — сказал Еремин. — А ты, Лаубе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь советские детективы.

— Нет, нет и нет... Неграмотная я...

Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор с Ереминым, а когда пришла, то несмотря на ночь позвонила в милицию, сказала, что хочет завтра видеть участкового по поводу... Тут она запуталась в определении, замакала и положила трубку.

Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Люсей, и та требует приплату за то, что с ее второго этажа лучше виден упавший. «Смотри! Смотри!» Люся тащит ее на свой балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахерскую», — думает она. «Отсюда и вши, — читает ее мысли Люся. — Но до второго этажа они не дойдут. У вшей слабые конечности».

На этом она проснулась. «Затылок, — подумала. — Я его почему-то знаю». «Дура, — ответила себе же. — Такую кудлатую голову носит, например, наша прима. Вечные неприятности с париком. Они ей малы, и прима по-крестьянски натягивает парик на уши. И делается похожа на мороженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцовых хвостов... А потом делает этот странный дерг бедрами — туда-сюда... И вороватый взгляд во все стороны — видели? не видели? что, я крутанулась вокруг оси?» Нора не раз приспособливалась жесты мороженщицы к своим ролям. Очень годилось, очень... Пластика времени... Подергивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежды совок. Человек не в своем размере. Совершенство уродства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свихнется мозгами!»

Так вот... Затылок... «Я знаю этот затылок в лицо», — подумала она снова.

18 октября

Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у них в участке опробовали телефон-определитель, он срабатывал через два раза на третий, — ее звонок был как раз третьим. Участковый явился в их подъезд по

вызову: семейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семнадцатой — у них от шума вырубился свет. Участкового звали Витей. Нет, конечно, он был Виктором Ивановичем Кравченко, а на самом деле все-таки — Витя, даже скорей Витёк. Он приехал из Ярославской деревни, где работал механиком. Но тут механизмы кончились, председатель все спустил по миру, а то, что осталось, «уже не подлежало ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию механизмов, и они вошли в него одним словом: «неподлежалоремонту». Теперь Витёк работал в милиции, жил в общежитии и не переставал удивляться разности жизнью там, в деревне, и тут, в столице. Конечно, он бывал в Москве, и не раз, в Мавзолее бывал, и на ВДНХ, ездил туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с девушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать друг другу письма, а потом почта «накрылась медным тазом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Живущие как бы сами по себе, они очень волновали Витю. Он старался положить этому конец, так как не любил, когда в душе что-то тянет. Он даже написал ей, что «нашу дружбу нельзя считать действительной, ибо никак»... Последние два слова повергли его в такое сердцебиение, что письмо пришлось порвать.

Но это когда было! Он тогда приезжал в Москву гостем, а сейчас он тут замечательно работал, жил в хорошей теплой комнате с таким же, как он, милиционером из Тамбова. Ничего парень, только тяжел запахом ног. Витя старался держать форточку открытой...

Так вот... Он позвонил Норе в девять утра, откуда ему было знать, что в такое время артистки еще не встают, это не их час. Но он ведь понятия не имел, что она артистка. Знал бы — сроду не пришел.

Нора едва запахла халат и впустила Витьку. Пока поворачивался ключ, он громко сглотнул и сделал выражение приветливости при помощи растягивания губ. «Улыбайте свое лицо», — учил их капитан-психолог на краткосрочных курсах. Москва тогда напрягалась к юбилею, и это было важно — не отпугивать лицом милиции страну людей.

Дальше все полетело к чертовой матери. Нора открыла дверь. А когда она это делала, то всегда рисовалась на фоне афиши кино, где еще в молодые годы сыграла маленькую, но пикантную роль легконравной женщины, которая во времена строгие позволяла себе, заголив ногу, застегивать чулок (дело происходило до войны и до колготок) в самой что ни на есть близости к табуированному месту. Длинные Норины ноги толкали сюжет кино в опасном направлении, и тем не менее это было снято и показано! Недавно фильм демонстрировали по телевизору, и, конечно, никто ничего не заметил, тоже мне новость: три секунды паха и кромки трусов. Даже детям это уже давно можно смотреть. Но Витя, человек по природе здоровый и не испорченный душевно, был — по кино — очень на стороне мужчины, которого эта женщина без понятий волокла к себе грубо и без всяких яких. Он остро пережил этот момент насилия над мужским полом и момент его потрясения красивой бесконечной ногой, ведущей простого человека в самую глубь порока.

А тут возьми и откройся дверь, и Нора стоит в халате не тщательно — торопилась! — запахнутом, и даже где-то чуть выше колена белеется то самое тело, и можно всякое подумать, опять же афиша не оставляет сомнения, что он видит то, что видит, а потом Витёк наконец подымает глаза на Нору.

«Надо убрать эту чертову афишу», — думает Нора, глядя, как странно меняется лицо парня. От обалдения до еще раз обалдения. «Да, милый, да! У тебя есть другой способ жизни, кроме как старение?» Норе думалось, что это его потрясло. Ее сегодняшней возраст.

— Участковый уполномоченный Виктор Иванович Кравченко, — прохрипел Витя.

— Заходи, Иванович, гостем будешь, — насмешливо сказала Нора.

Был момент приседания милиционера от еще одного крайнего потрясения. На диване лежало постельное белье, и было оно в шахматную клетку. На квадратиках были изображены фигуры, и они как бы лежа играли партию. Вите даже показалось, что королю шах — для точности знания надо было бы распрямить простыню, *прямую телом женщины*. Вот тут-то он слегка и присел, чужак милиционер, выпускник самых краткосрочных в мире курсов. «Улыбайте свое лицо!»

— В кухню! — сказала Нора, закрывая дверь в комнату. — Вы пришли очень рано. Да... Рано... Это по поводу случая в подъезде?

— Я по поводу вашего звонка, — строго сказал Витя.

— А! — засмеялась Нора. — Вычислили...

Витя не понял. Ему сказали: «Был сигнал с такого-то номера. Будешь в доме — проверь». Лично он ничего не вычислял.

— Дело в том, — сказала Нора, — что тот человек сломал мне балкон, и под ним было мое полотенце. Это можно как-то объяснить?

— Можно, — ответил Витя. — Произошло задевание ногой.

Нора смотрела на молодое, плохо выбритое лицо. Угри на лбу и на крыльях носа. Дурачки выстриженные виски. След тугого воротничка на молодой белой шее. Странно нежной. Разве милиционеру гоже иметь нежную шею? Гость же тщательно скрывал несогласие с миром вокруг, то есть с кухней, ее, Нориной, кухней. «Несогласие побеждает в нем интерес, — думает Нора. — Очень смешной».

— Вы из каких краев? — спросила она.

— Мы ярославские, — ответил Витя.

«Правильный ответ, — подумала Нора. — Если бы я спросила: „Ты из каких краев?“, он бы ответил: „Я ярославский“. Единственное и множественное число у него не путаются».

— Так вот... — сказала она. — Он не мог задеть ногой полотенце.

— Кто? — спросил Витя. Он не поспевал за Нориной мыслью. Ей интересно то одно, то другое, но ведь сам он думает о третьем. Вот он сейчас был в шестнадцатой квартире, там не было никакой разницы с тем, что он знает про квартиры вообще. Диван. Стенка. Табуретки в кухне. Половик. Еще зеркало. В семнадцатой, правда, у него немного завернулись мозги. Трехэтажная кровать. Купе, одним словом. Он ехал из Ярославля на третьей полке. Противно. На спине — как в гробу, на боку — как в блиндаже. Семнадцатая ему не понравилась отношением к соседям. Если на каждый вскрик звать милицию...

«Есть люди отрицательного ума, — объяснял им капитан-психолог, — им все не нравится. Они желают жить на земном шаре в одиночестве. Только они и земной шар. С ними надо по жесткому закону. Есть и заблужденцы. Вот тут нужна чуткость сердца. Это контингент нашего поля зрения».

Витя не знает, что думать об *этой* кухне. Он не знает, как быть с женщиной, которая со стороны лица, тихо говоря, старая, а со стороны ноги, а также виденного кино вызывает в нем некоторое дрожание сосудов. А он этого не любит. (См. историю с девушкой из Белоруссии, которая отрастила каждую ресничку по отдельности, как будто нарочно, чтоб смущать людей. Капитан-психолог говорил: «Надо всегда идти от правила нормы».)

— Меня зовут Нора, — сказала Нора, и Витя подпрыгнул на стуле, потому как два слова сошлись и ударились лоб в лоб.

Норма и Нора.

Что за имя? Он не слышал никогда. Он путался в буквах, не имеющих для него смысла. И он разгневался. Гнев Вити был пупырчато-розовым и начинал взбухать над левой бровью. Мама, не ведая про рождение гнева, говорила: «Что-то тебя укусило, сынок. Потри солью». Одновременно... Одновременно ему хотелось что-то заломати. В детстве он ломал каранда-

ши, на краткосрочной учебе — шариковые ручки. Капитан-психолог говорил, что это «нормальная разрядка электрического тока в нервах. Такой способ лучше, чем в глаз».

На столе у Норы лежал, горя не знал кристаллик морской соли — Нора пользовалась ею. Витя раздавил его ногтем большого пальца, как вшу какую-нибудь, и его сразу отпустило. У женщины же высоко вспрыгнули брови и встали домиком. Таким было взбухание Нориного гнева. Она схватила цветастую тряпку и протерла это место на столе, место касания соли и ногтя.

— Я поняла, — сказала Нора, — вы не в курсе. Так ведь? Откуда человек упал?.. Кто он?.. А может, его сбросили? Задевание ногой!.. Это ж надо! Вы себе представляете, как нужно махать ногами, когда летишь умирать?

Витя растерялся. Он представил себе физику и свободное падение тела. Он как бы вышел во двор, расположился возле трансформаторной будки, приложил ко лбу ладонь козырьком и *стал видеть*. Размахивания ногами не было. А потому все балконные перила оставались целы. А эти — на шестом — почему-то надо чинить.

Невинные, не тронутые игрой ума мозги Вити напряглись, и он сказал то, что сказал:

— Значит, он был у вас? — и, как бы ища опору, схватился за планшет и резко передвинул его с бока на живот.

И хотя это был планшет — не кобура, резкость жеста не то чтобы напугала Нору — кого пугаться, люди? — но привела ее к очень естественному и абсолютно правильному выводу: она идиотка. Потому что только полный идиот будет так подставляться нашей милиции, которая никогда сроду никого не уберегла, ничего не раскрыла и давно существует в образе анекдота: «Милиционеры! На посадку деревьев готовься! Зеленым — вверх! Зеленым — вверх!» Вот и перед ней сейчас точно такое «садило» — из всех возможных и невозможных вариантов он выщелкнул одно: сама позвала — сама виновата.

— Не было его у меня, — с ненавистью несколько излишней сказала Нора. — У меня был закрыт балкон, и в квартире все осталось в порядке.

— А кто это засвидетельствует? — грамотно спросил Витя, удивляясь складности ведения разговора и тому, что он напрочь забыл уходящую в бесконечную высь ногу артистки, а вот пожилую женщину, наоборот, иден-ти-фи-ци-рует хорошо. Пожилая — халат нараспашку и провокация в расчете на слабость его молодости.

— Нет, — ответила Нора, — я была одна, когда пришла домой.

Она тут же пожалела об этом. Надо было соврать — сказать, что с ней был Еремин. Тот бы не колебался ни секунды, ему лжесвидетельствовать — хлебом не корми. Конечно, он бы ее выручил.

— Я вам сказала то, что есть... Мне показалось, это для вас важно...

— Конечно, конечно, — ответил Витя. — Разрешите осмотреть балкон.

С тех пор, как она обнаружила сломанные перила, Нора на балкон не выходила. В тот же день, когда она все увидела, она остро ощутила притягательность этого слома. Ее балкон теперь легко покидался, и хотя она считала, что абсолютно лишена всякого рода маний, это неожиданно пронзившее чувство легкости последнего шага повергло ее в доселе неизведанное состояние. Нет, не так... Веданное... Получая роль в спектакле, она всегда знала, какой должна быть интонация, какой голос должен быть у первой фразы на репетиции. Но никогда не придурялась перед режиссером, играя с ним и проигрывая все ложные пути. Чтоб потом раз — и произнести реплику так, как надо! Она делала все сразу, лишая себя удовольствия от репетиции.

Так вот, веданным изначально было и движение вниз, с балкона, стоило только чуть-чуть приподнять ногу.

«Но я никогда такого не хотела, — смятенно думала Нора. — Это просто страх высоты. Притягательность бездны...»

Витя тоже смотрел вниз. И ему тоже было страшно. Это был нормальный страх живого тела. Просто «страшно, аж жуть» — и все тут.

Потом он потрогал обвисшие веревки, сырые и холодные. На бетоне так и лежали прищепки. Некоторые были сломаны — видимо, те, что держали толстое полотенце. Но это знала только Нора, а для Вити наблюдение над прищепками было высшей математикой сыска. И она была лишней, математика, потому что и так все ясно. Человек упал отсюда, а значит, он тут был. У этой женщины.

— Другого способа попасть на балкон, как через квартиру, нету, — сказал он. — Нету.

— Что, разве нельзя на него спуститься с крыши, с верхнего этажа? — возмутилась Нора. — Или подняться с пятого? Вы это проверяли?

— Проверим, — ответил Витя.

Нора закрыла за ним дверь и выругалась черным матом. Господи! Зачем она в это ввязалась? Ведь у милиции есть такая замечательная версия про бомжа на чердаке. Все объясняет и снимает все вопросы. Какого же еще рожна!

В душе в тот самый секундно неприятный момент, когда она поворачивала кран на холодную воду, она опять увидела затылок погибшего, увидела неправильность растущих волос, делающих странный густой поворот, она ощутила эти волосы рукой, и ее пальцы как бы разгладили крутой серповидный завиток. Боже! Что за чушь? Ничего подобного с нею не было!

— О! — сказал ей Еремин. — С полным тебя приехалом! Признайся, женщина, ты бросала своих младенцев в мусоропровод? У тебя же типичный синдром Кручининой!

— Еремин! Я знаю эту голову на ощупь! А детей в мусоропровод не бросала.

— Ты про затылок сказала милиционеру?

— Бог миловал! Но если я знаю, что он был на моем балконе, значит, какая-то связь между нами есть?

— Нету, — нежно сказал Еремин и обнял Нору. — Знаешь, — добавил он, — очень много спяченных с ума. Более чем... Не ходи к ним... Оставься тут... Чертова подкорка делает с нами что хочет. Она сейчас президент. Но какой же идиот живет у нас по указам президента? Нора! Освободи голову! Я подтвержу, что был с тобой в тот день, но ты не призналась, чтоб не ранить мою жену. Туське, конечно, ни слова. Она у меня человек простой, она верит тому, что пишут на заборах.

Ей легко с Ереминым. Он все понимает, но правильные ответы он перечеркивает. Он считает, что их не может быть. Человеку, считает Еремин, знать истину не дано. Ему достаточно приблизительности знаний. Таких, как «земля круглая, а дважды два — четыре». На самом-то деле ведь и не круглая, и не четыре!

19 октября

В тот день у Норы не было вечернего спектакля, поэтому она осуществила то, что не давало ей покоя. Она поднялась на девятый этаж. И теперь стояла и смотрела в потолок — хода на чердак не было. Нора спустилась к себе, взяла театральный бинокль и вышла на улицу. Стекла бинокля запотели сразу, но ей и так были видны непорученные трубы водостока и бордюры крыши. Она прошла вдоль дома. Выход с чердака на крышу был с другой стороны дома и над другим подъездом. Значит, чтобы спрыгнуть так, как получилось, самоубийце пришлось гулять по крыше, переходя с

восточной части на западную. Нора вернулась к своему подъезду. И так... Над ней еще три балкона. Все они в полном порядке. Три близких к ним кухонных окна. Это на случай, что покойник акробат-эквилибрист. Можно взять в голову и совсем дурное. Он рухнул, карабкаясь к ней с пятого этажа. Но и тут еще один аккуратный балкон.

Нора не знала, что за ней следит Люся со второго этажа. Что у той все оборвалось внутри, когда она увидела в руках артистки бинокль. Люся даже за сердце схватилась, так у нее там рвануло. Если представить мозг Люси как заброшенный и отключенный от воды фонтан «Дружба народов», что на ВДНХ, то сейчас как раз случилось неожиданное включение. И трубы с хрипом и писком ударили струями, и Люся практически все поняла про жизнь. Она поняла, что надо спастись в деревню и питаться исключительно своим. Потому что верить в городе нельзя никому. Ни людям, ни магазинам. Основополагающая мысль-идея требовала подтверждений, и Люся как была в войлочных тапках, так и ринулась вниз, чтоб окончательно застучать артистку за этим подсудным делом разглядывания чужих окон в бинокль.

Они столкнулись у лифта, и Нора сказала: «Здравствуйте!» Потом она вошла в лифт и спросила: «Вы не едете?» Люся, вся подпаленная изнутри, не то что растерялась, просто ее сразила Норина наглость: «Вы не едете?» Во-первых, она на второй этаж не ездит никогда; во-вторых, ты видишь, я тебя застучала, я поймала тебя с поличным биноклем, я все про тебя поняла, а ты мне как ни в чем не бывало: «Здравствуйте! Вы не едете?»

— На улице сыро, — сказала Нора, нажимая кнопку и глядя на войлочные тапки. И вознеслась.

Мемория

Нора жила в этой квартире уже больше десяти лет. С ума сойти! Казалось, что все еще новоселка, таким острым было тогда вселение. Первое время она просто не видела людей, а потом уже привыкла их не видеть. Это на старой квартире было соседское братство, ну и чем кончилось? В этом подъезде она знала людей только в лицо и то про них, что приходило само собой. Вот эта придурочная тетка, которая работает в аптеке. Она сидит в кассе с поджатыми губами и не признает никого. Ей кажется, что этим она утверждает себя в мире. Такой же поджатостью губ (национальное свойство) закрепляет свое место и журналистка с седьмого. Сроду бы ей, Норе, не догадаться, что та журналистка — персона известная. Ей по судьбе написано было распрямить плечи и выплунуть изо рта мундштук или что там так крепко приходится сжимать до смертной сцепленности губ.

Ах это разнотравье человеческих типов! И такие, и эдакие... По цвету и запаху, по манере сморкаться и говорить, по тому, как вьется волос...

«У меня уже так было, — думает Нора. — Когда жила с Николаем и смотрела, как он спит, то мне казалось, что я знала другого мужчину, который спал точно так же, запрокинув назад голову, отчего в сладости сна открывался рот и из него шли попискивающие стоны. Такой способ спать может быть только у одного мужчины. Ей же виделся другой, как бы ею знаемый. Потом, потом... Уже после их развода мама сказала, как странно спал ее, Норин, дедушка. С запрокинутой головой. Могла она это видеть? Могла. Ей было пять лет, когда дедушка умер. Получалось, что в случае с Николаем не было никакой мистической памяти. Сплошной грубый материализм запоминания, а потом забвения. До какого-то случая жизни.

Но если было раз, если у нее есть привычка закладывать знание и видение на самый что ни на есть под память, то, значит, и ищи в нем? Сбивал с толку Николай. Она давно не думала о нем, может, пять лет, а может, два часа.

Они познакомились в Челябинске, где театр был на гастролях. Прошло два года, как большеступая перенесла на своей спине первого мужа Нору в Айдахо. Он уже успел прислать ей гостинец — платочек в крапинку и туалетную воду «Чарли». Сейчас ее всюду как грязи, тогда же она долго не знала, как с ней быть, потому что была уверена: вода мужская, просто Лаубе никогда ни в чем таком не разбирался, здесь он дарил ей духи «Кремль» с тяжелым, прибивающим к земле духом, собственно, очень даже соответствующим названию. Так вот, «Чарли» стоял полнехонек, а у них гастролы в Челябинске, у нее роли в каждом спектакле, а подруга — химик из города Шевченко — пишет: «Тебе надо сублимировать случай с твоим неудачным браком. Возгори в творчестве».

Видели бы вы эту подругу. Такая вся мелкосерая барышня с пробором не посередине и не сбоку, а где-то между. Отличница и собиратель взносов. Но только она могла написать такое: «возгори» и «сублимация».

В сущности, лучшего человека в жизни Нору не было. Узналось это много позже, когда подруга разбилась на самолете, выиграв дурацкую турпутевку в лотерею. Через какое-то время Нора почувствовала, что задыхается без писем со словами: «Критика — сублимация бездарности. Но ты знай: не от каждого можно обидеться. Роди ребенка. Я чувствую, что театр не может сублимировать твое женское начало».

Нора бросала эти письма со словами, что «эта кретинка могла бы выучить хотя бы еще одно слово». А кретинка возьми и разбейся... Но это потом, потом... А пока она на гастролях в Челябинске...

Она тогда играла как оглашенная. И еще не думала о себе, что она не актриса милостью Божьей. Она вообще тогда ни о чем таком не думала. Переходила из роли в роль, казалось — так надо, не видела вокруг себя зависти и ненависти, даже не так. Видеть видела, просто она инстинктивно переходила на другую сторону улицы, и если бы тогда, двадцать с лишним лет тому, были говоримы слова «молилась кротко за врагов», то да... Молилась. Было именно то. Душа ее была щедра, а ум пребывал в анабиозе.

Так вот... Николай попал в их актерскую тусовку, по тому времени — вечеринку, из инженеров-радиотехников. Была там компания молодых ленинградцев, эдакие физики-лирики, что сосредоточенно поглощали симфоническую музыку, театр, джаз, передавали друг другу ротапринтного Булгакова и жили черт-те где и черт-те как в смысле бытовом.

«Не хочу! — кричит себе Нора. — Не хочу про это вспоминать!»

Крутой получился роман. Из тех, о которых говорят в народе: «А знаешь...», «А слышал...». У Николая были девочки-близнецы пяти лет, а жена его ходила беременная третьим.

Мозг Нору стал просыпаться, когда она увидела, какой красавицей была эта женщина. То ли Лопухина, то ли боттичеллиевская Флора, то ли Мадонна Литта, ну, в общем, этого ряда. Не меньше. Вторым потрясением была доброта этой Лопухиной-Флоры. Как она их кормила, когда они заваливались к ним ночью, как споро двигалась со своим уже большим животом и все пеклась о Норе, что у той очень уж торчат ключицы. Она даже трогала их красивым пальцем, несчастные Норины кости. Жалела. Совершенная, сокрушалась о несовершенстве тварного мира. Надо ли говорить, что Шурочка была глупа как пробка? Или все просматривается и так? Это ведь только у Проктера и Гэмбла в одном флаконе сразу все — с человеками так не бывает. Обязательно чего-нибудь недоложено, и это всегда божественно справедливо.

Вот тогда, разглядывая в зеркале обцелованные Николаем свои худые плечи, Нора много чего увидела в зеркале и про себя, и про других.

Шура родила Гришу уже осенью, когда театр отдыхал на югах. Нора же тайком от всех жила в деревне под Челябинском — туда ходил рейсовый автобус, и Николай приезжал к ней среди недели. В свой библиотечный день. В сущности, у них тогда было всего три среды, а в четвертую — родился Гриша. Трое детей — это не мало, а много. Это просто невероятное количество, которое, по сути, гораздо больше своего математического выражения.

Нора вернулась в Москву. У театра в тот год было тридцатилетие, и им выделили пять квартир. Грандиозный подарок властей имел под собой простую и старую как мир причину. Сын директора театра женился на дочери одного из горкомычей. Дочь писала дипломную работу по их спектаклям. Ну, дальше — дело родственное. Нора и старая актриса из репрессированных в окаянное время получили маленькую двухкомнатную квартиру на двоих. Каждый считал своим долгом сказать Норе, как ей повезло: актрисе уже за семьдесят, она скоро непременно освободит площадь, ты понимаешь, Нора, какой у тебя счастливый случай? «Я в этот период защитила докторскую диссертацию по знанию людей и жизни, и мне за нее дали Нобелевку», — думала Нора.

Интересно, что старой несчастной актрисе говорили почти то же самое и советовали тщательно следить за своими продуктами и питьем. Мало ли, мол...

Но женщины поладили. И старая сиделица оказалась хорошей «наперсницей разврата». Когда в Москву прилетал Николай, вот уж не надо было делать вид, что знакомому негде остановиться. Голые, они пробегали в ванную, а старуха старалась держать в этот момент дверь открытой. «Норочка! Оставьте мне хотя бы радость видеть любовь!»

А потом произошло невероятное. Красавица Шурочка с тремя детьми ушла к овдовевшему ректору института. Он перенес ее на руках через порог большой барской квартиры, следом вбежали дети, захватчики пространств. Старый молодой боготворил свою жену так, что та даже стеснялась. Конечно, ей было «жалко Колю», но что поделывать? Что? И Шурочка разводила руками над таинственностью жизни, в которой — о, как правильно учили в школе! — всегда есть место подвигам. Именно так она рассматривала случившееся с нею. «Разве легко уходить от молодого к пожилому? — спрашивала ясноокая. — Не каждый решится... Но я так нужна была Ивану Иванычу».

«Какая хитрая сволочь», — думала уже Нора, потому что не было у нее чувства освобождения и радости: у Николая после всех этих дел случился инфаркт, а где Челябинск — где Москва?

Когда приятели, и Шурочка между прочим, вытащили Николая из больницы и он приехал в Москву, он стал совсем другим. Уже не было «голых перегонков» по квартире, он сидел в кресле у окна и молчал, и Нора думала, что зря он приехал. Все кончилось.

Расставались уже навсегда, а получилось — на полгода.

У каждого обстоятельства есть свой срок. Кончился срок инфаркта, кончился срок ощущения потери детей. Никуда они не делись, Шурочка с удовольствием давала их «поносить на ручках». И потом даже возник момент (время других обстоятельств), когда у Николая оказывались причины не бежать к детям, боясь их потерять. Мадонна Литта и это понимала. Это был какой-то научно-фантастический развод, в котором нормальному человеку становилось противно от количества добра и справедливости.

Потом была командировка в Москву, встретились и снова очуманели. И снова старая артистка приоткрывала дверь, и что она думала в тот момент — бог весть, но что-то такое очень возбуждающее, потому что однажды она все-таки умерла. Случился, видимо, спазм, а она не сочла воз-

можным звать к себе на помощь Нору в момент ее любви. Чтобы не потерять комнату, они поженились быстро, практически без церемоний. А надо было, надо — это выяснилось потом — поцеремониться. Хотя это сейчас так думается: как только квартирка и прописка встали на первый план, будто подрубили сук. Но что это за сук, если его легко сломать абсолютными естественными вещами?

Нет, все дело было в Москве. Она отторгала чужака Николая, из которого так и «перла провинциальность». Ей это объяснили лучшие подруги. Все ничего, мол, Нора, но прет... Еще бы кто-нибудь объяснил, что это такое. Николай ведь и умен, и образован, и профессионал будь здоров... Правда, не хам... Наивен в оценках людей и событий... Доверчив, как вылеченная дворняга... Вскакивает с места при виде старших, женщин и детей... Какая воспитанность, Норка! Это комплекс неполноценности.

Николай становился самим собой, только когда уезжал в Челябинск. Потом это стало легким маразмом: настоящие люди там. Там! Оглянуться не успела, как обнаружила: живет с ненавистником Москвы. «Здесь, — говорил он ей, — живут не люди. Здесь живут монстрвичи. Это такая национальность».

Она смеялась: «Тогда ты шовинист!» — «Да! — говорил он. — Россию надо отделить от Москвы».

Так все было глупо и бездарно. Провалить любовь в злобу по поводу московских нравов, Коля, ты что? Вот и то... Он вернулся в Челябинск, через год вернулся к ней... Так и было. Он защитил диссертацию в Челябинске, но ее не утвердил московский ВАК, он поссорился с ВАКом, сказал, что никогда больше... И долго не приезжал.

Тогда же у него начался тик... Все время дергалось веко. Он похудел, и она боялась, не рак ли...

Однажды он не приехал никогда. То есть потом, потом... Но сначала не приехал, не позвонил. Она позвонила сама. Он говорил с ней голосом автоответчика. «Не надо мучить друг друга», — сказала она. «Да!» — закричал он, будто то ли прозрел, то ли увидел заветный берег.

Не разводились года три. Но какое это имело значение? Очереди на ее руку и сердце «не стояло». Конечно, ударились во все тяжкие, как же иначе выживешь?

А потом вдруг ей на голову свалилась Шурочка с сыном Гришей. Показать его глазникам. Николай написал записку, просил принять бывшую жену и сына! Флора-Лопухина была по-прежнему хороша, и пятьдесят четвертый размер ей шел еще больше, чем сорок восьмой.

Гриша... Уснул на диванчике, смежив закапаннные атропином глаза. Шурочка ушла на Калининский — «поглазеть».

Мальчик спал как отец — запрокинув голову и высвистывая что-то свое. Норе показалось, что ему так лежать нездорово. Она подошла и повернула его на бок, ее ладонь обхватила его затылок. Густой, почти шерстяной. Пальцы огладили крутую, неправильно лежащую косую прядь...

19 октября

...Кажется, она закричала. Ей показалось, что она в *той* старой квартире, и стоит сделать несколько шагов, как она очутится у того диванчика с мальчиком. Шаги даже были сделаны, умственные шаги, которые проконтролировал здравый смысл, сказав: назад!

Не было ни капли сомнений. Ни капли. Тот затылок и этот, вспоминаемый, были — как это теперь учат в школе? — конгруэнтны. Она не сразу выучила это слово, но дочь Еремина, когда ее некуда было деть, учила уроки у нее в уборной. «Боже! — думала Нора. — Чем им не угодило слово „равны“?»

Но если это был Гриша, то как он здесь оказался?

Она давно поменяла квартиру. Болела мама, нужны были деньги, большие деньги. Ее квартира в центре высоко котировалась по сравнению с этой, привокзальной и непрестижной.

Сейчас она ее даже любит. В ее стенах нет больших воспоминаний. В них живет сильная, независимая женщина, которая не является актрисой милостью Божьей, но живет так разумно и грамотно, что...

...что с ее балкона падает человек, который мог быть (или был?) сыном человека... Фу-фу, сплошное че-че... Мог быть сыном Коли, царство ему небесное, который умер три года тому назад в своем излюбленном Челябинске. Ей написала об этом Шурочка. Мадонна Литта уже была гроссмамой, пестовала внушек и престарелого Иван Иваныча, а «Коля умер от прободной язвы, просто залился кровью». Он был женат, имел дочь. И вот это почему-то оказалось самым горьким. Нора так хотела ребенка, а он так хотел вернуться в Челябинск. Желания не совпали, город победил. Ну не дичь ли? А вот третья женщина взяла и родила девочку. Интересно, сколько ей сейчас лет?

Надо было с чего-то начинать. И Нора позвонила в Челябинск. «Я буду осторожна», — сказала она себе.

Ей ответила женщина. Видимо, одна из дочерей Шурочки. Она сказала, что мама с Иван Иванычем практически постоянно живут за городом. Телефона у них там нет. Да, все здоровы, слава Богу. Гриша? Он в Москве. У него нет пока постоянного места жилья и работы, но есть один телефон. Вам дать? Позвоните Грише. Передавайте от нас привет. И пусть дает о себе знать. Я вас помню, тетя Нора!

Нора набрала номер. Ей сказали, что Гриши нет, уехал в Обнинск, будет завтра.

20 октября

Витёк проснулся от чего-то неприятного. Уже светлело, но часок-полтора у него еще были, а вот подняло...

На него смотрели сырые, мягкие, мятые тесной обувью ступни сержанта Поливоды. Тот всегда оставлял ступни на свободе, падая на койку. Одновременно до задыхания пряча голову под одеяло.

Самостоятельность жизнедеятельности ступней Поливоды всегда поражала Витьку, внушая ему даже некоторый мистический ужас перед жизнью части, отдельно взятой от целого. Вот так у него самого отдельно живет ноготь мизинца на левой руке, надламываясь всегда в одном и том же месте. Надломившись, ноготь сдергивает заусеницу, которая после этого пучится гноем, и майся потом с нею, майся. Хорошо сейчас, когда чистая работа, а раньше с железяками, ржавчиной, маслом, когда, что-то чиня, не попадаешь в зазор, а сволочь ноготь будто тащит за собой руку именно туда, где ее прищучит заевшая деталь. Ноготь с набрякшей болью заусеницей жил у Витьки отдельной жизнью.

Вот и ступни Поливоды. Они цвели и пахли, как им хотелось. Они были волглými и стыдными. Они вызывали ненависть к укутанному Поливоде, который ничего плохого Витьку не делал, а даже, можно сказать, любил младшего по возрасту. Вчера он оставил ему на ужин кусок итальянской пиццы, которую Витя не переносил ни на вид, ни на вкус. Откуда это было знать Поливоде? Он ел все. А Витя как раз был разборчив в еде, он не понимал новомодной целлофановой пищи. Она в него не шла. Не хватало зубов, чтоб ее пережевать, не хватало слюны, чтоб смягчить и слотнуть.

Так думал в то раннее утро милиционер, хотя ни о чем таком он не думал и не признал бы за свои мысли, выраженные строчкой слов. Просто в голове его было сразу все: ступни, пицца, ноготь, машинное масло и злость, что из-за духа товарища Поливоды пришлось проснуться раньше.

Но стоило Витьку встать и открыть форточку, как ветер выдул из его головы побегу незначительных размышлений, а на их место пришла главная, можно сказать, сущностная задача для ума: найти доказательства, что неизвестного миру бомжа столкнула или довела до падения артистка Нора Лаубе, которая звонком в милицию хотела запутать ясное как дважды два дело. Он видел такой фильм по телевизору: там преступник все время помогает придурковатому детективу — на, мол, смотри, что я тебе показываю; на, мол, слушай, что я тебе скажу, — и придурковатый полицейский за все благодарил, кланялся, но это была с его стороны хитрость.

Правда, когда Витёк сказал в милиции, что этот бомж, что шандарахнулся такого-то числа, мог и не сам... Ему ответили, что дело закрыто и нечего возникать — никто самоубийцу не ищет, никому он не нужен, и надо быть идиотом (слышь, Витя, это к тебе лично!), чтоб искать на пустом месте деньги. Займись лучше криминогенной обстановкой в районе спортивной школы. Замечательный совет. Школа стоит рядом с домом Лаубе. Вроде как нарочно.

Витя удачно появился во дворе: артистка как раз бежала на работу. У него слегка ворохнулось сердце от ее широкого и легкого шага и возникла неясная мысль о том, что длинные ноги совсем не то или не совсем то, что подразумевается в похабном разговоре. Ноги, которые до шеи, — туговато сообразил Витя, — имеют другое значение. Это точно, именно так: другое значение. Они умеют ходить красиво и быстро. Взять, к примеру, циркуль...

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался Витёк с Норой.

Та не сразу сообразила, кто он.

После того как она вчера узнала, что Гриша жив и здоров, она выбросила эту историю с падением из головы. Она потом перезвонила той женщине, что сказала ей, где Гриша, еще раз и оставила свой номер: «Скажите ему, пусть позвонит тете Норе». Она не уточнила — Лаубе, чтоб не засветиться. Пусть не первого, но второго ряда она актрисой была, ее могли знать. Теперь в голове осталась починка перил, потому что с той минуты, как ее стала затягивать балконная дыра, она на него не выходит. Все дело теперь в деньгах. Во сколько ей обойдется этот чужой смертельный полет! В конце концов, версия размахивающих в падении ног не хуже всякой другой, если другой нет вообще. И она не видела никогда падающих с крыши людей, в кино падают куклы.

— Все у вас в порядке, Виктор Иванович? Служба идет? — ответила Нора на «здравствуйте», когда сообразила, кто перед ней.

— У меня находится вопрос, — скрипнул Витёк.

— О нет! — закричала Нора. — Нет! Только не сейчас. Я буду дома в три. Приходите, если что нужно...

И она умчалась, пользуясь своим совершенным средством передвижения. Снова Витя смотрел ей вслед, и снова смутные какие-то идеи возникали на пересечении его извилин. Так встречаются иногда на перекрестке дорог люди, один на машине, другой на кобыле, третий вообще пешком и с собакой, столкнутся моментно — и разойдутся в разные стороны, и думай потом, думай, что это было, с чего это они сошлись. Так и дороги извилин; хотя про это известно куда меньше, но название им придумано хорошее — вкусное и одновременно красивое. Как имя женщины. Извилина. Можно Иза. Можно Валя. У него была знакомая Валя. Из Белоруссии. У нее были длинные волосины ресниц, и его от них брала оторопь.

Витя шел в подъезд Норы и знал зачем.

Нора же... Нора...

В троллейбусе она вдруг поняла странное: есть, значит, два одинаковых затылка? У Гриши, который в Обнинске, и у самоубиенного мужчины? А откуда она знает, что их не четыре или восемь? И вообще, с чего

она взяла косую прядь и прочее? Бомж. Нечесаный и немытый. Она и видела его на расстоянии, она ведь даже зевак не пересекла, чтоб подойти поближе. Просто бросила взгляд. И между прочим, сначала на полотенце. Это потом уже... Творческий процесс мысли стал заворачивать в это полотенце черт-те что. Сообрази своей головой, женщина: с какой стати мальчик Гриша, которого ты когда-то подержала на руках, выросши во взрослого дядьку, мог оказаться на твоём балконе? К тебе, Лаубе, пришел климакс и постучал в дверь. «Это я, — сказал он. — Климакс. Я к вам пришел навеки поселиться. У вас будет жизнь с идиотом, но это совсем не то, про что написано в одноименном сочинении. Я не буду вас убивать на самом деле. Но умственные убийства я вам дам посмотреть непременно. Я буду вас ими смущать. Я у вас затейливый климакс».

«Слава Богу, — подумала Нора, — что у меня все в порядке с чувством юмора».

Молодой, подающий надежды режиссер все-таки сбил случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь сплошь и рядом, деньги и успех — без гарантий, но кто может себе сегодня позволить отказаться от работы?

Хотя Нора давно знает: великий абсурдист хорош для очень благополучной жизни. Именно она, хорошо наманикюренная жизнь, жаждет выйти из самой себя, чтоб походить по краю, полетать над бездной, снять с себя волосы, обратиться в носорога с полной гарантией возвращения в мир устойчивый и теплый. Но если ты постоянно живешь в абсурде? Как играть абсурд, будучи его частью? Все равно Нора будет репетировать, воображая — вот где оно нужно, воображение! — что ей возвращаться в мир нормальный. Надо создать в себе ощущение нормы. Чтоб не запутаться окончательно.

Норма — это ее жизнь. Она разумная и пристойная. Два одинаковых затылка, которые случились, — чепуха. Затылок вообще вещь сложная для идентификации. Это вам не подушечки пальцев, не капелька крови, даже не мочка уха, которая может уродиться и такой, и эдакой. И спелой, как ягода, и вытянутой, и плоской, и треугольно-страстной, с прилипшим кончиком, и широколопатистой, рассчитанной на посадку любой клипсы, эдакая мочка-клумба.

Затылок же — вещь строгой штамповки. Интересно, как начинал лепить человека Бог? С маленькой пятки или круглого шара головы? Нора закрыла глаза, чтоб лучше увидеть сидящего Творца, на коленях которого лежала все-таки не пятка — голова Адама. Бог положил на затылок руки и замер. Нора в подробностях видела эти обнимающе-созидающие руки и круглую мужскую голову.

...Не было ли Господне замирание признаком сомнения и неуверенности в начатой работе? Уже все было сделано. Сверкали звезды на чистоневеньком небе, зеленела трава-мурава, все живое было лениво и нелюбопытно, потому что ему было не страшно. В мире был такой покой, и та круглая болванка, что лежала на коленях, еще могла стать оленем или сомом. Мир не знал опасности, он был радостен, и Великому даже показалось, что, пожалуй, хватит. Не испортить бы картину.

Нора широко открыла глаза. «Я богохульствую, — сказала она себе. — Я Его наделяю своим сомнением...» Троллейбус дергался на перекрестках, люди (создание Божье?) были унылы и злы. Они опаздывали и вытягивали шеи, вычисляя конец пробки. И еще они прятали друг от друга глаза, потому как не хотели встречи на уровне глаз. В их душах было переполнено и томливо. И они жаждали... Выхода? Исхода? Конца? Нора думает: «Вот и я еду репетировать абсурд, увеличивая количество бессмысленного на земле. И все идет именно так, а не иначе».

А тут еще возьми и случись знакомый неизвестный затылок. Пора было выходить. «Что-то похожее у меня уже было, — думала Нора. — В чем-то таком я уже участвовала».

Виктор Иванович Кравченко нажимал кнопку звонка квартиры, что под Норой. Ему открыла женщина, лицо которой было стерто жизнью практически до основания. То есть нельзя думать, что не было носа, глаз и прочих выпуклостей-вогнутостей, но наличие их как бы не имело значения. Наверное, целенькие горы тоже выглядели *никак* по сравнению с разрушенным Спитаком.

Вите такие лица не нравились, и хотя видел он их миллион, каждый раз что-то смутное начинало разворачиваться в его природе. На ровном месте он начинал обижаться сразу на всех, и возникало ощущение тяжести под ложечкой, которое и спасало, переводя стрелку со смуты мыслей на беспокойство пищеварения. Что несравненно понятней. Вот и сейчас, глядя на женщину, открывшую ему дверь, он решил, что жопка останкинской колбасы явно перележала в холодильнике и напрасно он так уж все доедает. Надо освободиться от жадности деревенщины. «Ты ее помни, но забудь», — учил его капитан-психолог.

— Ну и чего тебе надо? — спросила женщина, впуская Витьку в такую же, как сама, стертую квартиру.

— Я по поводу случая падения, — вежливо сказал Витя.

— Меня тогда не было, — сказала женщина, — я стояла в очереди в собесе. Такая, как в войну за хлебом, — воздуху в коридоре нету, пустили бы уж газ, чтоб мы там и легли все разом.

— Нельзя так говорить, — сурово сказал Витя. — Это негуманно. А кто-нибудь другой дома был?

— Кому ж быть? — спросила женщина. — Ольга на работе с утра.

— Ольга — это кто?

Женщина всполошилась, лицо как бы пошло рябью, потом стало краснеть, потом все вместе — рябь и цвет — собрались вкупе, и уже было ясно, что лучше от нее уйти, что на смену стертости пришел гнев с ненавистью под ручку и тут, как говаривал Витин дядька, уже хоть Стеньку об горох, хоть горох об Стеньку.

— Так куда ж ей деваться? — кричала женщина. — Если нигде ничего? Кому на хрен нужна ваша прописка, если полстраны живут нигде и не там? Скажите пожалуйста! Бомжа, проклятого пьяницу, ему жалко, вопросы задавать не лень. А я сама, считай, бомж! Вот продам квартиру Абдулле, Олькиному хозяину, и кто я буду? Вот я тогда под ноги тебе и прыгну, моя дорогая милиция, дать тебе нечего!

— Успокойтесь, гражданка, — вежливо сказал Витёк, потому что ни на грамм он на нее не рассердился, а даже более того — внутри себя он ее поощрял в гневе и ненависти. Капитан-психолог объяснял им, что чем больше из человека выйдет криком, тем он будет дальше от «поступка действием». «Шумные, они самые тихие», — говорил он им. Понимай как знаешь, но Витя понимал.

— Разрешите посмотреть ваш балкон, — попросил Витя.

— Нашел что смотреть, — тяжело вздохнув, уже смиренно ответила женщина.

Витя правильно понял смысл ее слов: смотреть было на что...

Балкон был по колено завален бутылками и банками, их уже не ставили, а клали, как ляжет. «Это все может посыпаться на голову людей, — подумал Витя, — циты могут не выдержать напора». Но тут же другая мысль вытолкнула первую, нахально закрыла за ней дверь. Вторая мысль сказала: «Смотри, кто-то шел по этим грязным бутылкам в направлении к левому углу балкона. Бутылки порушены шагом, и грязь с них частично вытерта скорее всего штаниной».

— Вы ходили по балкону? — спросил Витя.

И тут он увидел, какой могла быть женщина, если бы... Он увидел ее первоначальный проект, задумку художника. Она улыбнулась, и хотя ей не удалось доносить до встречи с Витей все зубы, улыбка совершила превращение. У женщины оказались серо-зеленые с рыжиной по краю радужки глаза, у нее были две смешливые ямочки, и хоть от них бежала вниз черная нитка морщины, это уже не имело значения. Нитка была красивой. Женщина была задумана в проекте, чтоб вот так, с ходу, потрясать неких мужчин-милиционеров, вообразивших себя знатоками жизни и сыска.

— По нему разве можно ходить? — смеялась женщина. — Я разрешаю попробовать.

Штанов было жалко, но он сделал этот непонятный шаг в гремучую кучу — и надо же! Случилось то, чего он испугался сразу: отошел штырь от щита, и бутылки — две? три? — выскользнули на волю. Боясь услышать снизу чей-то смертный крик, Витя рухнул всем телом на бутылки, обнимая и прижимая их к себе. Те, улепетнувшие, громко звякнули о землю, прекратив свое существование, «но не забрали жизнь других», — облегченно думал Витя, ощущая жирную грязь на себе почти как счастье.

— Идиот! — кричала женщина. — Вас таких по конкурсу отбирают или за взятку? Что я теперь с этим буду делать? Заткни дырку шампанским! Слышишь? Падает только пиво!

Но Витя не слышал. Прямо под ним был след большой ноги, и Витя испытывал сейчас просто любовь к нему, он даже потрогал его рукой. Силу любви люди еще не измеряли, а те, которые пытались, внутренне были не уверены в результатах своих замеров. Ну да, ну да... Говорили люди... Знаем, знаем... Но от чего она нас защитила, любовь? Или куда она нас привела? Конечно, как фактор размножения, кто же спорит? Но чтобы что-то более весомое...

Тем более, что все физические опыты, всякие там биотоки и свечения, тоже ничего такого особенного никогда и не показывали. Да, любовь — это сладко, это волнительно, как почему-то говорят старые актеры, клево и атас, как говорят молодые придурки. Витя же, имея малый опыт в этом тонком деле (оторопь перед пятью ресничками девушки-белоруски и волнение от бесконечности ног актрисы Лаубе), отдался чувству любви к следу на балконе так самозабвенно, так безоглядно, что был награжден еще одной уликой — тканью кармана, который обвис на острьяке бетона. Сняв его с самой что ни на есть нежной осторожностью и положив за пазуху — к карманам было не добраться, — Витя занялся спасательными работами. Хозяйка квартиры принесла ему доски от бывшей книжной полки, и Витя в лежачем положении городил заслон шевелящимся под ним бутылкам.

Потом женщина («Зови меня, сынок, тетей Аней») чистила его со всех сторон и была в этот момент тоже близкой к задуманному проекту, от нее в суете движений со щеткой пахло как-то очень тепло и вкусно, и Витя, несколько запутавшийся в запахах городской жизни и уже не уверенный, какой из них хорош, а какой дурен (он, например, не выносил запаха одеколona «Деним», который когда-то взял и купил по наводке рекламы), — так вот, тут с тетей Аней было без вариантов: она пахла хорошо. И он удивился этому, честно удивился, потому что по теории жизни некрасивое не должно пахнуть хорошо. Когда тетя Аня (вообще-то она Анна Сергеевна, и ему надо соблюдать правила. «На интимные слова милиционер при исполнении поддаваться не должен, — объяснял капитан-психолог. — Слово — вещь двояковыпуклая») открывала ему дверь, она просто никуда не годилась ни на вкус, ни на цвет, потом эта улыбка (берегись, Витёк! Окружают!), а теперь вот запах... Хочется сесть и попросить чаю.

— Хочешь чаю, сынок?

— Я уже и так, — ответил Витя. — А мне еще в спортивную школу. Но спросить обязан: он кто, тот, что был на балконе и оставил следы?

— Ты оставил следы, — засмеялась тетя Аня (или Анна Сергеевна).

— А вот это? — И Витя достал и предъявил «карман».

— Что ж ты такую грязь на голой душе держишь? — возмутилась женщина. — Ума у тебя минус ноль!

Она взяла кусок ткани и выбросила его в помойное ведро.

— Вы что? — закричал Витя, кидаясь спасать улику. Но тетя Аня отодвинула его рукой и сняла с крючка старенький пиджак. Карман у него был оторван.

— Я в нем балкон убираю. В последний раз это было уже года полтора как... Зацепилась, не помню за что... Да он весь рваный... Видишь, локти... А подкладка так вообще...

— И все-таки там есть след... — упрямо твердил Витя.

— Еще бы! Ты там уж походил и полежал! — Она смеялась и была красива и хорошо пахла. И Витя окончательно понял, что его заманивают... Есть такие голоса. Как бы птицы, а на самом деле совсем другое... Например, птица-выпь...

— Будем разбираться, — сказал Витя.

Он бежал и думал, что в одну замечательно открытую минуту у него было все: след, карман, а потом — раз! — и ничего не осталось. У кармана нашелся хозяин, а след мог быть чей угодно. А то, что по бутылкам пройти без опасности для ходящих по земле невозможно, в этом он убедился на собственном дурном опыте. Витя представил, как он лежал на шампанском и пиве, и весь аж загорелся. «Главное, — говорил капитан-психолог, — дурь своего ума нельзя показывать никому».

Надо соизмерять с окружающим силу своих телодвижений. Вечером того же дня рванула из Москвы племянница тети Ани — Ольга, рванула так, что растянула связки, и в поезде, который ее уносил в южные широты, пришлось пеленать ногу полосками старой железнодорожной простыни, которую дала ей проводница. Она же пустила Ольгу без билета, все поняла сразу, без звука взяла деньги и сказала, что вся наша милиция уже лет сто ловит не тех и не там. Поэтому спасать от нее человека — дело святое. И на этих словах проводница стала рвать простыню на полосы для пеленания ноги.

На другой день закрылись две лавки с овощами, хозяином которых был некий Абдулла. А всего ничего: безобидный милиционер пришел совсем по другому делу к женщине по имени Анна Сергеевна.

Что-то важное, а может, совсем пустяковое, но спугнул Витя-милиционер, идя по намеченному плану. Из-за него в человеческом толковище возникли суета и колыхание, но так, на миг. Потом сомкнулись ряды людей и обстоятельство, и где она теперь, ненужная нам Оля с туго перевязанной ногой, которую она взгромоздила на ящик с яблоками? И где Абдулла, принявший сигнал опасности, хотя Витёк понятия о нем не имел и не держал его в мыслях? Витёк шел своим одиночным путем, а капитан-психолог много раз им повторял: «Одиночество — враг коллективизма и слаженности борьбы, а значит, хороший милиционер — враг одиночества».

22 октября

Она знала: абсурд ей не сыграть. Дурная репетиция. Дурной режиссер. На нем вытянутый до колен свитер, под который он поджимает ноги, сидя на стуле. Не человек, а туловище Доуэля.

— Нора! — кричит. — Вы спите?

— «Господин старший инспектор прав. Всегда есть что сказать, а поскольку современный мир разлагается, то можешь быть свидетелем разложения».

— Нора! Нора! Вы говорите это не мне! Не мне! И не так!

— Я говорю их себе? — спрашивает Нора.

— Господи! Конечно нет! Эти слова — ключ ко всему. Каждый — свидетель. Каждый — участник.

— Разве Мадлен такая умная?

— При чем тут ум? — выскальзывает тонкими ногами из-под свитера режиссер. — Она женщина. Она просто знает... Отключи головку, Нора! Она сейчас у тебя лишняя...

«Какой кретин! — думает Нора. — Хотя именно кретины попадают в яблочко не прицеливаясь».

— Головка снята, — отвечает Нора. — Иду на автопилоте.

Еремин жмет ей под столом ногу.

«Друг мой Еремин! Ты тоже кретин. Ты думаешь, что я что-то из себя корчу? А мне просто скучно и хочется подвзорвать все к чертовой матери. С моего балкона выпал маленький мальчик. Его зовут Гриша... Правда, он уже вырос... Это не важно... Будем считать, что он все еще маленький... „Бедняжка, в твоих глазах горит ужас всей земли... Как ты бледен... Твои милые черты изменились... Бедняжка, бедняжка!“»

— Нора! Это не Островский! Что за завывание? У тебя Ионеско, а не плач Ярославны, черт тебя дерит!

— Прости меня! — Она возвращается из тумана, в котором Ионеско машет ей полотенцем с балкона, а она несет на руках мальчика с невероятно крутым завитком на затылке. — Прости! Я действительно порю чушь...

23 октября

Анна Сергеевна, тетя Аня, ночью сносила на помойку бутылки с балкона. Она ждала Ольку, но та смылась без до свидания, такое теперь время — без человеческих понятий. Раз — приехала. Раз — уехала. Анна Сергеевна не любила это время, хотя и прошлое не любила тоже. Поэтому, когда бабы сбивались в кучу, чтоб оттянуться в ненависти к Чубайсу там или кому еще, она им тыкала в морду этого шепелявого генсека, и бабы говорили: «Да! Тоже еще тот мудака». Получалось: других как бы и не было... А значит, не будет и завтра.

Почему возникли бутылки? Потому что раньше их сдавали. Молочные у нее всегда аж сверкали, когда она их выставляла на прилавок. И бывало, что отмытостью этой она унижала других хозяек, и тогда те отодвигались от своей мутной тары — как бы не мои! А она, конечно, стерва, кто ж скажет другое, отлавливала отведенные в сторону глазки и говорила им громко, до бутылочного звона, что бутылки надо мыть в двух водах, что ее мама в свое время вообще старалась набить в бутылку побольше кусочков газет, и у нее, мамы, тоже все сверкало. Когда это было! Теперь же она скидывает грязные бутылки в ночь.

Мемория

На третьей ходке с бутылками Анна Сергеевна столкнулась с артисткой, что жила над нею, и Нора придержала ей дверь.

«Она подумает, что я пьяница», — вздохнула Анна Сергеевна, уже не удивляясь этому свойству ее бытия: о ней всегда думали хуже, чем она есть.

«Оказывается, тихая пьяница», — подумала Нора тоже без удивления — в их театре через две на третью такие.

Эта общая на двоих неувидленность как-то нежно объединила их, и Нора схватила угол мешка и приновилась к уже освоенному шагу Анны Сергеевны, а та в свою очередь почувствовала радость принятия чужой помощи. Сказал бы ей кто еще час назад, что она способна на такое, не поверила бы.

Мы не знаем течений наших внутренних рек. Какая-нибудь чепуха в виде мешочного угла так пронзит тайностью жизни, что хоть плачь!

В лифте, уже возвращаясь, Анна Сергеевна деликатно провела под мокрым носом пальцем, отчего нарисовались усы, а Нора достала платочек, пахнувший духами счастья, и вытерла ей их, но тут как раз возник пятый этаж, и Анна Сергеевна вышла.

Как там кричит Норина абсурдистская героиня? «Глотайте! Жуйте! Глотайте! Жуйте!» Ведь и на самом деле... Нежная пряжа отношений... Что-то детское и сладкое... Хочется слотнуть. Надо пригласить эту женщину в театр. Дадут ли ей хорошее место?

27 октября

Прошло не два дня, а четыре.

Нора снова позвонила по тому же московскому телефону.

Ей ответили, что Гриша еще не вернулся из Обнинска. Никто не волновался. Человек мог задержаться. Дела, проблемы... Она не имеет права пугать других своими страхами. Хватит с нее придурочного милиционера, который, кажется, начинает ее подозревать. Она наняла мужиков чинить балконные перила. Подогнала так, чтобы быть в этот день дома, но в театре случилась беда. В одночасье умерла актриса, не старая, между прочим, заменили спектакль, назначили утреннюю репетицию. Нора остро чувствовала эти моменты одиночества своей жизни — никого и ничего.

Болезнь одна она научилась, умела какую-никакую мужскую работу, но тут нужен был просто свой человек, который бы приглядывал за работягами, потому как мало ли что. Но попросить было некого. Сначала подумала о Люсе со второго этажа... тут же ее отвергла. Как подумала — так и отвергла, без достаточных оснований.

Нора пошла к Анне Сергеевне. Так получалось, что вроде ей и пойти больше не к кому. Да так оно и было... Жила в подъезде знакомая учительница. По средам у нее свободный день, и она в среду всегда спит долго, встанет, попьет чаю и ложится снова, и главное — сразу засыпает. Странновато, конечно, в эру хронической человеческой бессонницы. Но именно из-за сонливости Нора ее отвергла. Пусть спит, пусть.

Получалось, что кроме как к Анне Сергеевне идти и не к кому. У той в тот день было дежурство в диспетчерской. Это от нее люди узнавали, что «все прорвало к чертовой матери», что «во Владивостоке уже неделю не топят, а у вас на сутки отключили — нежные очень», что «почем я знаю?», что «бардак был, есть и будет, а с чего бы ему не быть?». И так далее до бесконечности перемен в настроении и кураже Анны Сергеевны. Но Норе она сказала: «Какие дела, конечно посижу, за нашим народом глаз и глаз нужен, а то я не знаю?» Сама она тут же позвонила в диспетчерскую и сказала, что не придет, пошли они все, у нее мильон отгулов, пусть ищут замену, когда им нужно, она всегда есть, а сейчас — ее нет. На хрен!

28 октября

Пока работяги возились на балконе, Анна Сергеевна тупо сидела в кухне. В таком сидении есть свой прок: где-то что-то накапливается своим путем, без участия воли там или всплесков мысли. Просто сидишь как дурак, а процесс идет очень даже, может быть, и умный. Что-то к чему-то прилепилось, что-то от чего-то отвалилось, тонкая материя расслабилась, чтоб свернуться потом, как ей надо.

Через какое-то небольшое время Анна Сергеевна поняла, что ее страстное желание посмотреть, как живет артистка, вызывает в ней ощущение злой печали. Вместо того чтобы запоминать, как стоят у Лаубе чашки и какие фигли-мигли прицеплены у нее к дверце холодильника, ее накрыла и жмет ядовитая тоска, а понимания этому как бы и нету...

Мужики же, чинители, повозившись часок, быстро соскучились по свободе рук и ног и уже сообразили, что не тот взяли сварочный аппарат, что нужен им абсолютно другой, что они за ним сходят, а потом уж раз-раз... Только их и видели.

Анна Сергеевна переместилась в комнату. Со стен на нее смотрела Нора в образах. Нора-графиня, Нора-испанка, Нора-ученый. Анна Сергеевна почувствовала озноб от такой увековеченной жизни артиста, который, получается, никогда сам, а всегда кто-то. Но тут на трюмо в дешевой рамочке — Анна Сергеевна знает: в такой рамочке она тоже стоит у себя на серванте — она увидела молодую Нору, в сарафане и с голым левым плечом. Плечо было спелым, покатым и даже как бы влажным от теплого дождя, но это уже воображение. Откуда можно узнать про дождь на черно-белой и померкшей фотографии? Анна Сергеевна смотрит на Норину левое плечо. На правом, как положено, широкая лямка, не тоненькая тютелька, чтоб не сполз лиф, а в целую пол-ладонь. Анна Сергеевна носила такие же, когда ездила в деревню. Важна была еще и высота кокетки сарафана, чтоб, не дай бог, не вылезла бы подмышка с куском лифчика. Сплошь и рядом лахудры носили такое. У Норы лямка сползла — значит, на ней был широкий, вольный сарафан и лифчика не было во-об-ще.

Анну Сергеевну охватила такая болючая обида, что с этим надо было что-то делать. Она вынула фотографию из рамки и стала рассматривать ее на свет (тоже мне эксперт!) и обнаружила, что та отрезана, что по ту самую левую крамольную Норину половину кто-то стоял. И это был мужчина. Виднелся грубый локоть. Анна Сергеевна мысленно продолжила локоть. Получалось, что это ее муж стоит в любимой позе, сложив руки на широком ремне. Он всегда так фотографировался: локти — в стороны, а руки — на ремне талии. Глупая поза, Анна Сергеевна испытала гнев на покойника, который и умер рано, и фотографироваться не мог, и никогда ничего ей не сказал ни про ее плечи, ни про другое. Как грабитель, напал на нее ночью, а если наткнулся на трусики, то поворачивался спиной, прикрыв голову подушкой, а она в этот момент чувствовала запах менструации как позор жизни. А баба уже была, не девочка.

Какое там левое плечо!

Она даже не заметила, что рвет фотографию Норы на мелкие кусочки. Она испугалась, растерялась, клочки сунула в карман, а рамку положила на самую верхнюю полку. Потом она сидела и перетирала в прах то, что осталось от старой фотографии.

Как это бывает с людьми: сделав ненароком дурное кому-то, мы больше всего начинаем его же и ненавидеть. Но кто ж признает себя источником зла?

Анна Сергеевна обхватила себя руками от неловкости в душе и мыслях. Опять же... Разве она за этим сюда пришла? За собственным смятением? Просто ей хотелось знать, как бывает у тех, кто всегда при маникюре, кто носит разные обуви в разные погоды на высоком каблуке. Ей хотелось знать, как это, когда ты знаменитая и на тебя оглядываются, как? Но у нее по неизвестной причине случилось совсем другое настроение. Совсем. И это было Анне Сергеевне неприятно. Она прикрыла плотнее балконную дверь, твердо зная, что чинильщики не возвращаются быстро, когда у них случается неправильно взятый аппарат. Что они могут не вернуться совсем, и что тогда будет делать эта Лаубе завтра? Она-то, Анна Сергеевна, больше ни за что не останется, потому что у нее от этой квартиры случилась душевная крапивница, этого ей только не хватало.

Анна Сергеевна села в кресло, которое, по ее мнению, стояло неправильно — на ее вкус, быть бы ему развернутым иначе, но какое ей дело! Села в неправильное кресло, удрученно вздохнув, что все не так и не то. «Нет, — сказала себе. — Я не хотела бы быть ею».

Это была, конечно, ложь-правда, но именно она сработала динамитом.

...У Норы было мрачное настроение. Кого попросить сидеть завтра? Наверняка балкон за день не починят, а у нее никаких шансов освободиться. Хоть привози из Мытищ тетку, но ее действительно надо привозить: у тетки бзик, она не ездит на электричках, потому как в них нет туалета. Она, тетка, должна твердо знать: если ей приспичит, уборная есть рядом. Нормальная старуха, но в этом безумная. Куда бы ни шла, ни ехала, вопрос о туалете — первый. Поэтому Нора раз в сто лет ездит к ней сама, а когда у нее случаются премьеры, на которые не стыдно позвать, то она берет машину и привозит родственницу. У тетки красивое имя Василиса, но в коротком варианте не нашлось ничего, кроме Васи, что совсем уж гадость для барышни, и ее с детства звали насморочно Бася, а теткин папа — Нора помнит старика, еще той выучки инженера-путейца, уже сто лет покойника, — так вот, папа этот ни к селу ни к городу всегда так и добавлял: «Она у нас — Вася с насморком».

Уже нет никого из тех людей, но Бася-Вася с насморком — так и осталось. И в театре иногда Нору спрашивали: «А эта твоя Вася с насморком жива?»

Так и останется она во времени: причудой отмечать расположение уборных и дурачьим приименем.

Нора решила поговорить с Ереминым: не расщедрится ли он на машину в Мытищи? Но до того надо было поговорить с теткой.

В перерыве она пошла к телефону, чтоб позвонить той, но сперва набрала свой номер. Анна Сергеевна отвечала отрывисто и недружественно: мастера ушли за аппаратом. Что она делает? Сидит.

«Ах ты, боже мой! — подумала Нора. — А предложи я ей деньги, как онаотреагирует? Конечно, теперь все иначе. Теперь денежки правят бал, но мы с ней другое поколение... Мы еще помним, что люди помогали за так... По душевному порыву»... Гнусность в том, что — Нора это давно поняла — появилась популяция промежуточных людей. С ними хуже всего. Они мечутся меж временами, не зная, какими им быть. Им хотелось бы сохранить вчерашний порыв в том чистом виде, когда они как идиоты перлились на химические стройки, не беря в голову никакие возможные осложнения для собственного здоровья. Но теперь к порыву надо присобачивать деньги. Получается уже не порыв. Что-то другое. Вот тут и возникает злой и растерянный промежуточный человек. Хуже нет его, испуганного, ненавидящего поток чужого времени, лихо уносящего вперед других. Споры и скорых.

Нора позвонила тетке, но та отказалась сразу:

— Нет, Норочка, нет! Я невыездная. Теперь уже навсегда.

— Бася. Ты спятила! С чего бы это?

— Такое время. Нельзя уезжать далеко от дома.

«Я ее оболещу», — подумала Нора, имея в виду Анну Сергеевну. Она подумала об этом в тот самый момент, когда Анна Сергеевна клокочущим от странной гневности сердцем твердо решила: да никогда больше не будет она нюхать чужие квартиры и рассматривать чужие фотокарточки. Нечего ей делать в мире этих так называемых... Она честно прожила свою жизнь, зачем ей на старости лет артистки, у которых все не как у людей? Заглянула в ящик, а там шахматное белье. Анна Сергеевна очень долго привыкала к цветочкам на белье, с трудом взошла на постельные пейзажи, но шахматы? Белье — поняла она сейчас окончательно — должно быть белым! Белым! Белым, аж голубым, это когда оно на морозе трепещет и надувается парусом. И вообще... Разве можно определить на цветном белье степень его чистоты? Ее бабушка прощупывала простыни пальцами, слушая тоненький скрип отполосканной материи. А мама вешала белье на самое что ни на есть солнце в центре двора, унижая барачный люд степенью собственной белизны и крахмальности. Такими были предметы гордости. У Анны Сергеевны сердце просто сжалось от воспоминаний о времени тех радостей.

...Витя же шел путем зерна. Внедрялся и тужился пустить росток. Правда, он этого не знал, ибо был бесконечно далек от формулировок, какими, к примеру, сыпал туда-сюда капитан-психолог. У того просто отскакивало от зубов точное выражение. Вчера он ему сказал: «Ты, Кравченко, берешь в голову больше, чем там может поместиться по объему черепа». Сказал — и ушел, а Витя просто почувствовал, как из ушей — кап, кап... Лишнее. Он тогда действительно такое себе вообразил, что на лице тут же отразилось и было замечено тонким вниманием психолога.

Витя вдруг решил, что «упаденный человек» знал какую-то страшную тайну Лаубе. Та могла быть курьером-наркоманом, а могла передавать прямо со сцены шпионскую информацию: идет налево — значит, ракеты подтянули к Калининграду, идет как бы в зал — значит, начинается китайская стратегия. И вообще у нее, у Лаубе, любовник вполне может быть крупным генералом, из тех, которые ползают по карте мира, расставляя туда-сюда стрелочки. Вот она и столкнула дурачка, который каким-то образом все узнал, а он последним разумом схватил полотенце, полосатое, как флаг. А флаг — почти родина. Витя аж вспотел от возникшей картины подвига, тогда-то и случилось из ушей кап-кап...

Анна Сергеевна, отводя глаза, сказала Норе, что больше «нет, не смогу посидеть», а эти, которые мастеровые, так и не вернулись. Не надо было им давать аванс, это же как дважды два.

— Спасибо, — ответила Нора. Она почувствовала, что эта *вечерняя* Анна Сергеевна была не та, что *утренняя*. Конечно, интересно бы знать, что случилось за это время, но ей не до того... Главное она поняла сразу: ей соседку не обольстить, стоит вся как в коконе — ни кусочка живого тела, чтоб тронуть пальчиком.

— Спасибо вам, — сказала Нора достаточно вежливо, все-таки актерство бесценно в случаях лицемерия. Потом она вышла на балкон. Процесс починки, видимо, начинался с окончательного разрушения. Балкон состоял теперь из огромной зияющей дыры, которая заманивала, выманивала...

Нора подошла и потрясла ногой над пустотой, ощущая ужас под ребрами, в кишках, и даже подумала о том, что животный страх потому и животный, что он не в голове, не в существующей над пропастью ноге, не в сердце, которое даже как бы не убыстрило бег, а именно в животе, в его немыслящей сути... Она вбежала в комнату, задвинула все шпингалеты и зачем-то придвинула к балконной двери кресло. Уже дома, в безопасности, она поняла: та степень ужаса, которая выразилась в этом придвинутом кресле, была равна двум страхам: ее собственному и тому, чужому, предположительно Гришиному, для которого страх был последней и окончательной эмоцией. Он, страх, каким-то образом остался на ее балконе, а значит, прав тот парнишка-милиционер, который учувствовал его и решил: неизвестный, оставивший страх, упал с ее балкона. У этой нелепой и невозможной истории должно быть свое простое объяснение, как есть оно у любой с виду запутанной задачи. Когда это выяснится, все скажут: «Какими же мы были дураками, что не догадались сразу».

Нора набрала номер, который набирала уже не раз. Ей снова сказали, что Гриша в Обнинске, правда, добавили: чего-то он там застрял? Нора настойчиво стала узнавать, нет ли у него еще кого в Москве, к кому он мог вернуться из Обнинска. На что ей резонно ответили: «Так ведь он человек холостой. Мало ли...» И там, где-то там, на другом конце шнура, засмеялись найденному определению «холостой, мало ли...».

Поверхностным сознанием Нора отметила про себя, что ее, звонящую женщину, вполне могли принять за ту самую, которая принадлежит этому «мало ли».

Ах, Гриша, Гриша... Каким беспомощным ты был, когда тебе закапывали глаза. Как ты терялся, а в растерянности мгновенно засыпал. Счаст-

ливое свойство некоторых людей уходить в сон как в спасение. Впасть бы нам всем в какой-нибудь недельный анабиоз, чтоб проснуться с ясной головой и чистым сердцем, без злости, зависти. Проснуться, чтоб жить долго и счастливо... Боже, какая дурная сказка разыгралась в ней! Какое ей дело до всех? Ей бы разобраться с собой, с этим балконным проломом, с простой житейской проблемой: кого оставить в квартире, когда придут чинильщики? А если они не придут? Если они взяли у кого-то уже следующий аванс? Где их тогда искать? А после всего этого надо идти и репетировать абсурд, который она не умеет играть, он ей не поддается, он выскальзывает из ее рук, и режиссеру все время приходится выпрастывать ноги из-под свитера, чтоб, приблизившись к ней на тонких цыплячьих лапках, объяснять глубинную сущность парадокса.

Свет мой зеркальце! Скажи, почему мне так томливо и тревожно? Я не ответственна за выросшего чужого ребенка. В конце концов! Ты ничего о нем не знаешь. Может, так ему и надо? Может, балкон написан ему выше? И потому быть балкону. И быть свержению с него вниз. С полотенцем в руке. Ибо так тому... Аминь.

29 октября

Работяги не пришли. Она ждала их до последнего, потом второпях надела не те сапоги, а на улице коварная, невидимая глазу наледь. У поребрика разъехались ноги.

— Извините, — сказала, ухватившись за чей-то рукав. — Вы меня не подстрахуете?

«Вот как это происходит, — подумал в этот момент Витя. Он охранял только что побитый и раскуроченный киоск и видел Нору, хватающую мужчину, — вот как!» В его несильной голове мысли сначала разбежались во все стороны, а потом столкнулись до красной крови. И Витя увидел одновременно Нору Лаубе, египетскую Клеопатру, барыню из «Муму» и их сельскую библиотекаршу Таньку, портящую мужиков каким-то особым способом, отчего они после нее ходили притуманенными и ослабшими, что для жизни не может годиться, потому как потому...

В каком-то розоватом свете Вите показалось, как этот, который страхует артистку, летит с известного балкона с ярким полотенцем в руках. Хорошо, что подъехала милицейская машина и от него потребовали «фактов по делу поломки киоска», а так куда бы увела Витю мысль?

Вадим Петрович знал этот покрасневший кончик носа, который только один и краснел в холод, подчеркивая алебастровые крылья переносицы. Он знал его и на вкус, этот кончик, солоновато-холодный, и как он выскальзывал из его теплых губ, когда он его отогревал. Снизу лицо женщины было скрыто кашне, сверху — огромными темными очками. Но в покрасневшем кончике он ошибиться не мог.

Нора же, оперевшись на чужую руку, встала на твердое место, проклиная себя за то, что надела не те сапоги, что в этих рискует сломать шею, а такси теперь недоступно, тем более если ты сдуру вносишь аванс за работу, которую тебе никогда не сделают. Оттолкнувшись от руки мужчины, она даже улыбнулась ему в глубине кашне. Это не важно, что он этого не видел, — важно, что она знает: улыбнулась — значит, перед Богом чиста. То же, что не развернула для этого лицо, так ведь не тот случай. Всего ничего — секундно поддержалась рукой, чтоб помочь ногам найти опору.

Вадим Петрович смотрел ей вслед. Он знал эту походку: так устремленно вперед не ходит никто.

Женщина уходила. Еще шаг, и она скроется в переходной яме...

— Нора... — сказал он. В сущности, даже не сказал. Прошептал.

И она остановилась. Так же быстро, как вперед, она теперь шла назад, а потом на скользком месте, у того же поребрика, стала разглядывать Вадима Петровича живыми глазами, сняв темные очки.

Он понял, что она не узнает его, что в ее осматривании — сплошное непризнание и ничего другого. Теперь, без очков, с сеточкой морщин вокруг глаз, со слегка набрякшими веками, она была той, которую он узнал бы не то что по кончику носа — по ветряной оспинке, которая сидела у нее над бровью; по жесткому волосу, что ни с того ни с сего выросла у нее на подбородке, и она тащила его пинцетом, а потом внимательно рассматривала на свет, пытаясь понять природу его ращения. Он помнил вкус ее кожи, запах подмышек, выскобленных до голубизны. Он жалел все, что она уничтожала на себе: и подбородочный волосок, и все ее другие выбритые волосы; он печалился, когда она изводила свой естественный цвет на какой-нибудь эдакий новомодный. Смешно сказать, он много лет носил при себе обломок ее зуба, когда она сломала его, грызя орехи. Ей тогда сделали новый зуб, неотличимый от прежнего. Но он отличал. Он знал разницу.

А вот теперь она разглядывала его почти сто пятнадцать часов, даже голову склонила к левому плечу, — и ничего. Ни одного сигнала памяти.

— Видимо, вы ошиблись, — брякнула она глупо, можно сказать, бездарно, потому что зачем тогда вернулась на произнесенное шепотом редкое свое имя? Не Катю окликнули, не Лену, не Машу, не Дашу... Коих пруд пруди... Нору.

Он же думал, как она смеялась: «Иванов! Как это жить с такой фамилией, когда тебя легион?» — «Но ведь живу!» — отвечал он.

Тут же, у поребрика, он ощутил себя эдакой «ивановской сплюсненной массой» без начала и конца, невычленимой для идентификации.

Вот какая казуистика жизни: тебя могут не узнать — не узнать в то самое лицо, которое когда-то це-ло-ва-ли.

— Я Вадим, — сказал Вадим Петрович. — Бездарно было не представиться сразу. Сколько лет прошло! Столько уже и не живут.

Меньше всего он ожидал, что еще до того, как он договорит, она так обнимет его и так вожмется в его грудь, что сердце сначала замрет, потом подпрыгнет и ухнет вниз, и он начнет искать в кармане нитроглицерин, потому как два инфаркта он уже имел за то время, которое обозначил: «столько не живут».

Мемория

Это безусловное преувеличение. Потому что прошло всего ничего — двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут пока еще, если взять на круг, несколько дольше. Тут ведь главное — пережить какие-то критические годы: тридцать семь там, или сорок два, или критически-менструальные дни страны — войны, революции, перестройки, а также другие явления типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан». Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати шести. И спасибо ей.

Ровно столько лет тому театр Нору был на гастролях в Ленинграде. Вадим был там в командировке, и они жили — так, видимо, встали звезды — в одной гостинице. Если идти по коридору от вперед смотрящей дежурной по этажу, то Норина комната была третьей направо, а его — третьей налево. Но это выяснилось потом, потом...

Сначала командированный пошел в театр, куда можно было попасть. В не самый престижный гастролирующий московский театр. Билеты перед самым началом в кассе были. Рубль пятьдесят штука. Давали «Двенадцатую ночь», конечно, лучше бы что-нибудь другое, хотя что? Репертуар

нервно перемогался между Софроновым и Островским, с легкими перебежками в сторону Шекспира.

Но командированный ходит в театр не для того, чтобы что-то там смотреть. Вадим Петрович, например, идет, чтоб не выпивать с собратьями толкачами. Что невозможно сделать, оставаясь в номере. У него язва двенадцатиперстной, но кому это объяснишь? Он, конечно, может рюмку, две, но гостиничное пьянство — процесс безудержный, страстный. В нем такая энергия смятения и тоски, что язва просто не может идти в расчет по причине мелкости своей природы. Он после театра еще и по улицам походит тихо и неспешно, а в номер нырнет, как битый пес в подворотню, и затаится там без всякой, между прочим, надежды, что его не отловят где-нибудь часа в три ночи, чтобы задать глобально-космический вопрос: как он насчет баб? Никакой проблемы снять их нет, но Петрович (Михалыч, Кузьмич, Иваныч) рассказал случай такой болезни, что проявляется сразу, и притом на лице, какая-то американская зараза, видимо из Вьетнама, а может, еще из Кореи, какой-то половой вирус, который косит белого мужчину как хочет, а женщине хоть бы хны. Один вот так приехал из командировки, а у него прямо на парткоме лицо пошло буквами.

Дичь, дичь, полная дичь... Но три часа ночи, ремни у штанов на последнюю дырочку, и такая сила хотения, что даже страхи получить втык на будущем парткоме имеются в гробу! «Ты пойдешь с нами, Вадя, или?! Ты сука, Вадя, сука... Ты не мужик, Вадя... Ты обосрался, Вадя...» — «Да, — скажет он, — да. Я такой!» Вот за то, что он *такой*, они и пошлют его за бутылкой, потому что если ты такой, то хотя бы выпей, сволочная твоя морда. Другой альтернативы, скажут, нет! Или по опасным бабам — или пьем по новой! Выбирай, Вадя, иначе на тебе опробуем вьетнамское (корейское, китайское, мексиканское, негритянское) оружие. «Ты ляжешь, Вадя, первым! И даже не сомневайся в нашей жестокости».

Вот почему он сидит вечерами в театре. Он видел «Двенадцатую ночь» несчетное число раз. Он видел Виол с тяжелыми ляжками и бойцовскими икрами ног, под которыми гнулись половицы сцены. Видел Виол с ногами-спичками, столь легкими и невозбуждающими, что думалось: «О Господи! Зачем ты так нещедра?» Встречались и коротконогие Виолы. У этих раструбы ботфортов щекотали им самое что ни на есть тайное место, и эта потеха обуви и тела, бывало, передавалась залу. Тут некрасивость производила тот эффект, которого актрисы с идеальными ногами не достигали, и в этом гнездилась загадка победы природы над искусством.

Нора была идеальной Виолой в смысле ног и ботфортов. И вообще спектакль был вполне: Эгъючик там, Мальволио вызывали нужный утробный смех.

Когда он совсем освоился в восприятии, вытеснив из памяти всех предыдущих актрис, он понял, что ему нравится эта Лаубе, интересно, кто она по национальности? Немка? Прибалтийка? Красивый голос, из тех, что особенно хорош в нижнем регистре. Мальчик из нее что надо... Хотя и женское в ней, спрятавшись в мужской наряд, очень даже возбуждает. Такого подарка от театра он, честно говоря, не ждал. За полтора рубля — и такие молодые эмоции! Его тут недавно настигло сорокапятилетие. Жилжил — и не заметил, как... Жена с чего-то вдруг засуегилась, а до этого было, между прочим, и сорок, и тридцать пять... Он понял: радостно-нервной возней вокруг его лет жена как бы утвердила некий переход в другое его время. Она его назвала, время, так: «Можно перестать себя расчесывать и сдирать струпья». Никогда до этого, никогда... они не говорили про это — про расчесывание и струпья. Но ведь несказанное, оно было в нем, было! Горе-злосчастье не случившегося, не совершенного, горе ушедшего, как песок, времени. Вадим Петрович Иванов с нежным шуршанием ссыпался, стекал в узкое горлышко никуда, и сколько там *его* осталось, в воронке жизни?

А тут — на тебе... Такое волнение от женщины-артистки. Существа других, неведомых реальностей, существа, принадлежащего, так сказать, всем сразу. И вот она вызывает в нем совершенно частную, индивидуальную мужскую нежность, до такой степени не поделенную со всеми, что даже удивительно присутствие других людей слева и справа..

Надо ли говорить, что Вадим Петрович поперся к служебному входу и вырос там под фонарным столбом? Надо ли говорить, что незначительный театр такими «сырами» — по-нынешнему фанатами — избалован не был, что под фонарем он был один — немолодой мужчина провинциального вида: в шапке из зайца, которую напялила на него жена, потому как Ленинград — город сырости и туберкулеза. Другой бы, может, и оспорил мотивацию уже не новой шапки, но он принял треух, как принимал от жены все по праву младшего (хотя жена была моложе его на пять лет), а потому осведомленного о жизни меньше. Жена же знала практически все: Ленинград — город туберкулеза. Одесса — сифилиса. Москва — гастрита. Свердловск — аллергии. Элиста — гепатита. Астрахань — дизентерии. Такой была табель о болезнях его командировок. Поэтому в тот день заячья ушанка под полной луной поблескивала основательной вытертостью, в день серпомесяца это могло и не обнаружиться.

Они — актеры — вышли компанией, и он пошел следом. Они сели в троллейбус, и он вошел в него, тем более что это был его троллейбус. Конечно, все сошли на одной остановке, потому что он уже в дороге сообразил: скорее всего, артисты живут в его гостинице. Он не решился подниматься с ними в одном лифте, но когда он вышел на своем этаже, она разговаривала с впередсмотрящей и на его вежливое «добрый вечер!» улыбку улыбнулась вполне дружелюбно. А потом они шли вместе по коридору, и выяснилось, что соседи. Вадим Петрович хотел сказать, что был на спектакле, но растерялся, не знал, как оформить в слова то, что спектакля он не видел, а видел и чувствовал только ее, но его заколдовало: будет ли правильным сообщить именно это — уж очень признание может быть похоже на обман, а что есть лесть, как не обман? — но сама мысль о возможности обмана просто не помещалась в том человеке, который ломал ключ, чтоб открыть дверь.

Поэтому смолчал. Нора же отметила командировочную затрапезность мужчины, которую видела миллион и тысячу раз. Ее бывший муж Анатолий Лаубе был вполне таким же и обрел товарный вид, только когда встретил мечту своей жизни, шестиступую из Айдахо, и она сводила его в «Березку», из которой вышел уже другой Лаубе, мгновенно поднявшийся над несносимым румынским костюмом и чешскими ботинками «товарища ЦЭБО» — или как там его?

В ту ночь Вадим Петрович сам нашел гостиничный номер, где не спали его братья по крови, пьяно хрипя про бесконечность бесконечных вопросов бытия.

— У тебя же язва? — вспомнил кто-то, кто еще что-то помнил, когда Вадим Петрович налил себе в стакан.

— Сегодня это не имеет значения, — ответил он.

— Такое бывает, — поняли его.

Он стал ходить в театр каждый день. Если Нора Лаубе не играла, он уходил сразу, до начала спектакля, прочитав только программку.

Однажды он решился и, когда она вышла в компании сотоварищей, отрезал ее от всех, вручив букетик — что там говорить — неказистых гвоздик: во-первых, других не было; во-вторых, что называется, «цветы были по средствам».

Нора узнала его сразу, взяла под руку, и они поехали в гостиницу следующим троллейбусом, не со всеми. Она рассказала ему, что сегодня утром подвернула ногу, что вся в перебинтовке, что боится снять повязку, потому что не сможет наложить ее сама, придется заматывать ногу в поли-

этиленовую штору из ванной, иначе как принять душ? Но если она снимет штору, как принимать душ? «А говорите, что нет безвыходных ситуаций!» — смеялась, потому что как, действительно, снять штору?!

— Я вас забинтую, — сказал Вадим Петрович. — Я этому обучился на сборах. Вот ведь! Считал дурным делом, а могу вам помочь.

— Класс! — ответила Нора.

Процесс разматывания бинта, благоговейное держание за пятку, терпковатый запах стопы, столь совершенной, что он даже слегка оробел. Почему-то вспомнилось умиление ножками дочери, когда она была маленькой, он тогда любил целовать сгибы крохотных пальчиков и думать, какую красоту дает природа сразу, за так, а потом сама же начинает ее корезить и уродовать. Норина же нога не подверглась всепобеждающему превращению в некрасивость, и ему страстно, просто до физической боли захотелось поцеловать сгибы ее пальцев. Но она резко поднялась и прихрамывая пошла в ванную. «Бинты в тумбочке», — сказала она ему.

Он прокатывал в ладонях бинт туда-сюда, туда-сюда, слушая шум воды. Все мысли, чувства, ощущения собрались в комочек одного слова — «случилось». Жена, дети, работа — все то, что составляло его, — сейчас завертелось, устремляясь к этому абсолютно забубенному, по сути, слову. Могло бы и покрасивше назваться главное потрясение мироздания.

Потом они пили чай, и рядом с пачкой рафинада на журнальном столике лежала грамотно перебинтованная Норина нога, а специалист по наложению повязки трогал время от времени голую стопу, чтобы проверить (ха-ха!), не пережал ли он ненароком какой сосуд и поступает ли кровь в самые что ни на есть ничтожные и незначительные капилляры.

— Не жмет? — спрашивал Вадим Петрович.

— Я млею, — смеялась Нора. — За мной так ухаживали в последний раз, когда мне было четыре года и у меня была ветрянка. Видите след на лбу? Это я в страстях почесухи содрала струпу.

Да будь она вся в рытвинах осп, да будь она слепа и кривобока, да будь... Именно это хотелось крикнуть ей во всю мочь. Он даже понимал: это «дурь любви», но хотелось именно таких доказательств. Доказательств криком. Если уж нельзя как-то иначе.

Нора же, сидя тогда с совершенно чужим человеком, думала другое. «Брехня, — думала она, — что любовь сама себе награда. Любовь — боль. Сказала бы еще, боль, как в родах, но не знаю — не рожала. Но боль непременно, потому как страх. Потерять, не получить ответа, быть осмеянным, ненужным, наконец, перестать любить самой, что равносильно землетрясению, когда ничего не остается, даже тверди под ногами. Ушедшая из жизни любовь может оказаться страшнее смерти, потому как смерть — просто ничто, а ушедшая любовь — ничто, но с жизнью в придачу».

Именно тогда от нее уехал в Айдахо муж, и она еще не успела его как следует разлюбить, чтоб перестать жалеть и помнить.

Умная, она знала, что в конце концов все пройдет. Не случай мадам Бовари там или Анны Карениной. Но глядя на умиленного, потрясенного провинциала, который стесняется оскорбить ее даже собственным глотком чая, а потому тянет кипяток трубочкой губ... Вот эти самые ошпаренные губы и сделали свое дело. Ее подкосила степень его ожога.

Дальше все как у людей. Вадиму Петровичу ничего не стоило продлить раз, а потом и еще, и еще командировку. За ним сроду не числилось ничего подобного. Наоборот, он всегда недобывал там, куда его посылали, всегда рвался вернуться домой. Поэтому, когда он сослался на какие-то проблемы, ему сказали: «Оставайся сколько надо». Тогда же он попросил прислать и денег, ему их тоже перевели спокойно — то было время, когда деньги всегда были в кассе и люди не подозревали, что им могут взять и не заплатить. Как не подозревали ни об истинной стоимости своей рабо-

ты, ни о зависимости ее от того, нужна ли она кому. Уже постарели и поумирали те, кто знал, что деньги что-то значат в системе экономики. Люди иногда вспоминали какие-то странные факты из жизни работника и товара, но их было все меньше и меньше, а те, которые стали потом монетаристами или как их там, были еще октябрятками и носили всеобщего цвета мышинные пиджачки, уравнивающие их потенциал со всеми остальными. Так вот, то, что тогда называлось деньгами, пришло по телеграфу. Вадим Петрович купил себе новые носки, потому что стеснялся жениной штопки, не всегда совпадающей с главным цветом. Опять же нитки того времени... Те, что для штопки, были строго двух цветов — коричневого и черного. Надо было быть большим пижонем, чтобы купить себе серые маркированные носки. Вадим Петрович гордо взошел на эту гору.

Театр посмеивался над странно вспухшим романом. Нора только-только отвергла ухаживания вполне респектабельного журналиста-международника. Такой весь из себя Ять, чулочно-носочные проблемы жизни проходили настолько мимо него, что, если говорить правду, именно это и остановило Нору, всегда живущую среди вещей и людей, поэтому подлетающий на облаке кавалер в чужом аромате заставил Нору душевно напрячься.

Может, в случае с Вадимом Петровичем она пошла по пути от противного?

Норе было уютно в руках этого знатока бинтования. Ей было покойно. «Не надо держать спину», — объяснила она все это одной старой актрисе, с которой можно было пообсуждать случившийся роман. «Это не надолго, — ответила та. — Даже среди простейших не выживают именно те, кто не держит спины. А уж в нашем деле позволить себе такое... Как только выпрямишься, так его и сбросишь»...

До этого не дошло полсекунды. Оканчивались гастроли, надо было ехать в Витебск, именно тогда спина как раз и напряглась выпрямиться. Расставались горячо, страстно, но слова Вадима Петровича, что он приедет в Москву непременно-всепременно, Нора поцелует, и он, настроенный на нее, и только на нее, уловил торопливость ее губ, испытал ужас, но тут и поезд тронулся, а Нора еще на перроне — «быстрее, быстрее!», — и вот она уже стоит на площадке с благодарно освобожденными глазами.

«Я свинья, — корила она себя, не отвечая на его письма. Но тут же утешилась: — Пусть так и думает. Ему же будет легче, что я такая гадина».

Он никогда не думал о ней так. Он думал о ней по-другому — страстно, нежно, продлевая и продлевая каждый из прожитых тогда дней. Он натягивал, вытягивал эти нити из прошлого, боялся их порвать, пока однажды все не порвалось само: тяжело, безнадежно заболела дочь. Смерть назначила истинную цену жизни. Бились с женой; спасая девочку, упустили сына... К тому времени, когда Вадим Петрович и Нора встретились у поребрика под контролирующе замечающим все взглядом милиционера Виктора Кравченко, дочери уже много лет не было на свете, а сыну было столько, сколько было Вадиму Петровичу в том Ленинграде. Жена готовилась к операции катаракты, и Вадим Петрович специально приехал в Институт Федорова, чтобы показать все медицинские бумаги, а одновременно выяснить, сколько может стоить операция в Москве: все-таки как-никак, а центр этого дела.

29 октября

Договорились так. Нора возвращается домой в одиннадцать часов. Пусть он ее ждет на этом же месте. «Это мой дом, — и пальчиком в серый грязный безрадостный торец: — Видишь, какой красавец!»

По торопливости, по рассеянности или по некой потайной логике побуждений, но Нора не сказала номер своей квартиры. Вадим Петрович,

боясь ее пропустить, пришел на час раньше. После дежурства, возвращаясь дорогой мимо ларька, Витёк увидел утреннего старика, уже с букетом, обернутым «юбочкой вверх». Витька давно напрягали именно эти фасонные «юбочки» цветов: все в кружавчиках, цветы обретали особый, специфический наемк. Сам Витёк цветы никому никогда не дарил, но капитан-психолог объяснял им, что «цветы есть момент спекуляции на влечении мужчины к женщине. Влечение не стыд. Это естественный процесс».

Витя — в который уж раз! — подумал, как он прав, капитан. Но и не прав тоже. Ибо нельзя назвать естественным процессом то, что заставляет этого старика стоять на сквозняке, прикрывая собственным телом «юбочку цветов».

— Не замерз, дед? — с подтекстом спросил Витя, думая, что с этой актрисой ему еще ломать и ломать мозги. — Спрашиваю, не замерз? — повторил он, на что действительно замерзший и не услышавший Вадим Петрович ответил невпопад:

— Да вот! Жду...

Нора опоздала, потому что по первому ледку троллейбусы скользили медленно. Она увидела Вадима Петровича издали, на фоне унылого торца своего дома, маленький человек боролся с ветром, был несчастен, а букет это еще и подчеркивал.

— О господи! — сказала Нора, внутренне раздражаясь на цветы. Зачем он их? — Идемте скорей!

Она представила, как он будет не знать, не уметь себя вести, как ей предстоит наводить этот ненаучно-фантастический мост между временами и как ей это не нужно совсем. Прошлого у них не было. Надо разговаривать о том, что случилось вчера и сегодня.

— В Москве в командировке? — спросила она.

— О нет! — засмеялся Вадим Петрович. — Я уже не работаю. Я тут частным образом...

Невероятная формулировка, взятая из другого времени. Он это понял и растерялся, что такими нездешними словами скрывает проблему женой катаракты, а значит, получается, и ее саму. Было стыдно, неловко перед ни в чем не повинной женой, и он приготовился сказать все как есть, но Нора стала рассказывать ему про «случай с балконом» и про то, что ей кажется, она знает этого упавшего мужчину. Но в словах получилось как-то неловко, неточно: ведь если то, что ей вообразилось, правда, то она знала не мужчину — ребенка. «У него от атропина были просто сумасшедшие зрачки. А сам он становился вялым и сонным»... Это Нора уже уточнила факты, а Вадим Петрович думал: «Надо же, мы сближаемся при помощи офтальмологии. Если бы я начал объяснять, зачем я здесь... Тоже были бы глаза».

Рассказывая все вслух другому человеку, Нора вдруг поняла, что с ней сыграло шутку воображение, что все ей пригрезилось. Возможно, потому, что они репетируют абсурд. У нее не зря всегда было к нему боязливо-брезгливое отношение. Сегодня, например, она заколдобилась на фразе: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста». Сказала режиссеру: «Это надо с иронией? Я ведь отнюдь не маленькая». — «Какая ирония? — закричал он, выскальзывая из свитера. — Это в пьесе самая психологическая фраза. Это суть». — «У вас все суть, — пробурчала она в ответ. — Но у нас не радиоспектакль. Меня же видно!» — «Вы что, на самом деле не понимаете?! Разве на самом деле речь идет о росте?!» — «Читаю! — закричала Нора. — Читаю: „Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста“».

Хотя поняла все сама, но такая обуяла злость...

— Сама напридумала историю, — уже почти смеясь, объясняла она Вадиму Петровичу. — Этот бывший мальчик — сын моего второго мужа. Не дергайтесь, Вадим, я вас прошу. Мы давно разошлись, а потом он умер.

Ведь с того Ленинграда двадцать пять лет прошло, не халам-балам, как вы считаете? — А хотела не касаться прошлого.

— Двадцать шесть, — ответил он.

Она сама обозначила память. И разве он виноват, что слеза выкатилась из уголка глаза и застыла, чтоб ее не заметили, под очечным ушком? Он повернул голову так, чтобы она не увидела его старческой слабости. Но она заметила и прижала его голову к себе. Вадим Петрович, траченный жизнью инженер, подрабатывающий время от времени ночным сторожем в поликлинике (выгодное для стариков место, каждый был бы ему рад), давно забыл былые мужские молодецкие эмоции. Они ушли от него спокойно, как уходят выросшие дети — уходят, оставляя чувство освобождения от милых, дорогих, но все-таки хлопот и беспокойств. «Став импотентом, я испытал чувство глубочайшего облегчения». Так или почти так говорил в какой-то книжке Моэм. Вадим Петрович это запомнил и был рад, что и у него потом оказалось так же, как у умного англичанина.

Могла ли вспрыгнуть в голову мысль, что он не иссох и не иссяк? Что заваленный хламом источник жив и фурычит?

Он остался ночевать, напрочь забыв, что следовало бы предупредить приятеля, у которого жил: откуда у него могли быть деньги на гостиницу? Ведь сначала Вадим Петрович рассчитывал посидеть всего полчаса и уйти — для него одиннадцать часов было временем поздним.

А теперь вот три часа ночи, и Нора лежит у него на руке и рассказывает, как наняла рабочих починить ограду балкона, как они взяли аванс — и с приветом, как трудно найти было человека, чтоб посидел и покарнул квартиру, пока работяги доламывали балкон.

— Пришла тут одна женщина из подъезда, а потом ушла с поджатыми губами. Злюсь на нее невероятно! За поджатость эту... С чего это она взъерошилась на меня?.. Ты заметил, как легко мы все входим в ненависть? Как в дом родной. И как нам не дается сердечность. Участие. Я и сама такая. Да и ты, наверное. Хотя про тебя не знаю. Я ведь тебя вообще плохо знаю. Но ты мне кажешься очень хорошим. По моей математике, это когда в человеке добро и зло в одинаковой и постоянной пропорции, без возможности перевеса зла. С таким, как ты, хорошо переходить бурные реки по шатким мосткам.

Он смеялся и целовал ее плечи.

30 октября

В пятом часу он уснул первым. Разомкнул на ней руки и уснул, удивляясь и восхищаясь случившимся.

Утром Вадим Петрович решил позвонить приятелю, но дома у того никого не оказалось. Куда ему было деваться? Нора сказала:

— Оставайся. Я съезжу в театр — обещали выдать зарплату — и вернуться. А ты отдохни и расслабься.

Она поцеловала его так нежно, что из того же самого, что и вчера, слезного канала опять выползла сумасшедшая слезинка. Нора промокнула ее ладонью.

— Хочешь мне помочь, — сказала, — сходи за хлебом. — Ключи звякнули на столе.

Он еще раз позвонил приятелю, потом еще и еще и стал собираться за хлебом. Вчера было не до того, а сегодня он обратил внимание на аскетизм Нориной кухни. Пакетик майонеза. Баночка йогурта. Суп Галины Бланки. Его жена, женщина других правил, просто умерла бы от отчаяния, не будь у нее в холодильнике суповой косточки и не стынь в нем вилок капусты. Почему-то возникло чувство раздражения на жену, вечно озабоченную проблемой обеда, чтоб обязательно первое и хоть пустяк, но и второе — сыр-

ничек там или колечко колбасы с горячим горошком... «Да не морочь ты себе голову, — сердился он. — Сколько нам надо?» Жена подслеповато хлопала глазами, но лицо ее становилось твердым и упрямым.

Тут же, озирая скудную снедь Норы, Вадим Петрович впустил в себя мысль, возможность которой еще вчера была чудовищной. Он способен уйти от своей слепнувшей жены, организовав ей, конечно, операцию и последующий уход, а потом остаться здесь, у Норы. Навсегда. На все годы. Почему-то мысль, что думает про это Нора, просто не пришла в голову. Он смог бы. Он сможет.

С этим новым, неведомым и очень возбуждающим чувством он и стал собираться за хлебом. Хотя сначала вышел на балкон посмотреть, что там случилось у бедной девочки. Именно такими словами теперь думалось. «Бедной» и «девочки».

Рваная рана ограды. *Девочка* ночью призналась, как *затягивает* ее проем. Что однажды она даже потрясла ногой над бездной, а потом вбежала в квартиру, будто за ней гнались. «Что-то надо делать, — удрученно думал Вадим Петрович, — так этого нельзя оставлять».

Выйдя на улицу, он первым делом пошел на помойку. Вадим Петрович был старым и опытным помоечником. Именно там он находил нужные в хозяйстве предметы. Телевизор без начинки он отмыл и присобачил как ящик для обуви. Он очищал чужие поддоны и решетки газовых плит и заменял ими собственные, которые ему казались еще хуже. Хотя очистить и выскобли он свое, домашнее... Но сидел в нем, сидел этот помоечный пункт, праправнук кладоискательства, и эту генетическую цепочку, как ту самую песню, «не задушишь, не убьешь».

На одной из ближайших дворовых свалок Вадим Петрович нашел кусок ребристого материала, потопал на нем ногами — проверка на прочность, — кусок не дрогнул, не согнулся, не треснул. Найти куски толстой проволоки было делом совсем простым. Конечно, он не знал, какие у Норы инструменты, но надеялся нарвать что-нибудь колюще-протыкающее, в крайнем случае сгодились бы и простые ножницы. Так что возвращался Вадим Петрович хотя и без хлеба, но все равно как добытчик.

«Я сделаю все до ее прихода, а потом уже схожу за хлебом», — думал он, радуясь ее радости, когда она увидит залатанную дыру. Потом она, конечно, найдет честных рабочих, и они заварят уже все как следует, но пока... Пока у нее не будет этой страшной возможности подойти к краю. У него закружилась голова от нежности к слабости «девочки», у которой для пищи одна-единственная «Галина Бланка», будь проклята эта курица-женщина во веки веков. Его жена даже с катарактой куда более приспособлена к жизни, и это была очень вдохновляющая мысль, если рисовать ту перспективу, которую уже начинал мысленно видеть Вадим Петрович.

Ребристая штука по размеру плотно, даже с запасом закрывала проем. «Как тут была», — восхищенно подумал Вадим Петрович. У него даже выступил на ладонях пот, хотя руки его всегда были сухими и жестковатыми. Но в минуты крайнего волнения или потрясения он мокрел именно ладонями. У каждого своя причуда. У знакомого Вадима Петровича в таких же случаях текли неумные и стыдные сопли, а человек он был весьма опрятный. Другой его приятель бежал от волнения в уборную по-большому и пару раз даже не добежал, что совсем ужас. Но разве можно предугадать потрясение? Разве знал он еще утром, что ему придет в голову идея ремонта? А потом карта сама ляжет в руки.

Перед тем как выйти на балкон и укрепить там все, Вадим Петрович подумал, что надо бы позвонить приятелю, чтоб тот не думал плохого, но сейчас, когда в голове поселилась мысль о некоем другом будущем, почему-то не хотелось объяснять, где он... Слишком все серьезно, чтоб говорить об этом по телефону. Надо сесть за стол, на диван... Чтоб видеть глаза.

Именно в этот момент его приятель стоял у своего телефона и не знал, что ему думать. Вчера вечером звонила жена Вадима, сказала, пусть возвращается домой и не морочит голову с федоровским институтом. Она сама нашла врача, в которого поверила сразу, и решила, что он, и только он, будет ее оперировать. И деньги он возьмет смешные, потому что он дальний родственник их невестки (а они и не знали!), но из тех дальних, что лучше ближних.

Вадима еще не было дома, но и время было десять с минутами. Жена сказала, что позвонит завтра с утра. Вот и позвонила. Пришлось что-то наплести. Приятель испугался сказать женщине, что Вадим не пришел ночевать. Он думал: «Мало ли?» Человек ежился у телефона, и мысли плохие, очень плохие бились в его голове. «Какая же ты сволочь, — думал приятель о Вадиме Петровиче, — если у тебя все в порядке, а ты не объявляешься».

Пришла его жена. Старая и единственная.

— Не звонил? — спросила. И добавила: — Лично я кобелизм исключая. У него для этого дела в кармане вошь на аркане. А за так теперь и прыщ не вскочит.

Нельзя думать плохие мысли. Никто не исчислял их энергетику, пусть даже малую. Никто не знает каналов устремления умственного человеческого зла. И очень может быть, что хватило малой толики ненависти, идущей от вполне порядочного человека, которого достала играющая гаммы соседская девочка, и он в сердцах подумал: «Чтоб тебя разнесло с твоим пианино». И разнесло. В другом месте.

На мысли своего приятеля, хорошего человека: «Какая же ты сволочь!» — Вадим Петрович уже летел вниз с Норинаго балкона. Проклятый ледок, что тормозил скорость машин на улицах, соединившись с истертой подошв Вадима Петровича, сделал свое дело. Плиточка пола на балконе была выложена с мудрым расчетом стекания воды. Микроскопическая ледяная горка для хорошо поношенной обуви.

С этим уже ничего не поделаешь, но это был праздник души милиционера Виктора Ивановича Кравченко. Он даже не мог скрыть, хотя и сказать впрямую не мог тоже — понимал: радоваться чужой смерти нехорошо. На этот счет капитан-психолог говорил совсем другое: «Надо возбуждать в себе радость победы посредством мысли о смерти врага». Но «упатый с балкона человек» — так было написано в рапорте — врагом не был. Он был стар, и он был жертвой. А с жертвой как понятием Витьку было не все ясно. «Жертва — момент преступления. Но если ты мертвый — не значит, что ты невиноватый. Если, конечно, не дитё или сосулька на голову».

Капитан-психолог — умный человек, но и он не может знать ответов на все вопросы жизни. Капитан длинноват от макушки и до пояса и коротковат в сторону земли. Виктору Ивановичу нравятся такие фигуры. Длинные ноги, которые теперь всюду показывают, вызывают в нем нехорошие чувства. Тянущиеся ноги, у которых нет конца и краю и карабкаясь глазом, по которым уже и не помнишь, с чего это ты тут оказался. Получается, что тебя подчинила длина и она унижает и оскорбляет тебя.

Низкорослые люди были милиционеру Виктору Кравченко понятней и ближе. Они над ним не высились. Они попадали с ним зрачок в зрачок.

1 ноября

К вопросу о зрачках.

В этих не было света. Совсем. «У нее же катаракта, — объясняла себе Нора. — Надо с ней поделикатней».

Но как? Как? Нора провалилась в вину, как в пропасть. С этим ничего нельзя было поделать. Вина и пропасть стали данностью ее жизни.

— Как это можно было самому починить? — спрашивал тот приятель Вадима Петровича, которому Нора в конце концов дозвонилась. Теперь он в присутствии мертвых зрачков жены покойного бросал ей как поддержку вопрос о несостоятельности ума Вадима Петровича, желающего самостоятельно заделать брешь в ее балконе. Ну, зацепись, дура артистка, за помощь, скажи что-нибудь типа: «Я ему говорила», «Я понятия не имела, что он задумал», «Мне и в голову не могло взбрести»... Но все эти бездарные слова уже говорились милиции, хотя даже тогда она уже знала: она их произносит «из пропасти вины». Это сразу понял молодой мальчик, как его там? Виктор Кравченко. Он наклонился над ней, над ее «коллодцем», куда она прибыла как бы навсегда, и смотрел на нее сверху черным, все понявшим лицом.

— Я ушла. Он остался. Я попросила его купить хлеба. Мы вечером заболтались. — (Фу! Какое неправильное, стыдное слово накануне предсмертия. Когда ты уже взвешен на весах...)

— Откуда он вас знал? — Естественно, женщина с катарактой думала только об этом.

— Когда-то, когда-то... в Ленинграде мы жили в одной гостинице. Знаете, как возникает командировочная дружба...

— Да, я помню, — сказала женщина. И что-то мелькнуло в ее лице как воспоминание радости.

...В ее жизни тогда был *голубой период*. Надо же! По какой-то цепочке продаж ей обломился голубой импортный костюм из новомодного тогда кримплена. Воротник и карманы костюма были отделаны черной щеточкой бахромы. Он так ей шел, этот наряд, что хотелось из него не вылезать, а носить и носить без передышки. Но голубой цвет маркий. Тогда она сказала: «Надо что-то купить еще голубое. На смену». И купила платье в бирюзу. Все тогда решили, что у нее появился любовник. Другой уважительной причины «нарядаться на ровном месте» люди не понимали. А она как спятила. Купила еще и голубую шляпку-феску с муаровым бантом-бабочкой на затылке. Лицо у нее тогда как бы оформилось по правилам — стало тоньше, овальней. У нее вдруг появилось ощущение собственной неизвестной силы, она даже не скучала, что так долго нет мужа. Ей было тогда с собой интересно.

Потом он приехал. Уставший и унылый. Он не заметил ее голубую феску.

Сейчас это уже не имело никакого значения. Ни эта артистка, ни этот несчастный балкон, ни даже смерть. Ее, имевшую однажды в жизни голубое счастье, прижало лицом к черному без края пространству... Хотя разве можно прижаться к пространству? В него падают, в нем растворяются, им поглощаются... Но нет. Ее именно прижало...

Собственно, зря они пришли к этой актрисе. Она на самом деле ни в чем не виновата, хватило бы осмотреть место, куда он упал, ее глупый муж, не способный починить бачок или прибить ровненько плитус. Но там, у подъезда, стояли люди, в них было столько радостной ненависти, что пришлось бежать на шестой этаж в квартиру.

Актриса впустила их и заплакала. Странно, но она поверила ее слезам, хотя тут же подумала: «Ну что такое *ей* заплакать? Их же этому учат!»

Потом они уходили, а люди подъезда так и стояли у дверей, прижатых камнем. Не похороны ведь, но все же процессия из трех человек. Женщина подумала: «Это они для меня. Оказывают внимание. Они не знают, что мне уже все — все равно». И она пошла со двора быстро-быстро, пришлось ее хватать за локоть. Ведь почти слепая в чужом месте, как же можно бежать, глупая?

— Датушки-датушки, — сказала кассирша Люся со второго этажа. Никогда еще чувство глубокого удовлетворения не переполняло ее так захле-

бывающе, что хотелось даже делиться избытком, и она сняла длинную белую нитку с юбки Анны Сергеевны и протянула ее, обвисшую на пальце, самой хозяйке: — Блондин к вам цепляется, мадам! Хотя по нынешним временам лучше их не иметь. Всегда найдется какая-нибудь подлая и делает ему шире.

— Стыд! — закричала Анна Сергеевна. — Такое горе, а вы!

— Да? — насмешливо ответила Люся. — Да?

У женщин бывает: они проникают друг в друга сразу, без препятствий, они считают текст не то что с извилин — тоже мне трудность! — с загугульки тонкой вибрации, не взятой никаким аппаратом науки. А одна сестра на другую глаз бросила — и вся ты у нее как на ладони.

Люся и Анна Сергеевна несли в душе одну на двоих общую радость: свинство в виде прыжка с чужого балкона их настичь не может. Они, слава богу, хоть и одинокие и у них нет мужей, но не могут допустить к себе чужих и случайных. А дальше большими буквами следовало: ...не то что некоторые.

Когда прощались возле троллейбусной остановки, жена Вадима Петровича сказала Норе странное:

— Я бы тоже хотела умереть на хорошем воспоминании.

— Сделайте операцию и живите долго. Вадим очень беспокоился о ваших глазах, — ответила Нора.

— Да? — спросила женщина. — Я его раздражала. Случалась бумага в супе. Недомытость чашки... Он не указывал пальцем, но начинал громко дышать...

На этой фразе она замерла, потому как неосторожно вырвавшееся это слово, «дышать», было тем самым, что отличало жизнь от нежизни.

Возвращаясь домой, Нора вспоминала, как застопорилась на слове «дышать» жена Вадима Петровича.

«Живые, — думала Нора, — обладают тысячью способами передачи информации, в которых слово — самое примитивное. Смерть — это невозможность передачи информации. Это хаос системы».

Она даже не подозревала, что обнаружит дома столько знаков присутствия Вадима Петровича. «Как наследил», — печально подумала Нора. На балконе она прижала принесенный им ребристый щит старой, с отслоившейся фанерой тумбочкой. Бреши не стало видно, даже возникла некая законченность в дизайне с ободранной тумбочкой — хоть ставь на нее горшок с цветами. В ванной Вадим Петрович оставил свой галстук, сам же, видимо, и прикрыл его полотенцем. Очешник, в котором лежал список московских поручений. Гомеопатическая аптека была на первом месте. Вот почему он оказался рядом с ее домом. Рядом была такая аптека. Остался полиэтиленовый пакет с газетой «Московские новости» и брелком-томагочи. «Господи, — подумала, — надо было посмотреть раньше. Это ведь для кого-то куплено».

Странно, но в ту ночь они не говорили ни о ком, кроме себя. Только сначала — жена и катаракта, и все. Потом — как оттолкнулись от берега времени. О чем же был разговор, если почти не спали? Нора стала вспоминать, набирался ворох чепухи. Вспоминали, как она тогда, давным-давно, выходя на поклон, зацепилась юбкой за букет роз, который получила другая артистка. Это были единственные цветы от зрителей, и Вера Панина была очень этим горда, хотя все знали: букет принес ее двоюродный брат, но Вера так с ним — с букетом — крутулась, что зацепила Нору и поволокла за собой. Кто-то тут же придумал плохую примету — шип хорошо годился для всяких мрачных умственных реконструкций. Но *Вадим того времени* предложил другое толкование: роза утащила Нору. Это было время Сент-Экзюпери и его Розы, от него могли идти только хорошие предзнаменования. И теперь можно сказать с уверенностью: тот шип ни-

чего плохого не означал. Еще Вадим Петрович вспоминал в ту ночь, как у него кончились чистые носки и рубашки, — конечно, не самое романтическое воспоминание для встречи после долгих лет, но ведь никто еще не научился руководить взбрыками памяти, она ведет себя как хочет. Но получилось, что именно носки и шипы сделали свое дело. Нора сказала: «У меня уже сто лет не было такой родственной близости, такого совпадения молекул». Они лежали обнявшись, у Вадима постанывало, похрипывало горло, а она забеспокоилась: у него сердечное дыхание, ему надо обследоваться, он себя запустил, и ей так сладко было думать о нем с нежностью. А потом он соскользнул с балкона, потому что у их истории не могло быть продолжения просто по определению. Не такие они люди... А какие?

И еще Нора думала, что никто ей не предъявил счет за потерю. Ни жена, ни друг-приятель. Как будто все заранее знали, что случится так, а не иначе и виноватых не будет. Но этот томагочи... Не доставленный неизвестно кому. Он пищал ей все время, она не знала, что делать. «Так я спячу, — сказала себе Нора, — надо взять себя в руки».

2 ноября

Вот из этих слов и надо понять, в каком она была состоянии. Она даже не заметила, что подъезд ей объявил газават. Иногда что-то бросалось в глаза: мертвое молчание лифтовых пассажиров — а какой до этого слышался щебет, пока не раздвинется дверь. Обойденные мокрой тряпкой пределы ее половика в коридоре. По первому разу это показалось смешным. Нора не принимала эти знаки как знаки войны; не принимала и подъезд как силу, ей противостоящую. Наоборот, люди всегда демонстрировали ей почтительность, если уж не любовь, во всяком случае, с их стороны было должное отношение как к человеку не простой, а, скажем, изысканной профессии, эдакого штучного товара их подъезда. Все как все, а она вот — артистка. Это было данностью.

Однажды Люся со второго этажа, будучи человеком, у которого мысль располагалась ближе всего к кончику языка, а потому на нем и не удерживалась, сказала Норе тихо:

— Я бы на вашем месте постеснялась...

Сказала прямо возле лифта, прямо на смыкании дверей, чтоб не дать Норе ни понять, ни переспросить.

Будь у Норы другое состояние души, она бы запросто могла вставить ногу в притвор, и еще неизвестно, чье слово было бы последним, но со дня падения Вадима Нора существовала в некоем другом измерении. В нем главенствовал четкий выход в ничто, хотя и задвинутый рифленой поверхностью. Душевная мука выходила дрожью, ознобом, а однажды она услышала странный звук, стала оглядываться — откуда, что? Выяснилось: стучали зубы. Суховато, как стучат деревянные ложки, когда ложкари входят в раж.

Как-то встретила этого молодого милиционера. Забыла, как звать. Он посмотрел на нее обличительно и громко втянул в себя детскую каплю, некстати обозначившуюся.

Она ушла с этим ощущением уличенно-обличенной. «Нашел, дурак, леди Макбет», — подумала Нора, но в душе стало мутно: она чувствовала себя виноватой. Леди такое в голову не пришло бы. Вина виделась так: она слишком много думала о Грише, бывшем мальчике с крутым завитком, который — возможно! — и был тем первым, упавшим у ее подъезда. Получилось: она сама создала проект смерти, умственный, гипотетический. И живая жизнь просто обязана была наложиться на ее чертеж. Нора думала, что позвонит еще раз по тому телефону, который знал Гришу, и вот в этот момент Виктор Иванович Кравченко, дернув тонкой шеей, посмотрел на нее так нехорошо. Дело в том, что накануне Виктор Иванович

впервые в жизни бил человека. Тип стоял за помойкой, что у детской площадки, с приспущенными штанами, и белая его плоть была столь стыдной и омерзительной, что, когда кулак Виктора Ивановича попал в голое тело, противность мгновенно поползла к локтю и выше и стала как бы захватывать его всего, и тогда, ударяя в этого молчаливо терпящего боль типа, Виктор Иванович стал стряхивать руку, как стряхиваешь термометр. Бил и стряхивал. Бил и стряхивал. Но тут сбрасывалась не ртуть — отвращение.

Потом пришло упоительное чувство успокоения. Все в Витьке размякло, расслабилось, каждой клеточке тела стало вольно. Он смотрел, как убегают этот кретин, на ходу застегивая штаны. Он ведь даже не пикнул, не издал даже малейшего звука, что говорило о правильности и справедливости битья за помойкой. «Рукоприкладство — вещь недопустимая, — говорил капитан-психолог. — Но жизнью это не доказано».

Когда Нора прошла мимо, Витёк обратил внимание на тонкоту ее щиколок (имея в виду щиколотки). Он представил их, обе, в объёме своих широких ладоней и как он держит артистку вниз головой в балконную дырку, и она признается ему криком из сползших ей на голову одежд: зачем она их погубила, двух мужиков, молодого и старого. Она признается ему, будучи вниз головой, в преступлении, и все потом поймут, что все было так самоочевидно, а увидел и понял он один. Витёк сжал кулаки... Ладонь стала влажной, линии судьбы переполнились живым соком и обратились в реки. Особенно полноводной была та, что являла собой долгожительство. С нее просто капало.

3 ноября

«Я ведь никого не стесняю... Я небольшого роста...» Всегда был комплекс, что она вровень с мужчинами, ну не так чтобы сильный комплекс — пришло ведь ее время, время длинноногих, маленькая женщина, можно сказать, потерялась среди женщин-дерев.

На этой же фразе — Нора почувствовала, как ноги будто подломились, — пришло ощущение (или осознание?): больше никогда никого не стесню. Ростом. Телом. Количеством. Буду жить боком. Левым боком вперед. Чтоб не задеть, не тронуть, не стеснить. Режиссер стал орать, что не этого от нее хотел. Что не нужна такая *никакая*, живущая боком, ему нужно ее притворство, ее лукавство. Такова женщина! «Никого не стесню» надо понимать как полную готовность стеснить любого до задыхания, до смерти.

— Да? — удивилась Нора.

После репетиции Еремин сказал, что если она с ходу, с разбега не заведет любовника, то спятит, что он это давно видит, с тех самых пор, как начали репетировать, что ее славное свойство — не принимать роль всерьез, а просто надевать, как костюм, — ей изменило. Она ведет себя как малолетка-первогодка, выжигая себе стигмы. Кому это нужно, дура?

Что он понимал, Еремин? Тогда, когда был Ленинград и Вадим Петрович, его еще в театре не было. Для него вся случившаяся история заключалась в словах: «Старый идиот взялся не за свое дело и рухнул. Конечно, жалко. Кто ж говорит? Но ты, Нора, его в проем не толкала. Тебя вообще дома не было». Как объяснишь про умственную дорогу, которую она построила вниз и сама к ней примерилась.

5 ноября

Она бы спятила от чувства вины, но случилось невероятное. Объявился Гриша.

Если бы она не разучилась к этому времени смеяться, то да... Повод был. Он был практически лыс, этот новоявленный Гриша. У него не то что излома волос, а даже намека, что излом такой мог быть, не возникало. Зато проявились уши. Они были высоковаты для обычной архитектуры

головы, и Нора подумала: «Рысьи». Хотя нет, ничего подобного. Уши как уши. Чуть вверх, но такими деталями и создается внешнее разнообразие мира. До извивов тонкой материи еще добираться и добираться, а уши — они сразу. Здрасьте вам!

К ушам прилагалась бутылка «Амаретто». Это-то соединение и стало ее беспокоить. Но потом. Позже...

— Я думал, думал, — объяснял себя Гриша, — но водка — было бы грубо?

Он нашел ее по телефонному номеру, что дала ему сестра из Челябинска и знакомые, у которых он остановился.

— Вы меня искали. У вас что-то случилось? — спросил он прямо, не понимая, почему она сейчас плачет, и сокрушаясь о ходе времени: в его памяти Нора была красивой молодой женщиной, от которой пахло духами. Эта же была стара, и от нее просто разлило мятной жвачкой. «Удивительно тонкий вкус. Зимняя свежесть».

Нора поняла, что ничего не сможет объяснить. Ни-че-го.

Гриша рассказывал о своем способе выживания. Он его называл «моя методка». Маленькие услуги большим клиентам. Нет, ничего криминального. Но кому охота мотаться, чтоб получить достоверную информацию о том и сем? «Я почти шпион, — говорил Гриша. — Взять, к примеру, кобальт...» — «Я тебя умоляю, — смеялась Нора, — давай не будем его брать. Скажи лучше... Тебе нравится так жить?» — «Вполне, — ответил Гриша. — Во-первых, я свободен в выборе. Во-вторых...» На «вторых» он замолчал, и Нора поняла, что есть только «во-первых», а процесс саморекламы «своей методки» у Гриши не отработан.

— Материально как? — спросила Нора.

— Свою штуку в месяц имею...

«А сколько это — штука?» — подумала Нора. Спросить было неловко. Теперь это не принято. Вполне может быть, что они думают на разные «штуки». Но после того, как Гриша оказался живой, свести разговор к деньгам было не то что противно, а разрушительно по отношению к ее радости. Мелкий свободный порученец Гриша закрыл своим живым телом черный проем ее балкона, и стало возможным думать, что смерть Вадима Петровича действительно случайна, страшна, трагична, но не ее рукой вычерчена. И тот, первый, все-таки бомж, просто задел ее перила, дурачок не смог спроектировать траекторию падения, потому как был пьяный, а то и хуже — накуранный незнамо чем.

Жизнь на глазах побеждала смерть, случай, что ни говори, уникальный, чтоб не сказать — неправдоподобный. Но ведь и Нора — человек странной профессии, в которой главное не то, что есть на самом деле, а то, что надобно назвать, изобразить главным... Нора удивилась бы, скажи ей кто, что раньше она никогда сроду не забывалась в роли, больше того — не верила, что так может быть у кого-то, сейчас же вела себя, в сущности, непрофессионально. Верила в чушь. И это уже второй раз. Первый — когда у нее на репетиции укоротились ноги от произносимых слов, а сейчас вот — от присутствия Гриши. Ей уже блазнится, что вообще никто с ее балкона не разбивался. Просто недоразумение. Раз Гриша тут...

Вот тут-то и стало быстро-быстро раскручиваться беспокойство. Вдруг ясно, до деталей, увиделись поворот головы, рысьи уши и доньшко бутылки. И между атропинным мальчиком и этим лысоватым шпионом новой экономики был еще один, которого она видела так четко и ясно. Легко все свалить на свойства актерского глаза: он уж высмотрит, он уж выковырнет. Издержки профессиональных накоплений. Склад забытых вещей. Но внутри что-то библикало.

Параллельно с этим пилось «Амаретто» — и выпилось. И она сказала Грише, что раскладушка вымерена и впритык становится к кухонному окну, так что...

Гриша ответил, что может спать на любом данном ему пространстве пола, раскладушка — это для его кочевой жизни почти пять звездочек. Нора подумала, что, пожалуй, представления о «штуке» у них одни и те же.

Она заснула крепко, как не спала уже много времени.

Виктор же Иванович Кравченко знал: у артистки ночует мужчина.

У него странно вспотела спина: будто кто-то мокрым пальцем поставил на ней точки. Витёк прислонился к косяку двери и потерялся.

— Чего это вы как животное? — ядовито спросила Анна Сергеевна. С той поры, как он грудью падал на ее пустые бутылки, в результате чего сбежала Оля и от нее ни слуху ни духу, Анна Сергеевна Витька не любила. Все в ней завязалось в странный такой узел, а зачем ей это, зачем? Получается — конца нет, вот опять явился не запылел милиционер и чешет спину об ее косяк, как какая-нибудь собака.

— Разрешите выйти на ваш балкон, — сказал Виктор Иванович, запомнив навсегда слово «животное». «Помнить — не забыть, — говорил капитан-психолог, — это не то что влетело-вылетело. Выдвинь в голове ящик и положи наблюдение».

«Положил», — подумал Витёк.

Его приятно удивила убранность балкона и отсутствие на нем новой опростанной тары. Он посмотрел снизу вверх и увидел след падения — как бы след сдвинутого с места мешка.

— Какое у вас мнение? — спросил Витёк Анну Сергеевну.

— Мое мнение будет такое, — четко ответила женщина. — Я на шахматы сроду бы не могла лечь спать. Значит, мы с ней разные. Я из другого мяса... Но сегодня у нее уже другой. Молодой. А времени прошло всего ничего...

В шахматы Виктор Иванович не врубился, но не переспросил, потому что за так, за здорово живешь, получил самую важную информацию. Спина была уже мокрая вся, он выскочил на свежий воздух и стал смотреть на Норины окна, взобравшись на крышу трансформаторной будки.

5 ноября

Гриша лежал на неудобной и коротковатой раскладушке, и ему было хорошо. Хорошо от неудобства тела. Что коротко. Что провалились чресла. Что комковатая подушка. Телу Гриши все это не нравилось, зато — о боже! — как хорошо было в том нежном пространстве, которое разные люди называют по-разному, а Гриша определял это место как «то, где кошки скребут», или попросту «скрибля». Как всякий ленивый человек, Гриша любил словообразования. Это занимало его и развлекало.

Последний месяц ему было ой как не по себе. Он потому и сбежал в Обнинск, где у него была в запасе нежная грудь, к которой в любое время можно было припасть. Грудь была вдовая, пожилая и даже собой не очень, но для случаев побега лучше не сыщешь.

Возвращался он в Москву осторожно, опасливо, сразу узнал, что его искала Нора, чуть было не сбежал снова, но потом стал наводить справки...

12 октября

Началось все с конфет. Девчонка торговала польской «Коровкой», а у Гриши они — слабость. Девчонка оказалась болтливая, разрешила за так попробовать и маковые, и ореховые.

— Вообще-то нельзя, — смеялась она. — Да ладно! Абдулла меня любит.

— Кто ж такую не полюбит! — сказал Гриша, но сказал так, для тона общения, потому что барышня была не в его вкусе. Крепковата на вид, а Гриша ценил в дамах ломкость и одновременно как бы и мягкость. Но

могли ли быть ломкими женщины, если они родились в городе Пятихатки? Девчонка даже паспорт показала — истинно Пятихатки, на фамилию внимания Гриша не обратил: зачем? А вот имя глазом выхватил — Ольга. То да се. Живет девушка у тетки, но хочет снять жилье («Видишь объявление?»), потому что тетка — зануда: никому не прийти, никуда не уйти. «Я ей кто — крепостная?»

Гриша — мастер цеплять слово за слово. Почти подружился.

Через несколько дней подошел еще.

Возле Ольги стоял мужик из этих, приплюснутых жизнью, когда уже не стригутся и не бреются. Ольга шепнула: «Земляк. Не может найти работу, а детей аж четверо. Сображаешь степень?» И она незаметно покрутила пальцем у виска. У Гриши детей не было, но он знал в жизни одну историю: как его маму с тремя детьми увел от мужа большой человек, воспитал их, а от родного папы как раз толку не было. Тут не сразуобразишь, где Пятихатки, а где Гришина мама, но поди ж ты... В каком-то тонком Гришином составе жило представление о Женщине-Подарке (пишется с большой буквы), которая не зависит от такой случайности, как муж-неудачник. Подарок, как эстафета, переходит к удачливым, ведя за собой детей, родственников и остальные бебехи. Сам Гриша потому и не женился, что, с одной стороны, он ждал такую же, а с другой — никакой логики! — совершенно не хотел нести последующие неудобства в виде чужих детей.

Гриша узнал, что звали земляка Ольги — Пава! Именно так его называла «коровница», уточняя: «Ну Павел он, Павел! Но Пава! Я знаю почему? Так все зовут!» Судя по всему, жена Павы Подарком, видимо, не была, если он торчал в Москве, зарастая густым волосом. «Продай свой скальп с кудрями!» — смехом предложил Гриша. Но Пава не понял юмора, потому как не знал слова «скальп». А когда Гриша объяснил, ответил, что продавал бы. Грише в тот момент стало даже как-то неловко, и он начал рассказывать, какие у него в детстве были волосы, не поверишь! меховая шапка! И где это все, где?

3 ноября

Могло ли ему тогда прийти в голову, что именно из-за волос его будет искать Нора? Ведь Нора ему ничего не сказала. И про разбитого Паву тоже. Хотя к теме волос возвращалась. «У тебя был такой крутой завиток!» — «И не говорите! — смеялся Гриша. — А ведь я еще, считайте, мальчик. Ха-ха. Однажды увидел себя на старой фотографии...»

Как говорила на все случаи жизни Норина гримерша: «Переспать — еще не повод познакомиться». С какой стати грузить на Гришу превратности собственной судьбы? Поэтому Нора ничего ему не рассказала ни про бомжа, ни про Вадима Петровича.

Гриша молчал тоже. Когда вышел на балкон и увидел прижатый тумбочкой рубероид, подумал: надо бы ей заделать дырку, и даже осторожно — вообще! — сказал об этом, но Нора просто закричала как полоумная: «Ни в коем случае! Я уже договорилась!»

Крик ее был неадекватен необязательности его предложения. С чего бы?

Теперь он провисал в раскладушке, радуясь тому, что история кончилась и он в ней — как выяснилось — ни сном ни духом.

...Ольга тогда сбежала. Так объяснила ему вчера ее соседка по лотку. Сбежал и Абдулла. Ольга ничего соседке не ответила, а Абдулла сказал, что, когда близко подходит милиция, надо уходить. И еще он сказал, что «боится белых русских глаз». Конечно, милиция должна была появиться, и у Норы в первую очередь, но она ничего про это. «А я тебя тоже не спрошу! Не спрошу!» — внутри себя весело кричал Гриша.

Хотя занимал вопрос: почему она ему звонила? Не раньше, не позже, а именно в момент этой истории? Но ответ был вполне складный.

— Знаешь, — сказала Нора. — Я ведь одна как перст. Тебя вспомнила маленького. Как тебе закапывали глаза. Какие крутые у тебя были волосы. Папу твоего... Как все у нас было хорошо, а потом плохо...

— А балкон у вас почему сломан?

Это было даже элегантно: с печали о себе перевести на грубую материю перил.

— Он был хлипкий сразу. А зимой такие были сосульки. Расшатали.

«Она думает так? Она не знает? Может, она даже не слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее взять? А перила на самом деле были на соплях. Пава только зацепился за них кочергой — и абзац. Почему-то сорвалась и веревка, и очень красиво летело полотенце».

17 октября

Тогда ведь как было. Ольга их пригласила к себе, потому что тетка утром ушла в собес, а оттуда должна была уехать на сорок дней чьей-то кумы.

— Приходите, — сказала Ольга. — Я возьму отгул.

Пришли поврозь. Так, чтоб никто не видел и не донес тетке. Ольга варила картошку, селедка лежала под щедрой охавкой фиолетового лука. «Коровка» дыбилась на блюдечке. Пава пришел пустой. Гриша взял «Монастырскую избу», на что Ольга печально сказала:

— В какие-то веки отгул...

Как-то так сразу стало ясно, что был мужской расчет на Ольгину бутылку.

Но та как отрезала:

— Я ставить не буду. Что принесли, то и ваше.

Поэтому было скучновато: ноль семь на три делится сразу и без остатка.

— А бутылки нет, чтоб сдать? — спросил Пава.

Ольга аж зашлась от хохота. Сказала, что уже давно не пещерное время, а бутылок как грязи на балконе только у таких идиотов, как ее тетка. Лежат с тех еще пор, когда та жила с сыном, а он «гудел» прилично, но потом так удачно женился, что теперь ни капли в рот, все время за рулем, но матери ни копейки, рожай детей после этого. С нерожания и перекинулся разговор на артистку, что живет сверху. Уже немолодая, а живота ноль, потому как никакая будущая свинья — сын или дочь — не растягивали ей стенки пуза, молодец женщина, предусмотрела последствия.

— Небось богатая, раз одна, — сказал Пава.

— Естественно, — ответила Ольга, — всю жизнь живет для себя — накопится.

Потом она показала журнал, где портрет артистки, и Гриша прочел: «Нора Лаубе».

— Да я же ее знаю! — закричал. — Идемте к ней в гости! Она была женой моего отца.

Такой возник азарт, что, уже забыв опаску — правда, к счастью, никто им не встретился, — взбежали на этаж и позвонили в дверь. Норы дома не было.

Бывает, опьяняет сама ситуация. Пробежка туда-сюда... Занимательность Гришиной истории... И такое пошло гулять у всех возбуждение, что естествен был итог: надо купить бутылку и еще закуску, потому как осталось две картошины и несколько вялых фиолетовых колец.

С Павы взять было нечего. Решили по-честному: Гриша идет за бутылкой, а Ольга — за колбасой. Паву в квартире заперли. «К телефону не подходи. Дверь не открывай».

— А это что? — спросил Пава.

— Кочерга, — ответила Ольга.

— Это я вижу. Зачем, если нет печки?

— Тетка открывает дверь с нею, — засмеялась Ольга. — Специально привезла из деревни.

— Пава! — сказала Ольга, уходя. — Руками ничего не лапай. Ладно? У меня тетка очень приметливая.

Они разбежались в разные стороны: Ольга в гастроном, где дешевле, а Гриша по ее указке в «кристалловский» магазинчик. «Принес „Избу”, можно подумать, дети», — сказала насмешливо.

С деньгами у Гриши было туговато, но он так возбудился новостью, что Нора рядом и он к ней непременно нагрянет, что по такому случаю решил не жмотиться. Пусть будет самая лучшая водка с лучшим винтом.

Когда он возвращался, у подъезда уже толпились люди. Он увидел Паву, полотенце, чуть в стороне валялась кочерга. Люди были так увлечены упавшим, что он на глазах у всех отпнул кочергу ногой, а потом, когда уходил совсем, отпнул ее еще раз. Он видел, как возвращается Ольга, но уже знал, что встречаться с ней не будет, что уйдет отсюда навсегда и ни одна собака его здесь больше не увидит. Гриша завернул за угол и исчез из жизни этого дома, подъезда, Ольги и этой дурной, напрягшейся вождедением смерти толпы. В какой-то момент ожидания автобуса он испытал просто лютую ненависть к Паве. А если бы тому удалось попасть в квартиру к Норе и его застукали?.. Гришу всего просто выкрутило — так ясно он представил, как его потом вяжет милиция, а затем обвал всей жизни, не сказать какой удачливой, но без всяких там яких. Жизнь у него в полном согласии с требованием нормы, пусть заниженной, приплюснутой временем, как у всех не преуспевших, но и не рухнувших окончательно.

По дороге побега в Обнинск он представлял, как дурным голосом кричит у подъезда Ольга, как будет она его ждать, как навалится на нее милиция (и на него, захочет, — тоже). «Не найдете, дорогие товарищи, не найдете», — молился Гриша.

А все было совсем не так. Увидев Паву, а потом пролом в балконе артистки, Ольга почти спокойно поднялась в квартиру, выкинула к чертовой матери пустую бутылку «Избы», на все повороты закрыла балкон, сокрушаясь над тем, как шагал бедолага по бутылочному развалу. В школе Пава был хороший гимнаст, черта выделывал на снарядах. «Таких не берут в космонавты, — говорил их физкультурник, — такие идут в циркачи!» Так это ж когда было? Теперь у него четверо детей. Уже не детей. Сирот. Ольга поклялась, что никогда не скажет жене Павы, как он погиб. Она понятия о нем не имеет. Ни разу в глаза не видела. Ни разу. А сейчас она выйдет на работу.

Но следующий день принес неприятности. К тетке приходил милиционер.

Она после этого сказала Абдулле, что уходит, так как без прописки и почему-то менты начали интересоваться.

— У нас человек в подъезде убили, так они теперь шныряют.

Абдулла хорошо ей заплатил. Она так и не узнала, что после нее так же быстро уходил в никуда и Абдулла.

А всего ничего: Виктор Иванович Кравченко лег живым животом на грязные бутылки.

6 ноября

Нора проснулась от ощущения, что троллейбус дернулся и остановился. Таких ощущений в ее жизни миллион, по несколько случаев на день. И с чего бы просыпаться с мыслью, что у нее не сходятся концы с концами? Да потому, что она однажды уже видела из окна троллейбуса Гришу с

бутылкой. Тогда она обратила внимание на выражение лица мужчины. Он стоял на остановке, ожидая троллейбус, в котором она ехала. Она подумала, что обидчивость мужчин недоизучена психологией. Умная женщина — даже не так, просто женщина — в мире проблем и отношений сто раз спрячет в карман и боль, и обиду, а мужчина набрякнет носом, заскрипит зубом, да мало ли? Их очень долго можно нумеровать, такого рода признаки. Этот ждущий троллейбус был, видимо, оскорблен сразу всем. И Нора подумала: «Ну что за порода...»

Она тогда вышла в заднюю дверь, а обиженный вошел в среднюю — какое-то время она видела донышко бутылки, которую он держал в руке. Она злилась на свою прилипчивую зрительную память, что без разбора копит все увиденные лица.

Сейчас она знала точно: тот человек с остановки лежал у нее ночью на раскладушке в кухне. Ее память признала его. Она, память, знала, что такой обиды лицо у сына от отца, вечно оскорбленного живущим без интереса к нему человечеством. Память же тогда угодливо подсунула ей и завиток на голове у мальчика, и она такое себе нагородила, увидев затылок разбившегося бомжа. Все так...

Но почему все-таки не сходятся у нее концы с концами, если так все складненько объясняет ум?

— Да потому, что, значит, он был тут в тот день и в тот час, когда погиб несчастный! — сказала Нора вслух, а Гриша во сне скрипнул раскладушкой, потому как был чуток.

Норе бы встать и сварить кофе, но как это сделаешь, если кухня занята? Она лежала, распластав руки и ноги, она беззвучным криком кричала тому Невидимому, который, оказывается, все давно знал. «Почему ты не надумил?» — было в тишине крика.

Вчера Гриша ей сказал, что встанет рано и уйдет тихо — у него нужная встреча. Это было вранье. Никакой встречи — надо было застать приятеля дома, до работы, потому как оставаться у Норы Гриша не хотел. А тут еще мудрое утро первым словом снова спросило его как бы между прочим: а почему все-таки мадам не рассказала, кто ей поручил перила? Гриша не подозревал Нору в каком-то злом умысле — боже избавь! Но то, что такой самоочевидный, можно сказать, просто публичный факт не называется... Надо согласиться: в этом есть нечто осторазживающее. Эдакое: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, — до бесконечности сокрытия...

Гриша оделся тихо, умылся бесшумно, когда шел к двери, увидел сидящую на диване Нору в облачении из шахматной простыни. Вид, прямо скажем, жутковатый. Фигурки казались черными фальшивыми собачьими костями. А Норино лицо, желтоватое, стекшее к подбородку, было невероятно ярким на фоне черных по белому костей. Эдакая яркость гепатита.

— Ты бывал раньше в этом доме? — спросила Нора. — Если точно, семнадцатого октября?

— Я? — сказал Гриша. — Семнадцатого? Но ты же мне звонила в тот день, я был в Обнинске!

Нора засмеялась. «Так попадаютса малолетки, — подумала она. — Он не может знать, в какой день я звонила... Тем более, что это было не раз».

— Гриша, расскажи, как это было!

Странное у нее лицо. Она все знает, тогда зачем ей его рассказ?

— Нора, о чем ты? — смеется Гриша. — О чем? Я уже бегу! Клянусь богом, я тут никогда не был, ничего не видел, ничего не знаю! — А сам уже крутит в замке ключ. Этому ему еще не хватало, тем более, если Ольга сбежала и никто не подтвердит его слов о том, что он пошел тогда за бутылкой. Нора, получается, его видела. Но что она видела? Что?

— Ты стоял на нашей остановке, в руках у тебя была бутылка, у тебя было испуганное и злое лицо... Я шла и думала: чье это лицо? Чье? Ты очень похож на своего отца. У него было такое же выражение, когда его не утвердил ВАК.

Что она сравнивает, идиотка?

Дверь наконец поддалась, и Гриша подумал, что именно этой идиотке он мог рассказать все, что было на самом деле. Если б она не соврала первая. Но она соврала. Все вокруг растет из одного корня — лжи. Все врут налево и направо. И он такой же. Денег на этом не наживает, но и врагов тоже. С кочки на кочку, с кочки на кочку... Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь. Я — ты, он — она, вместе целая страна...

— Нора! Я бегу! Закрой за мной.

Она идет к двери. Гепатит и фальшивые косточки.

— Гриша! Расскажи мне! Расскажи. Ты же знаешь.

— Целую вас, Нора! Вы такая фантазерка!

«Он знает, что случилось, — думает Нора, запирая замок. — Иначе зачем скрывать?»

«Черт знает что она теперь навоображает, — думает Гриша. — Еще решит, что я его скинул. Надо смываться отсюда навсегда. В милицию она не пойдет... Из-за отца... Какой-никакой, я ей слегка пасынок. Зачем я пришел к ней, дурак? Зачем?»

Виктор Иванович Кравченко, стоящий у подъезда, не оставил у Гриши сомнений в истинности именно этого умозаключения.

5 ноября

Витёк знал, что мужчина остался ночевать у артистки. Когда он вернулся в общежитие после того, как у нее погасли окна, у него свело в желудке. Посидев без толку на толчке, он понял: болит не там. Пальцем он подавил себе живот сверху вниз и с запада на восток. Боли как бы не было, но одновременно она и была. Тогда он решил, что просто голоден и надо поесть. В холодильнике стояло молоко и лежал кружок чайной колбасы. Он откусывал от круга и делал глотки прямо из пакета. Через пять минут пришли отвращение и тошнота.

«Надо следить за пищеварением, — говорил капитан-психолог, — камни кала могут способствовать неправильности исходящих мыслей».

Витёк лег на живот, дыша открытым ртом в подушку. Отвращение сосредоточилось в бегущей слюне, но почему-то стало легче мозгам. Он сумел заснуть как был, одетым, лицом вниз, а когда проснулся, то уже знал, что будет делать. Он ее спросит по всем правилам, и пусть она ему ответит по ним же. Пришел со смены Поливода и стал разуваться. Слабым внутренностям Витька вид мокрых ступней товарища был уже не под силу.

У подъезда артистки он столкнулся с выбегающим мужчиной. Тем самым, которого он приметил вчера.

— Предъявите документы, — не своим голосом сказал Витёк, потому что не ожидал встречи — раз, а два — он еще никогда не требовал предъявить вот так, что называется, на ровном месте.

У Гриши тряслись руки. Это было очень заметно и приятно сердцу милиционера. Хотя паспорт был как паспорт. Прописан в Челябинске.

— Вы тут по какому делу? — спросил Витёк.

— Был у знакомой. Проверьте.

Далее случился казус. Гриша по нервности назвал номер квартиры Ольги. Витёк переписал данные и отпустил Гришу. Только у квартиры Норы он увидел, что ему назвали другую квартиру. Этажом ниже. Витёк сбежал вниз и изо всей силы позвонил в дверь Анны Сергеевны.

Анна Сергеевна проснулась оттого, что сверху громко хлопали дверь. Вечером у артистки долго не спали. Грохотали в кухне. Двигали мебель. Она собиралась, одевшись, подняться и сказать об этом.

С того дня, как Анна Сергеевна «пасла работяг» в квартире Норы, она успела взрастить в душе приличного веса ненависть. Конечно, формально все началось как бы с шахматного белья, но Анна Сергеевна была воспитана в понятиях и отдавала себе отчет: само по себе любое постельное белье не может быть причиной такого сильного чувства. Но если бы только белье! У нее в ноздрях до сих пор запах Нориной кухни, не едкий, горелый, кофейный, что было бы понятно, — иной. Она ей сегодня скажет про ночные стуки-грюки, скажет прямо глядя в лицо.

Вот тут и позвонили в дверь.

Сколько времени прошло, как пропала ее кочерга, место которой было у дверного проема! Она ее специально привезла из деревни, взяла в избе, из которой люди уволокли все, что можно, но кочерга — предмет в хозяйстве единичный: если у тебя уже есть одна, зачем тебе вторая? Вот Анна Сергеевна и привезла никому не нужную деревенскую брошенку в столицу и приставила к стеночке у самой двери. Идешь открывать, а кочерга так складненько ложится в ладонь. Наверняка ее куда-то затырила Ольга, но зараза уехала — и ни слова, где ее теперь черти носят, в какие края подалась?

— Кто там? — громко закричала Анна Сергеевна, силой голоса возмещая отсутствие кочерги.

— Это участковый, — тихо ответил Витёк.

Он был весьма обескуражен неправильностью номера квартиры. Его охватил злой гнев, но капитан-психолог учил: «Тем больше тише говори, чем больше громче у тебя накопилось».

— Чего тебя с утра пораньше принесло? — спросила Анна Сергеевна. — Кочерга куда-то задевалась, а то б я тебе устроила сейчас ужас.

Слово ударилось об Витька и рассыпалось на буквы. Он собирал их вместе, но получалось, как в детской игре, — «агречок».

И тогда нарисовалась картинка: чья-то нога в линялой джинсе отбрасывает кочергу. Он шел и думал: «Абсолютно бессмысленный предмет для жизни в большом городе».

Его тогда подвезли по дороге. На происшествие. Он вылез из машины, шел... А тут нога. Штанина. Движение носком ботинка. Бряцанье. Тот самый день.

Витёк бежал вниз, забыв о лифте.

Анна Сергеевна кричала ему вслед, забыв, что рано утром на площадке не кричат.

Нора стояла в обмотанной простыне — сердитый крик Анны Сергеевны вслед милиционеру совпал с ее внутренним криком обо всем сразу: о Грише, который врал, о Вадиме, который оставил томагочи, о бомже, который, видимо, не бомж, потому что Гриша наверняка его знал, но Гриша бежал от ее вопросов, едва не сломав дверной замок. «О боже! Боже! Прости меня!» — кричит Нора голосом Анны Сергеевны.

Удивительное — рядом. Отпнутая Гришей кочерга так и лежала в канаве двора. Железяка, она и есть железяка. Витёк взял ее, грязную, своей чистой рукой и пошел в подъезд.

«Мыслительный процесс может начаться с любой никакой мелочи, — говорил капитан-психолог. — Нельзя исключать даже следа мухи».

На девятом этаже он снял с лифтовой шахты лестницу-стремянку. Вместе с нею и кочергой он вернулся к Анне Сергеевне. Та так и стояла у двери, другие квартиры тоже были открыты. В проемах замерли вызванные Анной Сергеевной на всякий случай свидетели.

Этого Витёк не ожидал, он не собирался ставить эксперимент на глазах у посторонних. Он ведь решал личную, глубоко задевшую его внутреннюю задачу. Поэтому, войдя к Анне Сергеевне, он, во-первых, выяснил, ее ли кочерга у него в руке, а во-вторых, предложил ей закрыть дверь, потому как «тут вам не театр». Причем эта его фраза к мыслям его о Норе отношения не имела никакого, это была бытовая, обиходная фраза типа: «Не ваше дело» или «Кто тут последний?».

Анна Сергеевна радостно узнала в лицо кочергу, но назад ее не получила, так как вместе с Витьком и стремянкой кочерга отправилась на балкон.

— Он тогда от вас шел, — сказал Витёк. — Я видел след. И я вас еще потом спрошу, кто он...

— Кто он? Кто? — Анна Сергеевна испугалась не слов — тона. Было в нем что-то пугающее, некая настырность: бедная женщина вдруг поняла, что не знает, с какой стороны ей оборониться и какую часть себя прикрыть.

Витёк же как раз все знал очень хорошо. Он верил, что у него получится. Он взойдет к актрисе через балкон и, значит, докажет возможность такого пути. И тут не важно — зачем? Важно: к ней шел убиенный.

Потом он разберется с хозяйкой кочерги — тут налицо уже все улики! Стоя на стремянке и кочергой отодвигая ребристую штуковину вместе с тумбочкой, Витёк сказал прямо в открытый рот Анны Сергеевны:

— Кочерга служила зацепом в квартиру артистки. Но ограда была на соплях.

Анна Сергеевна завывла жалобно и тонко, потому что правда милиционера всегда была и есть выше правды простой женщины-вдовы, которой вовек не доказать, что в ее дому сроду не было посторонних мужчин, охочих до актрис.

Но кочерга, кочерга... Плач о непонятном выходил из Анны Сергеевны жалобным вытьем. А чем же еще он мог выходить?

Нора несла на балкон мокрое полотенце. Иссекала себя горячими и холодными струями, а толку чуть. Шла в распахнутом халате. «Сейчас схвачу воспаление легких, — думала. И тут же: — А пусть! Пусть воспаление! Отчего-то ведь надо умирать». Он вырос как лист перед травой, гордый, грязный и с кочергой.

Она не испугалась. Она заплакала. Мог ли Витёк взять себе в голову, что был третьим человеком на земле, способным проследить Нору на ровном месте и сразу? Первым был Феллини. Вторым — Альбиони. Третьим оказался Виктор Иванович Кравченко с кочергой и при исполнении. Дальше история смутная. Ибо все не ясно. Могла бы Нора кинуться на грудь Феллини, взойди он к ней через окно? Но на грудь Витьку женщина кинулась. И было тут все сразу: и понимание отваги милиционера, проделавшего путь, который для другого оказался последним; и плач по Вадиму и бессмысленности его смерти; и тревога-обида о выросшем мальчике с рысьими ушами... Да мало ли...

Этот же был живой, теплый и грязный. Но главное — живой!

И он, *живой*, проделал весь путь, чтоб объяснить, насколько она не виновата в том, что мертвый человек обнимал ее полотенце.

Она так любила сейчас этого молоденького отважного дуралея, который пришел снизу. И теперь можно никому не говорить о Грише. Пусть его! И можно объясниться с соседкой, этой запалившейся на нее неизвестно за что женщиной. Она поговорит с ней потом. Обязательно.

— Голубчик вы мой!

Стоя в полураспахнутом халате, Нора прижимала к себе грязную форму Витька.

Витёк же опустил глаза и увидел эти экранные белые ноги, которые отделяла от него грубошерстная ткань штанов. Он перестал себя понимать.

Каким-то бесшумным, почти вкрадчивым движением он освободился от кочерги. Облегченная рука взяла на себя руководство ситуацией. Он не подозревал о ее храбрости: «Дурачок, ты ничего не умеешь», — смеялась Нора. Для действующего в неизвестной обстановке Витька это не имело значения. Пусть говорит что хочет. Правда, другой Витёк, тот, что остался как бы в пределах кочерги, был сцеплен зубами и запоминал все слова женщины. Уже зная, для чего они ему пригодятся.

— Какой ты запущенный, — смеялась Нора. — Давай я тебе вымою голову! — Еще она предлагала остричь ему ногти, почистить лицо — «У тебя угри, мальчик!», — сделать другую стрижку. Пусть говорит...

Расслабленный, опустошенный, он, казалось, уснул. Но что-то сильное, мощное толчками снова рождалось в нем...

Женщина поняла это неправильно и легко засмеялась своей пронизательности. Откуда ей было знать, что толчковая сила гнала его не к ней, а от нее. Витёк видел дверь, в которую он должен выйти. Там, за дверью, он поймет себя лучше, да просто станет самим собой, чтоб никакая б... Сказал ли он это вслух или просто громко подумал?

— Да остановись ты! — смеялась Нора. — Я не ем молоденьких.

Народ подъезда был на месте. Народ ждал. Солировала Анна Сергеевна. Она уже несколько раз повторила историю про то, как не спала ночью, про шум и бряк «у этой». Она объясняла, что милиция «не там ищет». С нею не спорили.

— Два случая с одного балкона, — кричала Анна Сергеевна и показывала людям два пальца, как бы не веря в силу слова произнесенного. — Два! — повторяла она. — Два! — И осеняла толпу своим двуперстием.

— Разойдись! — сказал Виктор Иванович Кравченко, увидев все сразу. Он произнес это с лету, как первое попавшееся, и угодил в точку. Они отпрянули — шаг в сторону сделал каждый. Только Анна Сергеевна не тронулась с места. У нее занемела правая нога и стала совсем неживая. «Как протез», — подумала она. И еще пальцы. Два вытянутых вверх для убедительности пальца не сжимались. Она испугалась не этого, а того, что люди заметят! И она улыбнулась им всем половиной лица, не понимая кошмара своей улыбки.

Нора поставила на место ребристую штуковину и прижала ее тумбочкой. Она видела людей внизу и уходящего милиционера. «Не побоялся», — думала она о нем с нежностью. И еще она думала, что, освободившись от несуществующей вины, она сможет наконец оплакать Вадима. Раньше не могла. У нее не получалось. Она поставила забытую кочергу у двери, чтоб, когда придет Виктор, не забыть отдать.

На слове «придет» Нора затормозила. Разве он нужен ей, этот мальчик? Нет, ответила она, это я ему нужна. Он такой запущенный. Он придет.

И тут она вспомнила еще одного мальчика, которого однажды всего миг видела по телевизору. Давным-давно, когда были приняты пафосные концерты детей в честь съездов партии. Стоял в приглушенном свете детский хор на сцене и ждал взмаха дирижерской палочки. И вдруг из первого его ряда вышел маленький мальчик и слепо, пошатываясь, пошел в темноту зала. В последнюю секунду, уже перед ямой оркестра, его перехватила выскочившая из-за кулис женщина и унесла на руках. Не дрогнул хор. Не вскричал зал. Не сбилось время концерта. Нора часто вспоминала этого ребенка. Что с ним было потом? И что произошло с его сознанием, когда он вышел из строя? Что потянуло его в черноту неизвестности? Маленький запутавшийся хорист... Может, ему захотелось пописать? Или он забыл, где он и кто? Возможно, теперь у него рысьи уши. Возможно, он стал милиционером. Возможно, он не вырос вообще.

Нора смеется. Какая мальчишковая дурь сидит у нее в голове. «Нет! — говорит она себе. — Это здесь ни при чем!» Что?

Как говорит ее абсурдистская героиня? «Пьеса банальна, а могла бы быть привлекательней, по крайней мере познавательней, правда ведь... Но...»

«Но» и «как бы» — ключевые слова нынешней речи.

Нора корчит гримасу. «Дура...»

5 ноября

Та сила, что толчками выталкивала из Витька расслабленность тела, завершила дело победой. По улице шел уже хорошо сконцентрированный милиционер. Все фишки стояли в нем по местам. Во-первых, он раскрыл тайну, как разбился бомж. Оказалось — эле-мен-тарно! Тетку с кочергой он прижмет теперь в два счета. Она определенно навела убитого на артистку. Больше некому. Во-вторых, эта самая Лаубе...

Если думать именно так — Лаубе, то можно победить в себе оскорбительную слабость. «Идя на задание, на выполнение долга, нижний член оставляй дома, чтоб не болтался между ногами». Капитан-психолог любил эту тему — низа и верха — как в милиционере, так и в простом человеке. «Преступления во имя низа и во имя денег — первые в нашем деле, — говаривал он. — Но низ в деле преступности хуже. Он есть у каждого в отличие от денег».

Витьку почему-то сейчас, когда он шел домой, все это казалось каким-то глуповатым, что ли... Он вспомнил капитана, его клочковатые, взлетевшие высоко вверх, не по правилам брови и это пространство между бровями и глазами... Непонятное пространство, не обозначенное никаким словом. Не придумали люди слова? Или не сочли необходимым называть диковину в строительстве лица капитана? Но кто он такой, чтобы ломать мозги для называния места на лбу начальника? Ладно, пусть... Пусть капитан не силен в словах. И пусть даже глуповат, но суть он знает. Ведь получается, он заранее предупредил, что наступит момент — и Витёк ослабевает перед женщиной Лаубе. Это ж надо иметь «такое фамилие!» Второй раз за последний час он споткнулся на странности фамилии артистки и испытал приближение открытия.

Первая его женщина — продавщица сельмага Шура — в глаза не смотрела и отдавалась в подсобке с легким отвращением к самому процессу. Не жалко, мол, на! Когда на третий раз Витёк заметил, что тело Шуры отвечает ему, он больше не пришел. Это совпало с уходом в армию, то да се. И Шура скорее всего не заметила, что Витёк больше не пришел, не потому, что его забрили, а по более тонкой причине. Потому что всхлипывать телом и широко открывать глаза женщине ни в коем случае не следовало.

С тех пор так и пошло. Возникали тихие, безответные тетки или равнодушные девчонки, выдувающие жвачные пузыри. Девушка из Белоруссии была не такая, с ней у Витька ничего и не случилось. Этим и еще ратущими вразнотык ресницами она и запомнилась.

Витёк не верил в Бога. Хотя временами Бог беспокойно задевал Витька. Его в жизни стало больше — целования, рясы, заунывное пение. Витёк хотел понять, зачем это людям, если ни одного доказательства?! Ведь никакого безобразия Бог не остановил, ни от чего страшного не уберег. Поэтому Витёк, голова которого не вмещала существование Бога, всегда радовался приметам Его отсутствия. Ага, ураган! Ага, дитё в колодец провалилось! Ага, и СПИДА дождались! Так где ж Ты есть, когда Тебя нет?!

Получалось, что Дарвин ближе. И человек — животное, и от обезьяны — вне сомнений, глазом видно. Но если уж надо продлевать человечество — пусть! Пусть *это* будет. Он согласен. Но без обезьяньего шума. Тихо. Женщина под мужчиной должна быть как бы мертвой.

Лаубе практически стояла перед ним голая. Она сама, первая, прижалась к нему длинными ногами. Она лапала его. Она смеялась и подсказывала ему, что и как... Она в этом участвовала без стыда!

Стоя под душем, Витёк плакал, потому что не мог отделаться от навязчивости воспоминаний. Он боялся, что пойдет к ней вечером. Он вспомнил, как стоял у ее дома тот покойный старик с букетом «в юбочке». Витёк понял, как близок к такому же позору ожидания. «Лучше смерть», — подумал он и испытал странное облегчение от возможности выхода из всего этого при помощи смерти.

Он даже запел что-то вроде: «Никогда, никогда я тебя не забуду». Он слышал эту сладкую песню в армии, ему понравилось.

Сейчас он пел без слов, мыча и высвистывая запомнившийся мотив.

Пусть она еще раз сделает с ним что хочет. Эта Лаубе, нерусский человек. Он позволит ей все ее умения.

Витёк всхлипывает. Его организму жалко Лаубе. Ему хочется ее трогать и нюхать. Но он не хочет быть животным! У него есть понятия. И он ставит их впереди себя.

По телу бежит вода, и тело ему не подчиняется. Оно живет своей жизнью — жизнью восторга. Оно просто расцветает на глазах у всех его понятий.

Витёк кричит в отчаянии счастья.

7 ноября

Вечером он купил в киоске запаянный в целлофан цветок. Витёк не стал спрашивать, как его звать, негоже это. У цветка была жирная головка, а по ней как бы разбегались сосудики с кровью. Гнусным был желтый язык пестика, что неприлично подрагивал внутри. «В мозги лезет одна похабель», — подумал Витёк. «В конце концов, око за глаз — это справедливо», — скажет он капитану-психологу, когда придет его время говорить.

Пока же он идет, положив целлофановый цветок под куртку. Он потому и куплен, хоть и дорогой, что незаметно прячется на груди.

И еще потому... «Слышишь, капитан? Как я все предусмотрел. Цветок на груди — мое алиби».

Когда он позволит Лаубе еще раз — всего один раз! — тронуть себя, он столкнет ее с балкона, но так, что никто на свете «не догадает его». Ибо милиционеры не покупают цветы неизвестных названий.

— Некоторым живым, — скажет Витёк капитану-психологу, — полезно быть мертвыми.

И пусть капитан с ополоумевшими бровями найдет, что ему на это ответить!

— Ну, — возможно, скажет он (он же не стерпит смолчать), — ты прямо мыслишь, как существуешь...



ЕЛЕНА УШАКОВА

*

БЕГЛЫЙ СЛЕД

* *

*

Знаете ли? У Сезанна Гоген уволок,
Выкрал, мошенник, как Поль это в шутку назвал,
«Маленькое ощущение», частицу, глоток
Счастья, открытие, чувства горячий накал.

«Он эту штучку мою на корабль потащил,
Через Америку, Англию, в дальней глуши
Чайных плантаций использовал что было сил
Собственность, слепок моей оскорбленной души...

К неграм, малайцам, в их темный неразвитый стан;
Плоское стало пространство, и, словно в тюрьме,
Свет без объема», — так сетовал слезно Сезанн;
Эти признания трогательные в письме

Частном случайно находим; спешим по следам
Нервным художника, красноречивым, самим
Роком как бы покаянно подброшенным нам —
Во искупление печальной вины перед ним.

Женщин боялся, до странности был одинок,
Прикосновений чужих, как ножа, избегал,
И порицали товарищи, сбившись в кружок:
«Вы сумасшедший», — кому-то в лицо он сказал.

Дружбу ему предлагают Моне, Ренуар...
Боже мой, только земля, только Экс, акведук,
Красное кресло, террасы горы Виктуар,
Только Марсельская бухта — товарищ и друг.

Яблоко только и персик, сосна и Прованс
Знают, как нежен, как сердцу привержен, уму
Точен, и только портрет простоватой Ортанс
Знает, как прав и как мы благодарны ему!

* *
*

Их разговор как будто шел по схеме
 Всегда одной и той же. Женский голос
 Бросал, казалось, вызов, главной теме
 Потворствуя, и вел, как след, как полоз
 На девственном снегу; мужской покорно
 Лишь следовал и вторил приглушенно.
 Затем места менялись: в роли горна
 Призывного вставали возмущенно
 Басовые тона и голос низкий
 Протестовал, а мальчик (сын) их слушал,
 Завороженный; словно бы записка,
 Ему предназначавшаяся, в уши
 Была засунута, и слов не видно.
 И каждый день все повторялось снова:
 Родительский диковинный, обидно
 Неясный, интригующий, без слова
 Дуэт и жгучий интерес, который
 Ребенок охранял, не потакая
 Соблазну выяснить, о чем в ту пору
 Шла речь: ее мелодия слепая
 Вливалась прямо в душу. Так, с оглядкой,
 Слепыми пробирается путями
 Познание, мы питаемся догадкой,
 Запреты устанавливая сами
 Себе; и это знание тревожней
 И слаще нежных тремоло и терций
 Скрипичных, и смычковым бездорожьем,
 Бесцельное, оно проникнет в сердце.

* *
*

Приподнялась дорога,
 спустились облака,
 лишь встречного бульдога
 боюсь, и то слегка,
 на жизнь держу равнение,
 на будущее, вот,
 и на преодоление —
 коряга, поворот —
 как уплотненный воздух
 толкает в грудь и лоб,
 как ладно, сладко создан
 вот именно трехстоп-
 ный ямб, сейчас четыре
 и пять мне широки
 Твои стопы, и шире
 не надобно строки,
 все поместилось в узкий
 волнистый, беглый след,
 и детства абрис тусклый,
 и брошенный браслет
 в траве, листва, кустарник,
 цикорий, иван-чай,

чертополох, татарник,
 крапива, и отча-
 янный рывок — как будто
 внезапный страх и стыд,
 но радость: незабудка
 со мною говорит;
 в конце концов, ведь пища
 культуры — стыд и страх,
 и если ты не ищешь
 защиты в облаках,
 на вежливой бумаге
 переплыви Ла-Манш,
 дается бедолаге
 тебе такой реванш;
 не то чтоб жизнь иную
 я вижу и любовь
 (на дикую, чужую
 мне подменили кровь),
 но в душу проникает
 какой-то новый свет,
 когда рука сжимает
 твой руль, велосипед!

* *
*

И всегда-то мое детство в залах эрмитажных
Семенит за мной, — у пляшущих сатиров, в переходе, возле Ганимеда
Вспоминаю своего отца, молчащего, не повторяющего дважды;
Путаницы не любил невнятной, лихорадочного возбуждения и бреда.

Мне рассказывал студент физфака и товарищ мой по классу:
«Всеволод Гордеевич читал, опорные слова нажимом
Выделяя, аккуратно завершая фразу,
На параграфы всю статистическую физику разбив, в согласии
с регламентом, режимом».

Был всегда логичен, смутному волнению не доверял, слепой надежде...
Подойду к базальтовому черному Веспасиану, встану с края.
Здесь свою ладонь в его руке я чувствую, как прежде.
Прямо голову держал, Эйнштейну Бора нерасчетливо предпочитая.

Здесь его глаза стальные зажигались весело при взгляде
На орлиный профиль, шею мощную и губы, сложенные твердо.
Прихожу суда минуты этой ради.
Складки каменные кожи императора, родные фьорды,

Хочется тайком потрогать. Так приходят, знаю,
Гладят памятник могильный, для того и годный,
Чтобы дань отдать, и пусть подальше будет, с краю,
Чтоб уйти, не думать, быть свободной.



ЛАРИСА МИЛЛЕР

*

СИК ТРАНЗИТ

* *
*

И мы залетные, и мы
Сюда однажды залетели
Без ничего, без ясной цели
На яркий свет из полной тьмы,
Зимой, летом — кто когда —
Однажды залетели в сети,
Чтоб долго биться в них и в нети
Вновь ускользнуть спустя года.

* *
*

«La vie»¹, — поет Эдит Пиаф,
«La vie, la vie», лови мгновенье...
И этот голос вечно прав,
И не грозит ему забвенье.
«La vie», — поет она, где «la»
Артикль, а само-то слово
Настолько коротко — земля
Не слышала короче зова.
«La vie», — поет она, на крик
Срывается, на крик гортанный.
Лови, лови же этот миг,
Нам для чего-то кем-то данный.
Да хоть и данный, что с того?
Нам только снится обладанье,
Лови, лови, лови — кого? —
Наикратчайший миг свиданья,
«La vie», — как веткой по лицу,
А может быть, по венам бритвой...
И жизнь опять идет к концу
И завершается молитвой.

Миллер Лариса Емельяновна родилась в Москве. Окончила Институт иностранных языков имени М. Тореза. Автор восьми книг, из них две — поэтические, остальные книги составили проза, стихи, эссеистика. Живет в Москве.

¹ Жизнь (франц.)

* *
*

Ах, тонус, тонус, нужный тонус —
Его поддерживает конус
Мороженого в жаркий день,
Его поддерживает тень
В жару, а убивает Хронос,
Чей нрав неумолимо крут:
Сегодня ты как будто тут,
А завтра неизвестно где ты —
Не то на середине Леты,
Не то попал на Страшный Суд, —
Ни то, ни это, и, увы, —
Все эти мысли не новы,
Как, в общем-то, любые мысли...
Жара, но облака повисли,
Желанные, над головой,
И если ты еще живой,
И если сливки не прокисли
Вчерашние, — себя потешь:
Смешай с клубникой да и съешь.

* *
*

Разыгралась непогода,
Все стонало и гудело,
В царстве полного разброда
Лишь разброд не знал предела,
Все стонало и кренилось
В этом хаосе дремучем...
На ветру бумажка билась —
Кто-то почерком летучим,
Обращаясь прямо к миру
Без затей и без загадок,
Написал: «Сниму квартиру.
Гарантирую порядок».

* *
*

Хлестал он по спинам, по спинам,
Струился по саду с жасмином,
Стекал по лицу, по лицу,
По крыше стучал и крыльцу,
Не шел он, а бешено несся
По саду, что дивно разросся,
Он шарил в траве и кустах,
И был он у всех на устах,
О нем (о мгновение славы!)
Шептались и листья и травы,
Он кончился в десять утра...
Сик транзит, сик транзит, сик тра...

Урок английского

А будущее все невероятней,
Его уже почти что не осталось,
А прошлое — оно все необъятней,
(Жила-была, вернее, жить пыталась),
Все тащим за собой его и тащим,
Все чаще повторяем «был», чем «буду»...
Не лучше ль толковать о настоящем:
Как убираю со стола посуду,
Хожу, гуляю, сплю, тружусь на ниве...
— На поле? — Нет, на ниве просвещенья:
Вот аглицкий глагол в инфинитиве, —
Скучает он и жаждет превращенья.
То stand — стоять. Глаголу не стоится,
Зеленая тоска стоять во фрунте,
Ему бы все меняться да струиться.
Он улетит, ей-богу, только дуньте.
А вот и крылья — shall и will — глядите,
Вот подхватили и несут далёко...
Летите, окрыленные, летите,
Гляжу вослед, с тоскою вперив око
В те дали, в то немислимое фьюче,
Которого предельно не хватает...
Учу словцу, которое летуче,
И временам, что вечно улетают.



МИХАИЛ БЕЛЕНЬКИЙ

*

ОБСЕРВАТОРИЯ

Уроки ясновидения

РАЗОГРЕВАНИЕ ЛУНЫ

Николай проснулся одетым, ощупью нашел чемодан, вышел на улицу и открыл глаза. На горе Святого Давида догорали смоляные бочки. Если минута боли и страха, подумал он, если минута боли и страха не имеет конца, то какая мне разница — сначала жить, а потом умереть или сначала умереть, а потом жить? И почему Господь в черные минуты не дает душе успокоиться на черном? Зачем краски, лица и буквы? Пусть сойдут краски со всех моих клеенок! Пусть никто и никогда не позовет меня: «Николай! Иди сюда, Николай!»

— Николай, иди сюда, Николай! — позвал с другой стороны улицы духанщик-мингрел. — С Новым годом тебя! С новым веком! Зайди выпей — смягчи сердце. Я угошу.

— У тебя сегодня были гости? — строго спросил Николай.

— Никого не было — первым будешь.

— С огнем играешь, семейный человек. Беду в гости зовешь.

— Заходи, Нико! Я пошутил. У меня уже Акоп был с подарками. Заходи спокойно.

В пустом темном духане откуда-то шло тепло, но огня не было видно. Мингрел поставил на стол кувшинчик с вином и глиняные чашки. Николай отодвинул вино и тихо попросил:

— Налей водки в стеклянный стакан. Я отработаю.

Он выпил водку, огляделся и увидел огонь в углу. Повертел в руке пустой стакан и важно произнес:

— Пусть стечет краска со всех моих картин. Я нарисую лучше. Была бы черная клеенка.

— Клянусь Богом, — перекрестился духанщик, — в Тифлисе много клеенки. На сто лет хватит!

— А горькой души на сто лет хватит?

— Зачем горькой, Нико? Новый год. Хороший век наступает. Завершающий! Все живы будем, все здоровы будем — сначала мы, потом дети наши, потом внуки...

— Зачем мне теперь счастье? Я художник. Что я с ним делать буду? — Он потыкал пальцем в темный угол духана. — Раньше сколько раз казалось: во-о-н из дальней тьмы плюнул в меня этот верблюд...

— Какой верблюд?

— Удачный верблюд. Прямо в меня плюнул.

— И что?

— Не долетает.

Николай пошел размахивая ненужным в праздничный день фанерным чемоданом, держа неизвестно зачем путь на Пески и дальше — к Авлабару. На узкой улице возле реки остановился. Заняв всю дорогу, двигалось братство городских плотников. Они поднимались на гору, одинаково наклонившись и одинаково переставляя чугунно-согнутые ноги. Несли цеховое знамя с Ноевым ковчегом и голубем. Несли тарелочку, в которой еле помещалось огромное яблоко, утыканное серебряными монетами. Шли поздравлять своего старшину. Это можно нарисовать, подумал с тоской Николай. Можно, если только...

Он перешел реку и заспешил, почти побежал, потому что здесь был проклятый духан, где он не убил, но убивал. Зачем только ноги принесли его сюда?! Он ударил правой ногой по левой ступне, потом левой — по правой, но, не в силах повернуть назад, продолжал бежать все туда же никуда, только согнул шею и повернул чемодан крышкой к себе. На крышке был яркий господин в цилиндре — по нему Николая узнавали даже из-за реки. Пролетел мимо. Никто его не окликнул. Никто.

Тогда духан был полон. Он выпил первый стакан и рисовал. За спиной стояли люди, но Николай не оглядывался, потому что олень уже открывал на эту жизнь свои кроткие, тихие глаза. Вдруг дикий Киликашвили взвизгнул от восторга и схватил глаза пятерней. Потом захрипел, посмотрел на испачканную руку и вытер ее о плечо Николая. И тьма вступила. Когда опомнился, увидел людей, державших его. Увидел Киликашвили. Водонос стоял посреди заведения, надувшись и положив руки на кинжал. Отпустили, и он побрел к выходу. Еще порога не перешагнул, а уже все заорало, закипело — кто-то бил Киликашвили, кого-то бил водонос. Потом, наверное, все помирились, стали пить вино и петь песни. Ничего не попишешь — захотел крови. Даже когда отпустили, просил: «Убейте его кто-нибудь — мне ведь нельзя». Как сильно захотел!

Авлабарский базар гремел музыкой и криками. Николай на мокром пне обнял свой чемодан с красками и черной клеенкой. Да, крови. Абраги убивают, солдаты убивают, разбойники убивают, социалисты убивают... Любой человек может стать кровником и убивать. Водонос печальному оленю хотел глаза вырвать. Всем можно — мне нельзя. Какая странная судьба!

Площадь торговала и веселилась. Николай поднял голову, поправил усы и двинулся от музыки к музыке, от прилавка к прилавку, все так же быстро, не останавливаясь, пока не увидел бочку сияющих черных маслин. Обошел ее вокруг и даже постучал сапогом возле днища.

— Что стучишь? — протянул к нему руки продавец.

— Хорошая бочка — не течет!

— Ходишь бочки проверяешь?

— Нет, я когда маслины вспоминаю, собак жалею.

— Давно жалеешь?

— Полтора года жалею.

— Доктору Хачикяну не показывался? Покажись — мы всем Авлабаром деньги соберем. И люди, и собаки.

— Что я — сумасшедший?

— А кто ж ты?

— Я не сумасшедший пока еще!

Собаки и маслины — Солдатский базар. Прохудилась огромная бочка с греческими маслинами. Вытек в землю рассол, и торговец, испробовав все — проклятия и молитвы, — ушел прочь, чтоб не видеть, как царский товар теряет блеск и ссыхается на жаре. Налетели мальчишки и, в одну минуту объевшись маслинами, начали швырять их пригоршнями друг в дружку, в прохожих и собак. Трехногая паршивая собака, подавившись косточкой, уже задыхаясь, все щетинилась под градом маслин, все пыталась рычать и лаять... До самого конца. Пока не сдохла. Так какая же мне раз-

ница, снова подумал Николай, сначала жить или потом, если это мгновение нестерпимо? И какая разница задохнувшейся собаке?

— Чем чужие бочки проверять, иди свою голову проверь! — кричал вдогонку владелец крепкой бочки. — Куда бежишь? Скажи, куда бежишь?

Николай бежал назад — к реке. Проклятый духан, мост, и опять встал, споткнулся на узкой улице. Теперь мусульманские похороны заполнили ее от стены до стены. Мужчины вели коня в серебряной уздечке, под новым седлом и узорным чепраком. На седле — красная чоха, у седла — кинжал, ружье, шашка и пистолет. На луке — черная папаха. Несли священные знаки на разноцветном шелке. Несли девять подносов с угощением — пировать на могиле. Несли покойника. Прошли, держа положенную дистанцию, закутанные в покрывала женщины. Потом путь перегородила коляска. Рослый пожилой господин с бородой и длинными волосами толкнул извозчика тростью в спину, потом той же тростью указал на чемодан в руках Николая:

— Это что же, милый друг, за сооружение? Так, брат, нельзя. Видел когда-нибудь настоящий чемодан? Вот смотри. — Он постучал по желтому кожаному чемодану сзади себя. — Это чемодан. Если у тебя, предположим, фанерное изделие, так оно тоже должно быть чемоданом, а не ящиком с ручкой. Чемодан делает человека путешественником, а ящик — люмпеном. Ты кто?

Николай тронул усы и улыбнулся:

— Я живописец, батоно.

— Маляр?

— Живописец.

— Ты, брат, не упрямясь и не стыдись. Если ты маляр, то можешь, конечно, переносить свой инструмент в ящике, как плотник или сапожник. А если живописец, изволь носить мольберт. Мой друг Илья Ефимович Репин носит мольберт. Я вот путешествую и для этого сделал себе чемодан. Сам, учти, сделал. Иди сюда — пощупай.

Николай погладил чемодан:

— Хороший чемодан, батоно, приятный.

— Нравится?

— Очень нравится.

— Спешешь куда-нибудь?

— Спешу время убить. Праздник есть — заказов нету.

— Праздник? Ах да! Новый год, новый век. А я из Парижа еду со Всемирной выставки. Попутчик уговорил на Кавказ заехать, а сам куда-то пропал. Все-то я перепутал да перезабыл. Кабы ты знал, живописец, сколько у меня в Петербурге дел. Но коль прибыл, надо город смотреть. Гм! Тифлис? Я правильно ориентируюсь?

— Тифлис.

— Да, Тифлис... Однако, доложу тебе, шампанское — коварный химикат. Запросто можно стариковскую честь уронить. И главное — рассолом опохмеляться глупо! Как ты думаешь?

— Ничего страшного, Тифлис — красивый город.

— А ты со мной покатаешься?

— Покатаюсь, если просишь.

Николай поставил своего господина в цилиндре рядом с желтым чемоданом, влез в коляску и, перед тем как опуститься на сиденье, сказал:

— С Новым годом тебя, странствующий чемоданщик! Меня Николай зовут.

— А меня — Дмитрий Иванович. Только я не чемоданщик, а химик.

— И я не маляр, а живописец.

— Тогда покажи хоть одну картину.

— А ты покажи хоть одну химию!

— Вот моя химия. — Дмитрий Иванович встал во весь рост и втащил в коляску чемодан. Бросил на сиденье и расстегнул ремни. — Вот. — Он достал книжку и сунул в руки Николаю. — Остальная — в Палате мер и весов, и куда ни плюнь — везде моя химия.

— А вот моя картина. — Николай перегнулся на запятки и развернул свой чемодан. — Это — джентльмен. В любом духане — моя картина. И никто на нее не плюет.

Дмитрий Иванович взял джентльмена обеими руками и отставил как мог далеко от глаз. Коляска накренилась.

— Господа милые-хорошие, сядьте за-ради бога или сойдите с экипажа, — заплакал настоящими слезами извозчик, удерживающий лошадей на крутом подъеме. — Давайте я вас лучше в «Гамлет» отвезу, ежели вам срочно плюнуть надо. Или к барышням.

Поставили чемоданы на место, уселись. Коляска въехала на мост и через Пески повезла седоков на Песковскую улицу. Николай молча отдал книгу. Дмитрий Иванович молча взял. Украдкой взглянули друг на дружку и усмехнулись. Из лавок, пекарен, кузнечных и сапожных мастерских то и дело раздавался громкий стук.

— Что за грохот, живописец?

— Люди мир спасают.

— От кого?

— От Артавадзе спасают.

— Какой такой Артавадзе? Он у них под прилавками прячется? Злодей?

— Не злодей, батоно, — богатырь. На горе Масис прикованный живет. Весь год оковы растягивал, в ниточку растянул, а они стукнут об прилавок — и снова прежние цепи. Странная судьба.

— Зачем же они злему делу помогают?

— Себе помогают. Артавадзе большую ярость накопил. Весь мир может разрушить. Стучат, чтоб он один мучился.

— То есть ни в коем случае нельзя ему цепи терять?

— Нельзя, батоно Дмитрий.

— А вдруг вырвется?

— Не дай бог!

— Боюсь, вырвется, — закручинился химик. — Напьются, забудут стукнуть... А то и сами полезут на гору Масис цепи пилить.

Проехали Куки, свернули влево, опять переехали реку, разошедшуюся по трем рукавам, и вынеслись на Головинский проспект.

— Да тут у вас почище, чем в Европе. Шикарные заведения. Давай перекусим.

— Нет, я пойду. Не обижайся. Мне бежать надо.

— Куда бежать?

— Просто бежать.

— А я тебя не обидел?

— Не обидел. Не по пути нам — я, понимаешь ли, сразу во все стороны бегу.

Николай снова пошел в Куки. Брел по Николаевской вдоль безлюдных садов и думал, почему не хочется плотников на картину. Наверное, потому, что они недоделанные. Он же не Господь Бог, чтобы недоделанных доделывать. Его дело настоящие картины писать, чтоб были как стены, на которых висят. Чтоб тянуло заново все перерисовать — вместе с веревкой и гвоздем.

Сел на лавку, обнял чемодан и смотрел далеко-далеко сквозь деревья, как идут в его сторону два человека. Идут, останавливаются, снова идут, отбегают друг от дружки, снова сходятся... Это были, сразу видно, новые молодые люди, не кинто и не карачохели. Плечи и голову они держали, как, наверное, в Европе держат. Ученый спор, подумал Николай. Ученые

юноши с хорошей судьбой. Приятные... И он забылся, уронил голову. Поднял глаза — они стоят в трех шагах, не видя его.

— Ну хорошо, — сказал один из них, рыжеватый. — Я с этим не буду спорить. Пусть ты прав. На первых порах сгодится и такая позиция, хотя она откровенно половинчатая. Итак, ты считаешь, что воля Бога на земле не проявляется. Уже этого достаточно для переустройства общества. Есть возможность. Ты слышишь, Георгий, нам никто не может помешать!

— Ты смелый, потому что Бог за них за всех не заступится. Это нечисто.

— Да нет никакого Бога! Ни земного, ни вселенского. Твердолобый болван! Пока ты скитаешься по пустыням и ищешь древнее знание, пока заглядываешь в задницу своим йогам, миллионы будут умирать от голода, холода и непосильного труда, человечество будет стонать под властью кучки ничтожеств!

— Иасабэ, ты власти хочешь.

— Георгий, такие, как ты и я... Мы наперечет. Мы должны быть вместе.

— А потом ты меня убьешь.

— Постыдись, Георгий.

— Убьешь, если пойду с тобой. Но я не пойду. Я разговариваю с тобой затем, что считаю нужным распространять открывшиеся мне крупницы знания. Слушай. Воля Бога на земле не проявляется, но земное существование не бессмысленно. Все люди, все живые существа в течение жизни накапливают энергию и, умирая, отдают ее на разогревание Луны. В этом часть Божьего промысла, а весь он не известен никому.

— Идиот! Откуда ты это взял?!

— Я очень внимательно заглядывал йогам в задницу. Все! Желаю, чтобы вашу сходку накрыла полиция.

— Не говори так, Георгий! Я всегда сумею себя обезопасить. Ты с огнем играешь.

— Я играю со своим огнем, Иасабэ. Со своим.

Георгий пошел прочь. Рыжеватый сделал шаг вслед, глубоко засунул кулаки в карманы и застыл в неподвижности, что-то бормоча. Вполне внятно послышалось:

— Этот город играет со мной в игрушки. Он доиграется.

Слабость, заставившая Николая склонить голову на чемодан, не уходила. Он снова забылся. Разбудил голос рыжеволосого, который низко, вплотную склонился к нему и четким шепотом твердил:

— Нам не по пути с магами и мистиками. По сути, их позиция смыкается с позицией ортодоксальных мракобесов. Я тебя где-то видел. В железнодорожных мастерских. Ты там работаешь?

— Уже нет, дорогой, уволился я. Здоровье слабое.

— Сюда как попал?

— Сначала пешком, потом на коляске, потом опять пешком.

— Следишь?

— Следил, пока не задремал. Ты с другом оттуда пришел. Шли беседовали. На Луну хотели лететь. Что там делать, дорогой? Лучше выучись на врача. Богатым будешь, как доктор Хачикян.

— Я вспомнил. Ты был кондуктором. Теперь картины рисуешь. У тебя хорошая работа есть про бездетного миллионера и многодетную вдову. Сочувствуешь несчастным?

— Очень сочувствую. Бездетный человек — всегда горемыка.

— Миллионер — горемыка? А вдова — не горемыка?

— Вдова может замуж выйти.

— Ты какими глазами на жизнь смотришь? Ты понимаешь, что нас душил власть денег? Ты что, миллионеров любишь? Ты начальство любишь?

— Я так скажу: даже самому лучшему начальнику *один* глаз можно выбить!

— Почему один?

— А сколько надо?

— Много надо! Очень много. Слушай, кондуктор, а с чего это ты на коляске колесил?

— Меня один химик из Петербурга катал. Он в Тифлис случайно прибыл из Парижа. Хороший старик, всем желтый чемодан щупать дает. Химию свою в книжке показывает. Дмитрий Иванович.

— А фамилия у него какая? Менделеев?

— Не знаю, дорогой. Какая разница. Может, ты его попутчик? Он попутчика потерял...

— Смотри сюда. — Рыжеватый вытащил из-за пояса книгу и распахнул на фотографическом портрете. — Это он?

— Конечно он. И книжка его. Я ему вернул, а он, наверное, выронил. А ты, наверное, подобрал.

— Менделеев в Тифлисе! Быть не может! Он открыл... Ты знаешь, что он открыл? Природу всех вещей! Ты это представляешь?

— Молодец, конечно.

— Куда он поехал?

— В «Гамлет», должно быть. Он кушать хотел.

Юный лунатик прыжками несся из сада, а голова Николая снова прильнула к деревянному джентльмену, и он думал, что хорошо бы нарисовать картину со вдовой и миллионером заново и сделать миллионера одноклазым, чтоб было жалче и душевней. Вспоминал разговор юношей — то, что до него долетело, — и ничего не понимал... А природа вещей, бог с ней... Она-то как раз понятнее всего.

Поздним вечером первого дня тысяча девятьсот первого года он снова бежал мимо проклятого духана. Пробежал, остановился, повертелся возле входа и вошел внутрь. За столиками закричали и замахали руками: «Николай, иди сюда, Николай!»

Он важно прошествовал к стойке, где духанщик уже наливал ему водку в граненый стакан, поздоровался, разгладил усы, выпил и осмотрелся.

— Вон туда можешь, — показал духанщик на пустой стол. — Рисуй там. Помнишь, я оленя заказывал? Мне в духане олень нужен. А ты не заходишь — друзей обижаешь. Рисуй, дорогой, рисуй.

Олень опустил голову к земле и пасся рядом с пирующими под горой Святого Давида. На горе пылали смоляные бочки, широкие языки пламени обнимали голубую луну.

— Глаза пусть поднимет, — вежливо попросил из-за спины Киликашвили. — Пусть он сюда посмотрит, я прощения попрошу.

— Ты не виноват, — сказал Николай. — Не мучайся.

— А что ты сейчас рисуешь?

— Маслины рисую.

— Вах! Черные маслины на черной клеенке! А зачем белое? Зачем красное? Зачем зеленое кладешь?

— Сейчас увидишь. Вот — маслины.

— Откуда? Ты же рядом кисточкой водил!

— Ниоткуда, дорогой. Они всегда там были.

ДАРОВЫЕ СВЕЧИ

Этот город играет со мной в игрушки. Он доиграется! Здесь даже смерть-сиротку имеют как хотя! Это позволено! Слепоглухие младенцы! Увертливые, слабодушные — они смеют так жить?! Этот подвал с проклятым маятником! Сады над головой! Горы над садами, земли за горами... Младенцы мостят дороги, дают виноград, высасывают нефть, кадилами машут, песни поют. Я же все бросил! На столбовой дороженьке сошлись

семь мужиков. Сошлись — вот он, смысл, а разошлись — нету. Ничего нету. Один выше гор стою, между горами смерть скитается, люди ходят, скачут и колесят в колясках. Кинзой пахнет, и духами, и потом вонючим. И тьма, и маятник в подвале, и праздник с выстрелами. Криворукие младенцы! Глиняный город! Твари с вывихнутыми мозгами! Забить глиной их немые рты! Сколько жизней загублено, сколько крови вылилось! Как они смеют так жить?! Кто им позволил?! Кто?! Они доиграются. Подвал и маятник — пусть подвал и маятник. Но кто им дал право не слышать, не отвечать?! Кто?! Интересно, откуда у слепых котят право тащить рыбу из воды?

Видение огромных новорожденных котят, тянущих невод, заслонило все, и он уснул почти на ходу, еле успев добежать до топчана. Котята улетели, он нырнул в омут и начал тонуть в сухой горячей воде. Тонул, пока не увидел светлую желтую пещеру, а в ней русскую девку с подбитым глазом. Фотографический регистратор тройного горизонтального маятника Робер-Элрета не успел вывести и самой малой закорючки, а он уже встал, твердо зная, что люди не могут спрашивать, если не знают, о чем. Нужно подойти к человеку, задать вопрос и самому ответить. И переспросить, и снова ответить. Тут его твердое сердце остановилось, и он поймал ладонями возле лица легкую гладкую и округлую мысль: нужна боевая организация.

Он взвился по лестнице и выскочил в зал, наполненный шумом десятка хронометров. Директор обсерватории вдвоем с кем-то незнакомым устанавливали граммофон.

— Достойный юноша, поэт и санкюлот, — шепнул директор незнакомцу, — отказался от сутаны. — И сказал громко: — С Новым годом, Есик, береги себя! Познакомься с моим братом. Заехал из Дрездена. Изучал там акушерство. Все-таки немцы — удивительный народ: они расписали процесс деторождения на фазы, вручили каждой роженице по бумажке, обеспечили стерильность и ограничиваются самой незначительной помощью при родах.

Приезжий приветственно наклонил голову:

— Брат привез граммофонную пластинку с новой американской музыкой. Сейчас послушаем. Внимание! Прошу.

Из трубы резанул хриплый мужской вскрик, потом пошли вздохи, причитания и ударил фортепьяно. Вскоре голос совсем зашелся в хрипе и спазме забитой здоровой слезью глотки. Иосифу показалось, что слезь течет внутри граммофонной трубы, и от этого стало нестерпимо плохо. Он выскочил на улицу. За деревьями виднелся город. Город продолжал играть с ним в игрушки.

Пластинка закончилась.

— Нелегала, брат, выкармливаешь? Бомбы, сходки, люэс?

— Ты только не насмешничай! Вы, медики, — охальники. Конечно, он уйдет в подполье. Иллегаль арбайтен, как говорят твои немцы. Политика — чертово изобретение, но затягивает и ангелов. Однако не наше дело. Ты мне лучше скажи, что это за музыка? Я обескуражен. Странно поют антиподы. Негармонично как-то, с намеком. А на что? Голос елозит — мста себе не находит. Время — вперед! Время — назад! Все прошло, и ничего не началось. Но тревожно как-то. А Есик — славный юноша, только я заметил — хронометров моих боится.

— Он людей, думаю, ненавидит.

— За что?

— За то, что не бросают свой век на полдороге. Живут упрямые твари и живут.

— Что за вздор?!

— Почему вздор? Пророку нужны апостолы. А так вот сразу никто не хочет ради нового царства жизнь ломать. Потом, конечно, дураки найдутся.

— Не знаю, не знаю. Он против деспотии — мой долг ему помочь.

— То-то — не знаешь. Кто он у тебя?

— Наблюдатель-вычислитель.

— И как же он наблюдает-вычисляет? Добросовестно?

— Нет, брат, недобросовестно. Прошляпил землетрясение в Армянском нагорье. Я его здорово отчитал. Но ведь он идее служит. А ты все-таки подлец, хоть и доктор. Циник! Будешь безнравственные вещи говорить — любить перестану! Или вот пластинку твою дурацкую гвоздем поцарапаю!

— Да ладно тебе университетские пузыри пускать. Слушай, чего скажу. Знаешь, кого я в Тифлис привез? Менделеева Дмитрия Ивановича. Он со Всемирной выставки возвращается из Парижа. Как новость?

— Дмитрия Ивановича? Да где ж он?

— На вокзале потерялся. Всю дорогу шампань употреблял и дамам куры строил. Я ему говорю: господин профессор, поехали в Тифлис, там новейшая физическая обсерватория открылась, там мой глупый брат никак не может сейсмический маятник отладить. Кто ж ему поможет, если не начальник Палаты мер и весов. Он и загорелся. Где, говорит, этот маятник и где на Кавказ пересадка? Мне, говорит, согласно совету Пирогова Николая Ивановича своим страстям перечить нельзя — помру раньше срока. Семье — горе и стране — убыток.

— Так ведь наладил я сейсмограф! Чудесно работает! Сукин ты сын, брат, и больше никто. Но если и вправду Дмитрия Иваныча нам привез, я тебе все прошу. Однако позор на весь мир — Менделеева не встретили! Потеряли Менделеева в Тифлисе! Куда ж он с вокзала подался?

— Найдется. Физическая обсерватория в Тифлисе одна.

Доктор бережно спрятал пластинку в конверт.

— В дрезденских и берлинских газетах писали, что умер генерал фон Эркерт. Не тот ли самый исследователь Кавказа?

— Тот, брат, тот. Большая утрата. Между прочим, сегодня у меня в обсерватории собрание Географического общества. Скажем доброе слово о честном пруссаке.

— Первого января?

— Ну и что ж, что первого января? Новое столетие началось — жить надобно энергично, интересно, с пользой! Господи боже мой, где же мне Дмитрия Ивановича искать?

— Найдется Дмитрий Иванович. Его на воздушном шаре уносило, и то нашелся. Вот в чем я сомневаюсь, так в том, что пруссак мог понять ситуацию на Кавказе. В ней сам черт не разберется. Да и в России...

— Россию, брат, ждет великое будущее.

— Конченный энтузиаст, прости меня господи! А кто у тебя, господин директор обсерватории, остался возле маятника? Карбонарий твой, насколько я понимаю, удрал с дежурства. Опять прозевааете геологический катаклизм. Пошли лучше в подвал.

Они обнялись и спустились в подвал. Сейсмограф вел самостоятельную тонкую и сложную жизнь, чутко слушал дальние дали, реагировал и регистрировал. Директор нашел под столом журнал наблюдений, полистал, вздохнул и снова бросил под стол.

— Хочешь, директор, я скажу тебе, о чем ты подумал? Ты подумал: хорошо, кабы он поскорее ушел в нелегалы. Молчишь? Значит, я прав. А теперь я могу сказать, что он думает, сидя в этом подвале. Он глядит на эти сейсмограммы, на эти донесения о толчках, разломах, извержениях и жалеет, что идут они в одном направлении. Что нельзя *здесь* поставить закорючку, чтобы *там*, за сотни верст, земля треснула до самой преисподней... О, смотри — свечка! Зачем ему свечка, когда в обсерватории электричество?

— Что ж тут такого? Он предпочитает свечи. Я распорядился.

— За счет казны? Смотри, брат: даровые свечи — вещь опасная. От них узники в крепости с ума сходят. А у твоего квартиранта даже окошка нет. Вокруг сейсмографа демоны летают!

— Да иди ты сам к черту!

Город исчез. Когда глаза закрыты, мысль острее. Они хитры, изворотливы, но они беззащитны. Нужно подобрать людей, разбудить в них решительность и силу. Передать им уверенность. Победа уже рождена. Все слабы, ничтожны и бестолковы. Господин директор со своими хронометрами, барышни в ландо, шлюхи в садах, крестьяне в полях, генералы конные и пешие, евреи чахоточные, разбойники... Солдаты в горах рубят лес и палят из ружей, англичане бегают за мячиком, немцы с вымытыми руками тычут острыми вилочками в белые тарелки, французы развратничают, американцы... Американцев нет и не будет. Американцы не нужны. Он открыл глаза. В городе играла музыка и звучали выстрелы. Он достал из кармана кусок бумаги, карандаш, вынул из-за пояса книгу, написал короткую записку и сказал под ноги:

— Мальчик, подойди сюда. Отнеси Георгию Гурджиянцу.

Какой-то мальчик подошел, взял записку, взял копейку, повторил адрес и с криком побежал.

— Ой, мама, мама, — подумал вслух Иосиф, — сколько работы впереди! Может, все-таки вернуться в поэзию?

Георгий явился быстро, но слушать ничего не стал. Он сам хотел сказать, что духовная работа человека направлена против природы, а путь развития скрытых способностей — прямой путь против Бога. Но это еще не вся беда — Бог дал нам другой закон, а мы его никак не постигнем. Они шли по черному саду — Георгий говорил, а Иосиф пинал деревья.

— Во времена упадка цивилизации народы теряют последние крупницы здравого смысла. Периоды массового сумасшествия высвобождают огромное количество знания. Оно, невидимое и невостребованное, хранит само себя целые тысячелетия. И в нашем положении последних мыслящих людей нет ничего зазорного в том, чтобы распределить эту ценность между собой. Нет и ничего несправедливого, поскольку присваивается ничье. Ведь древнее знание все более отдаляется и может вовсе исчезнуть, пока вожди усиливают страх толпы перед ним.

— Что ты имеешь против вождей? — крикнул Иосиф. — Иные вожди могут принести новое знание и спасти ослепшее человечество!

— Нового знания не бывает, — быстро ответил Георгий. — Бывают новые мучители.

— Скажешь, и прогресса нет?

— И прогресса нет. Земля — очень плохое место. Мы отделены от абсолютной воли сорока восемью порядками механических законов. Надо освободиться от материальности. Древнее знание — нематериально.

— И как ты собираешься добывать древнее знание?

— Ну конечно, не из двадцать пятых рук. Нужно создать школу, нужно овладеть искусством эмоциональных раздоров и интеллектуальных провокаций. Древнее знание внутри искателей — оно откроется в шоке.

Будь я проклят, усмехнулся про себя Иосиф, где один большой вождь, там много маленьких.

— Слушай, — вдруг остановился Георгий. — Почему вас так много из семинарии вышибли? Ты, к примеру, на Периодическом законе элементов свихнулся. А три десятка остальных за что? Кто-то стукнул?

— Стукнул-пукнул. Какая разница! Люди придут в революцию — и это главное. А таблица элементов стоит того, чтобы на ней свихнуться. Ты спросишь почему? Потому, что...

— Не подумаю спрашивать. Химия Менделеева — ординарное, двухмерное учение. Космические свойства материи должна изучать специальная химия. А что касается высших субстанций, то они могут быть поняты только взорванным, разорванным сознанием. Это произойдет только в лоне оккультной школы нового, рационального, типа.

— Черт с тобой. Почему я должен быть против? Когда мы победим, твоя школа получит все условия для постижения высших субстанций. Хочешь Ясную Поляну?

— Да! Да! Да! Я хочу ясную, освещенную луной поляну. Мы будем приходить на нее ночью, а днями прятаться в густом русском лесу.

Георгий шел рядом, на самом деле удаляясь все дальше и дальше. Иосиф вытащил из-за пояса книгу и ударил его по голове. Георгий увеличил на шаг расстояние между ними.

Все, подумал Иосиф, этот не годится даже для заклания. Необыкновенный агитатор, атеист от Бога, но все время возражает. Если бы он от себя возражал, так он от имени потерянного знания возражает. Ты его найди сначала, а потом возражай! Вон пьяница на пне сидит. Потерянный человек — он не будет мне возражать. Георгий — тоже потерянный человек, но возражает.

— Значит, не придешь? Предпочитаешь выть на луну, а не бороться с самодержавием?

Георгий ушел, не оборачиваясь, в сторону города. Иосиф постоял, посмотрел ему вслед, потом резко повернулся и быстро приблизился к бродяге. Оборванец дремал, обнимая некрашенный фанерный баул. Иосиф стоял над ним и чувствовал, как возвращается к нему бешеная сила. Все еще не сказанные слова сотрясали его. Бродяга поднял голову и открыл глаза.

— Ты всего один раз мельком его видел. Ты не слышал от него ни единого слова. Чего ты взелся на юношу, господин клистирная трубка? У меня голова кругом идет: Менделеев потерялся, у маятника некому дежурить, через несколько часов начинается заседание Географического общества — ничего не готово! Нужно еще найти портрет генерала Эркорта. Нужно послать к господину Кану спросить, готово ли его сообщение. Нужно, в конце концов, уведомить городское начальство о приезде Дмитрия Ивановича...

— А ты не уведомляй. Представь, что я тебе ничего не говорил.

— Но ведь ты же говорил.

— А я пошутил.

— Позволь!

— Шутка. Вот если Менделеев явится к вам на прусские поминки — хорошо, не явится — шутка.

— Ты дрезденский оборотень!

— Я русский акушер, с вашего позволения.

Иосиф несся большими прыжками из сада, держа впереди себя раскрытую книгу с портретом Дмитрия Ивановича Менделеева. Менделеев — в городе! Менделеев катает сумасшедшего художника по Тифлису! Менделеев учит оборванцев делать чемоданы! Сейчас, сейчас, сейчас... Менделеев — это даже лучше, чем Виктор Гюго. С Виктором Гюго — потом. Жаль, что он уже умер. Сейчас — в «Гамлет». Он выбежал на Михайловскую, догнал какого-то извозчика, прыгнул в коляску, заорал: «Гони!» — и уже через полминуты соскочил, потому что сам мог бежать легче и быстрее лошади. Извозчик успел стегануть его кнутом. Сейчас, сейчас... Слепые котята, реакционные схоласты, что им истинная природа вещей, что им ясность мысли, что им это твердое, неустанное сердце... Тут его снова догнал извозчик и еще раз вытянул кнутом. «До самой Куры бить буду! —

закричал извозчик, когда понял, что этот сумасшедший все время будет бежать вдоль Михайловской.

Возле «Гамлета» стояла одна-единственная коляска. Сзади из нее торчал большой желтый чемодан. В самой закуской было пусто, лишь за одним столиком сидели два высоких бородатых господина. Иосиф поправил одежду и застегнул ворот. «На то и нос человеку дан, чтоб глаза не передрались», — сказал один, а другой рассмеялся. Они были прохожи как две капли воды.

— Кто из вас господин Менделеев?

— Э, — отмахнулся тот, что слева. — Там! — И повел рукой в сторону пустой закуской.

Второй тем временем допил вино, поднялся, откланялся и быстро пошел к выходу. Иосиф рванулся за ним, но сидящий удержал его за рукав.

— Садитесь, — сказал он. — Садитесь, садитесь! Чувствуете, какой стул приятный? Потому что нагретый. Теперь рассказывайте. Все, что хотите, рассказывайте.

Иосиф смотрел на него во все глаза. Менделеев.

— Не хотите рассказывать — хотите меня послушать? Так часто бывает: приходит ко мне человек и не может сказать ни слова. Очень часто бывает. Что делать — земля трудное для жизни место. Иногда я прошу, прежде чем идти ко мне, изложить все на бумаге. Получаются очень любопытные произведения. Хотите, я вслух прочитаю? Перед праздником один человек написал. Где же это сочинение? Ага, вот! Читать?

— Что читать?

— Сочинение моего пациента.

— Вы кто?

— А вы меня не знаете? Позвольте представиться: доктор Хачикян, психиатр.

— Почему вы не дали мне встретиться с Менделеевым?

— Единственно по его просьбе, голубчик. Пока мы обедали, его трижды от еды отрывали. Мы и уговорились, что следующего, то есть вас, я беру на себя. Тем более, что ему спешно нужно своего попутчика отыскать. И поверьте, я полностью разделяю ваше огорчение: Дмитрий Иванович — удивительный собеседник!

— Что он вам говорил?

— О, много чего! Во-первых, сказал, что Периодическую систему элементов создал для простоты преподавания химической науки. Чтоб даже самые глупые студенты понимали.

Иосиф вскочил на ноги и оказался лицом к лицу с официантом.

— Господин Мендель, которые ушедши, прощения у вас просят и денег оставили пообедать. Милости прошу приборчик сменить.

— Садитесь, милый юноша, садитесь. — Доктор Хачикян взялся за графин. — Вот пока вина выпейте.

Иосиф сел и выпил вина.

— Что еще Дмитрий Иванович говорил? Об экономическом развитии России что-нибудь сказал?

— А как же! Еще как сказал! Одна, говорит, комбинация босяков и капиталов сама по себе не может вызвать народного блага!

Иосиф заплакал. Слезы, добрые и злые, капали на чистую скатерть и оставляли одинаковые следы.

— Полноте, юноша! Стоит ли вся на свете экономическая обстановка того, чтобы ее так близко к сердцу принимать? Это же не природа. Вот я неделю назад, — спокойно продолжал доктор Хачикян, — был в Потти. Гулял по берегу моря. Что такое зимнее море? Тот же простор, что и летом, но чувства, представьте, обуревают прямо противоположные. Летнее море говорит: я тебе все отдам. А зимнее море говорит: ты мне все отдашь...

— Дельфинов видели?

— Конечно видел. Дельфины круглый год резвятся. Ну-с, приятного вам аппетита и крепкого здоровья. — Он подозвал официанта, расплатился, встал и спросил: — А что это, братец, за суета в окошке? Народ бежит, пролетки мчатся...

— Народ в Пески поспешает, ваше благородие. В духан к Теймуразову. Там Киликашвили рог на землю вылил — пить устал.

— Водонос Киликашвили?

— Точно так — водонос.

— Быть того не может, чтоб Киликашвили пить не захотел! А какой тост был?

— По счету?

— По смыслу, болван, по смыслу!

— По смыслу — легче и быть не может. Про луну. Ну вы знаете: «За луну, что ярко светит, чтоб нам, беднякам, дорогу заметить, с пути не сбиться, в овраг не свалиться, насмерть не разбиться». Детский тост, ваше благородие...

— Да уж! На свете живешь — до всего доживешь. Прощайте, благородный юноша. Если вам без Менделеева действительно жизнь не мила, попробуйте с ним в физической обсерватории увидиться. Он, собственно говоря, именно туда и направился. А про Киликашвили я не верю. Наверное, его Теймуразов подкупил, чтоб свой духан славой покрыть. Наверное, подкупил!

В обсерваторию Иосифа не пустил городской. Ко входу подъезжали красивые экипажи, из которых выходили, важно распрямляя стан, генералы — военные и статские. Отутюженные чиновники и одухотворенное ученое сословие с удовольствием уступало им дорогу. Дам не было. Собиралось Кавказское отделение Русского географического общества.

— Я там служу и квартирую, — сказал Иосиф.

Городовой подвел его к ротмистру. Ротмистр молча взглянул, едва заметно улыбнулся и, близко наклонившись, сказал:

— Опять-таки придется погулять.

К ротмистру подвели маленького важного еврея.

— Моя фамилия Кан.

— Вы член Географического общества?

— Я кандидат в члены. Сегодня я делаю сообщение о научном наследии генерала фон Эркerta. Вот текст.

— С ошибками пишете, господин Кан, — снова тонко улыбнулся ротмистр. — Надеюсь, прочтете без акцента. Удодов, пропусти докладчика!

Он повернулся и пошел снова в сад и по саду и добрался до скамейки под черным деревом, где сидел недавно сумасшедший художник, упал на нее и заснул. Перед ним предстал Менделеев с рогом в руках. «За луну, что ярко светит, чтоб нам, беднякам, дорогу заметить, с пути не сбиться, в овраг не свалиться, насмерть не разбиться!» Потом Менделеев спросил: «Ну как скамейка — холодная?» — «Очень холодная», — ответил Иосиф. Потом к нему на скамейку подседа смерть-сиротка и шепнула: «Этот город играет с тобой в игрушки». Потом приснился подвал со свечой и маятником. Потом стала сниться одна горящая свеча. Потом Иосиф открыл глаза и устало вспомнил: нужна боевая организация.

ЧЕРНЫЕ ПСАЛМЫ

Четверка лошадей безоглядно рвалась в небо, имея возницей Аполлона, а колесницей — павильон Всемирной парижской выставки, в угловой портик которого были вмурованы их задние копыта и сандалии юного

бога. «Вот-вот, — сказал неизвестно кому Дмитрий Иванович, — политиканство сгубило и древних греков, и латинян». Он проследил взглядом, куда рухнет упряжка, вырвись она из рук Аполлона. До моста Александра Третьего, слава богу, не долетит. Какой, однако, красавец мост подарил государь император французам! На нем буйное художество таки догнало инженерию и ухватило ее за непорочные форменные грудки. Несомненно подтверждая это событие, из серого бетона выступили золотые изваяния — то ли духи воды вознеслись, то ли духи земли слетелись. Дмитрий Иванович перегнулся через перила и еще раз огладил взглядом макушку своей нимфы. Он попробовал даже дотянуться до нее тростью, но не дотянулся и просто так постучал по какой-то конструктивной бляхе.

Он пошел вдоль Сены к эйфелевской башне. От новой Всемирной выставки до старой его шагом было пятнадцать минут ходу. На полпути он раздумал идти пешком. Спустившись к воде, нанял лодку и поплыл назад к мосту, навстречу золотой длинноволосой деве в самой верхней точке пролета. Стоя в лодке, он объяснял красноносому от холода лодочнику, что мосты над безднами — не только практическое благо, но и единственно верный научный метод. Да что там наука, любое изошрение ума — суть мостостроение. И ежели кто мосты взрывает, тот есть гадина и дурак. Тут лодка вплыла под мост, и Дмитрий Иванович увидел над собой здоровенные ноги и золотое гузно. Из этого гузна на Дмитрия Ивановича что-то капнуло.

— Я тебя! — замахнулся он на деву, посвятившую его в свой пышный срам. — Стерва рыжая!

— Уи, мсье, — кивнул замерзший лодочник. — Два франка, как договорились.

Вечером он сел в поезд и все время, пока состав шел по Франции, размышлял об активности радия. Можно, конечно, допустить существование мирового эфира — вещества невидимого и всепроникающего. Но ведь это же сам Божий промысел в чистом виде. Прикажете Божий промысел в таблицу элементов вписывать? Из этого следует, что я — слабосильный, старый и одинокий человек. Сам петли вяжу, сам распутываю, сам верчу в руках вервие простое.

— Когда я летал на воздушном шаре исследовать солнечную корону, случилась запутка регулировочного троса. Пришлось взбираться по боковой поверхности азростата. Устранил. Смог пользоваться выпускным клапаном. — Дмитрий Иванович поднял глаза и посмотрел, к кому бы обратиться речь. Прямо перед ним сидела русская дама с трепетным взором и сжатыми у горла кулачками. — Однако стоит ли, сударыня, считать этот факт серьезным, если никаких исследований я не провел из-за дождя и сплошной облачности?

Из дамских очей брызнули слезы:

— Ах, Дмитрий Иванович, неужели они посмеют не дать вам премию этого бомбиста Нобеля!

Тут, слава богу, закончилась Франция, началась Германия, и в вагоне появился молодой русский доктор, который прогнал даму и начал рассказывать Дмитрию Ивановичу, как образцовые немки рожают образцовых немецких младенцев. Они вдвоем стали хохотать, называть друг друга коллегой и взаимно трогать за рукав.

— Эх, жаль, граммофона нет, — сказал доктор, — а то я везу с собой пластинку с новой американской музыкой. У них там негры запели, да как! Ничего общего с нашей «могучей кучкой». Совсем другая «кучка»! Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Но интересно!

— Интересно? — перестал смеяться Дмитрий Иванович. — Где же нам граммофон раздобыть?

В конце концов доктор принял концертную позу, предупредил: «Не я пою, негр поет, черный и печальный» — и запел как только мог низко, по ходу перевода с английского на русский:

— Вот стою и говорю, фараону говорю: «Отпусти народ мой! Отпусти народ еврейский на родину свою! На погибель, на погибель на свою не держи народ мой! Отпусти народ еврейский на родину свою!..»

— Псалом, конечно, душевный, — сказал Дмитрий Иванович, — а только евреев тоже сгубило политиканство.

— Да хрен с ними, с евреями! Но вот же негры молятся о свободе погибшего народа как о своей собственной, — тут есть политиканство?

— Тут политиканства нету, — с легкой душой согласился Дмитрий Иванович, — тут, пожалуй, христианство есть. — И они с доктором обнялись.

Снова в купе возникла та дама и другие дамы, и шампанское, и, когда проехали Польшу, было решено с Петербургом пока повременить, а ехать в Тифлис, где старший брат доктора ставил на ноги физическую обсерваторию и запускал новейший сейсмограф. Тут дамы заплотировали, а Дмитрий Иванович встал с бокалом шампанского во весь свой рост.

— Вот я, милостивые государыни и государи, действительно знаю Кавказ и его кладовые. И что? Я нефтепровод предлагал тянуть из Баку в Батум. И что?

Он закрыл глаза, закачался и неожиданно запел:

— Вот стою и говорю, фараону говорю: «Отпусти народ мой...»

— Русский Моисей, — молитвенно прошептала дама, ненавистница Нобеля.

— Мозес, — согласился доктор. — Воистину! Менделеев регтайм! Менделеев регтайм бенд!

Только ступили на тифлисский перрон, и остался Дмитрий Иванович без попутчика. К молодому симпатичному доктору подскочил такой же молодой и симпатичный с университетским значком. Не брат, а одноклассник, врач роддома. «Ты!» — «Ты!» — «Здравствуй, собака!» — «Здравствуй, собака!» Обнялись, парой слов перекинулись и вот уже бегут куда-то, садятся в пролетку, кричат на ходу про редчайший акушерский случай, сыплют латынью. «Езжайте в обсерваторию, Дмитрий Иванович! В обсерватории увидимся!»

Спешить в обсерваторию, однако, не стал. Погрузил багаж на извозчика, а сам стоял думал. Городовой подошел поздравить приезжего господина с Новым годом, новым веком. Извозчик плюнул в сердцах и попал в лошадь.

— Куда же прикажете?

— Никуда. Просто езжай.

— Здесь, барин, не Петербург — першпектив нету. Куда ни едь — всюду крюк. А никуда — вообще погибель. И потом, как платить будете?

— Уи, мсье. Два франка, как договорились.

— Чего?

— А ничего! Гони-погоняй отсюда, я больше рельсы видеть не могу!.

Погнали, но через минуту перешли на медленный шаг. Впереди неспешно двигалась какая-то процессия.

— Что там, братец?

— Турка хоронят.

— Обогнать нельзя?

— Куда? На тот свет? И то не получится — дорога узкая.

Куда как верно, прикрыл глаза Дмитрий Иванович. Узка туда дорога. И тоже мост. Мосточек шаткий во тьме кромешной. Душа строит. Как годы летят! Неужто мне шестьдесят семь уже?

— И завернуть нельзя? Ну так перепрягай!

— Сам перепрягай! Лучше проулок сыщем да свернем куда-нибудь. И не командуй за-ради бога! Черт тебя прислал, беспутного. Сказал же молодой барин: езжай в обсерваторию. А ты затеял маяту без маршрута и дистанции.

— По приезде положено с городом знакомиться. И не смей мне возражать! Ты бы лучше кнутом вот того господина огрел, который с эдаким чемоданом смеет на улицу выходить. И всех господ, кто такие изделия vyrabatyvayut.

На обочине стоял усатый тифлисец — худой, длинношей и сумрачный. В правой приподнятой руке он неудобно держал фанерный баул, прижимая его, как и себя, к стене. Пальцы побелели и посинели, и глаза человека побелели и посинели — они, кажется, тоже что-то держали из последних сил. На бауле была намалевана дурацкая голова в черном цилиндре и белом стоячем воротнике с галстуком.

— На! — Извозчик протянул Дмитрию Ивановичу кнутовище. — Сам огрей, если хочешь.

— Это что же, милый друг, за сооружение? — спросил сурово Дмитрий Иванович, отводя, однако, кнут тростью. — Надо, брат, совесть иметь. От таких чемоданов в стране хаос. Вот настоящий чемодан. — Он постучал по желтому чемодану сзади себя.

Ничего общего не было у деревянного разрисованного уroda и лакомого аматерского произведения, но чего злиться понапрасну, да еще в чужом городе? Поэтому Дмитрий Иванович немедленно простил прохожему жуткий чемодан, усадил к себе и даже приобнял. Нашелся проулок, открылась дорога, извозчик гордо выпрямил спину, и они поехали по городу, ведя приятные и приличные разговоры. Человека звали Николай, он рисовал рыб, птиц, людей и зверей для украшения местных духанов. И запивал сладкую работу горькой водкой. Дмитрий Иванович не собирался особенно повествовать о себе, но вдруг взял да и проговорился:

— Мне, друг милый, на голову золотая нимфа капнула. Самым натуральным образом. Что скажешь?

Николай помолчал, подумал и сказал сухо:

— Счастливчик.

Через какое-то время Николай расхотел кататься, слез с пролетки и ушел не оглядываясь. Дмитрий Иванович снова остался без попутчика.

— Ну что? — спросил извозчик. — Прикажете в «Гамлет» обедать? Или сразу в обсерваторию?

— Давай обедать.

В закусочной «Гамлет» ночная новогодняя гульба закончилась, а дневная еще не начиналась. Там было выметено, проветрено и сидел единственный человек — холостой психиатр Хачикян, похожий на Менделеева как родной брат. Они уселись друг против друга и стали обедать.

— Ну наконец, — сказал Хачикян, поднимая бокал, — наконец я вижу живого Дмитрия Ивановича. Я, между прочим, от вашей славы кусок оторвал. Четыре года назад имел в Петербурге удивительный роман. Молодая красавица. Бестужевка. Отец — камергер, кажется. Я с ней роман имел, а она, извиняюсь, с Менделеевым. Но не подумайте, что я девицу обманывал. Я вообще рот не открывал, поскольку, как вы успели заметить, акцент имею. Но был момент, когда, не имея возможности сдерживать чувств, закричал, и все пошло прахом.

— Слава богу, что ее роман с Менделеевым закончился так легко для Менделеева, — сказал Дмитрий Иванович. — Я слышан о более роковых финалах.

— Вся Россия слышана, — согласился Хачикян. — И Кавказ тоже. Какими судьбами к нам, драгоценнейший Дмитрий Иванович?

— А! — весело взмахнул рукой Дмитрий Иванович. — Гоним неясной силой. Все еду, еду. Теперь вот в зеркало въехал.

Тут дверь открылась, и в зал, отфыркиваясь, вкатился маленький человек, сразу зашпешивший к их столику.

— Спешу представить присяжного поверенного господина Кана, — обтер губы салфеткой Хачикян, — человек горячий, но непоследовательный. Сначала крестился, а потом записался в сионисты.

— Знаю, знаю, — закричал издали господин Кан психиатру, — какие гадости вы обо мне говорите! Я довольно смущен и без вас, но не могу упустить этот случай. Есть великие вопросы и есть великие люди, имеющие мнение. Дмитрий Иванович принадлежит России!

— Впрочем, — продолжил Хачикян, — Федя — абсолютно порядочный человек. Скоро, думаю, он станет моим пациентом. Только вот чем ты будешь мне платить, скажи на милость, если все жалованье отсылаешь героям-колонистам?

— Я буду описывать свои видения, как это делают твои сумасшедшие. Ты же набиваешь сундуки этими бумажками, как ассигнациями. Ты скоро сам начнешь писать такие бумажки. Или уже их пишешь?

Кан стоял рядом и говорил. Сесть за стол? Нет, он уже отобедал. Перестать волноваться? Попробуйте успокоиться после пяти тысяч лет такой истории. Впрочем, он не будет в обиде, если господа продолжают свой обед.

— Знаете что? — сказал Дмитрий Иванович пламенеющему в замешательстве Кану. — Приходите-ка в физическую обсерваторию слушать черные псалмы. Ей-богу, не пожалее!

— В обсерваторию! — схватился за голову Кан. — Я же сегодня там доклад делаю Географическому обществу. О, как я мог забыть! — И он выбежал из «Гамлета».

— А какие бумажки вы собираете с неимущих больных? — поинтересовался Дмитрий Иванович. — Что-то вроде «Записок сумасшедшего»?

— Что-то вроде. Хотите послушать? У меня при себе есть. — Хачикян достал из кармана мятый листок и надел на нос пенсне. — Извольте. «Земля одичала, и снова ниоткуда набегали люди, не знающие, как жить, что говорить, как есть и как спать, как спастись от снега и солнца, как угреться среди хлябей и острых камней. И встали они, криворукие и криводушные, возле кривой хижины и кривой сохи, кривой ольхи и кривой иконы. И вот они стоят и кричат, стоят и кричат огромными кривыми ртами. И некому прийти набить эти рты глиной, чтобы они задохнулись, подавились, но вывалили этот ком изо рта и сказали простое слово. Одно слово хватит, чтобы жить без уродства и умирать без страха. Но никто не придет к ним, никто...»

— Ах, как жаль, — сказал Дмитрий Иванович, — что к вершинам духа человек чаще всего добирается, освобождаясь от разума. Боюсь, что здоровый разум вообще не предрасположен к высшим истинам.

— Разум не способен приручить знание, — произнес чужой голос. — Человек хочет бытия, а знание его не хочет. Знание осложняет жизнь. Из-за перевеса знания погибают цивилизации. Тогда жизнь отворачивается от знания и оно становится отдельным. — Голос звучал из сумеречной глубины зала и принадлежал молодому человеку за пустым столиком. — Собственно говоря, оно всегда отдельное и всегда древнее. Меняются отношения человечества с одним и тем же объемом знания, из чего возникает иллюзия прогресса.

— Это что, спиритизм? — спросил Дмитрий Иванович.

— Не думаю, — ответил Хачикян. — Анархизм плюс что-нибудь соматическое. Или минус — как угодно. А позвольте спросить вас, благородный юноша: вы сами какое касательство имеете к неприрученному знанию? Где гарантия достоверности заявления?

— Я — искатель знания, — ответил молодой человек. — У поиска нет гарантий. Есть критерий духа.

— Ага! — закричал Хачикян, и от его крика менделеевский извозчик за окном проснулся и быстро плюнул на лошадь. — Дух-то здесь при чем? О духе в ваших рассуждениях речи не было. Откуда дух — признавайтесь!

— Все-таки это — спиритизм, — уже более уверенно сказал Дмитрий Иванович. — Апология бестелесных перелетов.

— Откуда дух?! — ударил по столу кулаком Хачикян.

— Я не летаю по воздуху. Я не знаю, где верх и где низ. Никто не знает. Земля — трудное для жизни место, в земном человеке нет единства. В каждом живет толпа. Каждый говорит на своем языке, полном ложных понятий. Люди дают название для непостижимого и считают это достаточным. Древние учения прикасались к истине, но все погублено косноязычием сотен поколений. Что-то осталось в уголках сознания, что-то глубоко запрятано внутри восточных сект. Бесценные крохи...

Молодой человек быстро поднялся и не прощаясь двинулся к выходу. Неловко отодвинутый им венский стул несколько секунд покачался и упал, вслед за чем соскользнула на пол скатерть.

— Я где-то слышал об этом мальчишке, — сказал Хачикян. — Природный магнетизер. Слава богу, что он не одержим злыми намерениями. А так пусть путешествует, изучает феномены...

— Да, про лишнее знание он что-то такое любопытное сказал. Посмотреть, как мы живем, так и то, что известно, не применяется. Отчего урожаи скудны? Навозом землю не удобряем. Отчего навоза нет? Боимся коров много заводить — молоко в избытке, портится. Отчего из молока сыр не делаем, как французы? А черт его знает отчего! — И Дмитрий Иванович снова взялся за еду.

Подали чай с ромом.

— Женщина к нам идет красивая, — сказал Хачикян. — Похожа на мою бестужевку. Только грузинка. Чья-то жена, наверное, и дети, наверное, есть. Ай-ай-ай! Здравствуйте, сударыня! Примите новогоднее поздравление и присядьте за наш стол. Вот, пожалуйста, вам Менделеев.

Дама остановилась в метре от них, подняла тонкие руки, качнула шляпой и сильным мелодичным голосом воскликнула:

— Ах, как этот мерзавец Нобель посмел оставить столь двусмысленное завещание! Вы, и только вы должны стать первым лауреатом!

После дамы был еще кто-то, какой-то загнанный рыжий юнец, но Дмитрий Иванович бросил Хачикяну взгляд, тот все понял, и Дмитрий Иванович выбрался из «Гамлета».

— В обсевторию? — спросил извозчик.

— Именно.

Домчались за пятнадцать минут. Новая тифлисская физическая обсерватория утопала в зимних бесснежных садах. У парадного входа стояло несколько полицейских чинов, разом обернувшихся на появление пролетки. Дмитрий Иванович сошел на землю и расплатился с извозчиком.

— Чемодан мой снеси наверх и скажи, что Дмитрий Иванович прямо к прибору отправился. Охота, мол, разыгралась.

Подошел и козырнул красавец ротмистр.

— Обязан предупредить о невозможности частных визитов до окончания заседания. Присутствие гражданского и военного начальства обязывает к особым предупредительным мерам. Прошу простить!

Менделеев гулко кашлянул и зашагал, взмахивая тростью, вдоль здания. Свернул за угол раз и еще раз. Возле двери в подвальное помещение топтался городской. Дмитрий Иванович был неловок и, дергая за ручку, отдал городскому ногу.

В глухой подвальной комнате горела свеча и не было ни одной живой души.

— Так-с, — сказал Дмитрий Иванович. — Тройной горизонтальный маятник Робер-Элерта. С оптической регистрацией. Без затухания.

Он полистал журнал наблюдений. Неряшливо, неаккуратно, нерегулярно. Вычислителя-наблюдателя гнать в шею. Но сейсмограф отлажен. Работает, тянет тонкую нервную борозду. Хороший прибор! Старик сидел

перед сейсмографом и не хотел двигаться с места. Как это просто и верно! Как надежен сам принцип работы граммофона наоборот! Теперь бы взять исписанный рулон — да в аппарат воспроизведения... Великолепно!

— Удодов, баобаб в кокарде, ты зачем здесь поставлен? — спросил рот-мистр. — Кого пропустил? Ну-ка открой мне дверь да придержи — там внизу тьма египетская!

Городовой распахнул плотно засевшую дверь, и черная труба подвального коридора изрыгнула грохочущий бас: «Вот стою и говорю, фараону говорю!..»

ПИСЬМА НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Это смешно и нелепо, мама. Никогда, ни в какое мгновение я не знал, как жить и что делать, и все равно как-то жил и что-то делал. Чему оно равно, это все равно? Оно равно проклятию. Детство дается, чтобы привыкнуть к жизни, а я не привык. В детстве — несказанная пустота, в которой живут страх и восторг. Когда приплывает страх, можно сказать: «Я испугался», а от восторга спасенья нет. Детство — сосущее ничто, вечером — запах акации, ночью — хриплый сон, утром абрикосовая свежесть бьет в голый затылок и выдавливает слезы из глаз. Зачем мы уехали из Кричева? Почему ты всегда молчала и заставляла молчать меня? Зачем возила из города в город, из гимназии в гимназию? Какие документы все время вы-правляла? Кому платила? Где брала деньги? От кого мы прятались? Зачем зажигались и гасли твои глаза? О чем ты каждый день думала, когда куталась в шаль и ждала, ждала, ждала, ждала меня из университета? Что я такое теперь без тебя и без себя? Что я имею? Пустой дом в Тифлисе? Щелястую дверь? Ты вела меня из одной жизни в другую. Ты все знала и ничего не боялась. А потом ты отвернулась от меня, мама, и тайком уехала в свой Кричев, чтобы тебя закопали на еврейском кладбище. Что ты мне оставила? Я помню только тебя и наши бумаги, которые ты прятала под шаль, к моему лицу. Они шуршали, они пахли надеждой и русским царем. Теперь царь платит мне жалованье, и я отсылаю его в Святую Землю. Там нужны лопаты, палатки и ружья. Я отсылаю царские деньги прямоком в Ветхий Завет, а сам читаю Новый, потому что ты, мама, сунула туда мою душу. Ты сунула мою душу между страниц, которых не читала и боялась как огня. Это не вера и не безверие, это — одиночество. Бог потерялся на вокзале. Это тоска и ожидание, что вот-вот придет с новогодним поздравлением водонос Киликашвили, придет за своим яблоком и монеткой. И нет у меня ни яблока, ни монетки и нет сил ждать стука в дверь.

Весь дом дрогнул, когда Киликашвили ударил в дверь. Лежащий на кровати Кан дернулся всем телом и сказал: «Я испугался!» А водонос бил и бил, пока одна доска не отскочила и не повисла косо на нижнем гвозде. Тогда Киликашвили просунул руку и откинул щеколду. Он распахнул дверь, но не переступил порога, а молча смотрел в глубину темной комнаты, выискивая Кана. Невидимый Кан лежал за перегородкой и смотрел в потолок.

— Федька, — позвал водонос, — если ты христианин, выходи!

— Какая сволочь, — шепнул Кан, — смеет врываться к присяжному поверенному!

Киликашвили немного подождал, потом шагнул в дом, приставил доску и кулаком прибил ее на место. Снова вышел на крыльцо и затворил за собой скрипучую дверь.

— С Новым годом, Федька! Черт с тобой, бесплатно поздравляю.

— Спасибо, — чуть слышно ответил Кан. — И тебе — черта лысого.

Он встал с кровати и открыл ставни, потом сел за стол, положил перед собой стопку чистой бумаги, приосанился и написал: «Труды фон Эркер-

та. Сообщение для Кавказского отдела Русского географического общества. 1 января 1901 года». Подчеркнул заголовок и застрочил: «В начале декабря месяца минувшего года газеты принесли печальную весть, что на 70-м году жизни от инфлюэнцы в Берлине скончался действительный член нашего отдела генерал-лейтенант Родерик фон Эркерт. Покойный происходил из старинного прусского рода и молодым офицером поступил на русскую службу. Дослужился до командира одной из кавказских дивизий и в 1884 году вышел в отставку. Вернувшись в Германию, он посвятил свой досуг научным исследованиям. Самым главным трудом фон Эркерта является атлас из 12 карт под заглавием „Переселения и поселения германских племен в средней Европе“, но нас, кавказцев, — здесь Кан нервно хихикнул и ткнул себя за это железным пером в предплечье, — больше всего интересуют его книги по Кавказу. Книга „Der Caucasus und seine Volker“ („Кавказ и кавказские народы“), Leipzig, 1887, содержит 385 страниц с иллюстрациями, таблицами, коротким указателем лексического материала и этнографической картой...»

По руке текли кровь и чернила. Кан слизнул их, выплюнул и продолжил: «Многочисленными измерениями черепов, а также общим знакомством с языками фон Эркерт надеялся решить вопрос о происхождении народов, населяющих наш край. Что касается „кавказской культуры“ в целом, то она, по мнению фон Эркерта, складывается из азиатских элементов и из элементов местных, развившихся под влиянием семитической культуры. Во многих отношениях, считал он, тип местной жизни есть совершенный тип жизни Старого Завета». Кан еще раз лизнул ранку, потом отбросил перо, раскинул руки и рухнул головой на стол.

Доктор Хачикян недавно рассказывал, что в Китае живут желтые евреи. Они уже много тысяч лет там живут, полностью ассимилировались и приняли конфуцианство. На вид и по образу жизни — совершенные китайцы. Но конфуцианство, мама, требует знания имен всех основателей рода. Так вот, если их спрашивают, они называют Ноя, Авраама, Исаака и всех остальных праотцев... Кан свистнул под стол и туда же крикнул: «Ходя, дьявол, иди мацу трескать!»

Он закончил общую часть и начал разбираться с выписками и заметками. Они торчали из генеральской книги, портя ее немецкую аккуратность. Кан вытаскивал их и складывал в нужном порядке. Вот — о замечательно уродливых калмыках, вот — о трухменах, ногайцах, терских казаках, русских раскольниках, карачаевцах, черкесах... «Автор исследования сожалеет, что по окончании войны более 400 000 черкесов выселилось в Турцию, где они, несмотря на своеволие и корыстолюбие властей, чувствуют себя довольно хорошо. Черкесы там занимают почетные места в армии, они уважаемы как надежные и храбрые служаки и вообще отличаются скромностью, любознательностью и благородным образом мышления. В Сирии они — интеллигентные и трудолюбивые земледельцы. Вообще своей интеллигентностью черкесы выделяются из всех азиатских подданных Турции, как этого и следовало ожидать, судя по строению их черепов: у черкеса на 200 — 300 граммов больше мозга, чем у турок и армян». Да, можно догадаться, при каких обстоятельствах вы, генерал, взвешивали мозги кавказских народов. Но что это дает? Мозг вашего соотечественника Иммануила Канта весил, как известно, всего несколько сотен граммов, но нравственный закон он разглядел, не вскрывая грудных клеток. Хотя тоже был пруссак и, казалось бы, мог себе позволить.

О чеченцах. «Чеченцы красивее осетин и лезгин и не знают никакого различия сословий. Сильно бросается в глаза часто встречающийся среди них еврейский тип, в особенности в лучших, живописных областях Чечни, в Ичкерии и Аухе. Отличаются этим типом преимущественно более интеллигентные представители народа. Растянутый выговор чеченцев также напоминает евреев...» Злой еврей, мама, ползет на берег, точит свой кинжал.

Мы с тобой знали, куда ехали!.. Так, обезоруживание. «Обезоруживание, пишет фон Эркерт, вообще невозможно, потому что горцы выдали бы ничтожную часть своего оружия, а массу такового спрятали бы в горах. Кроме того, акция вызвала бы крайнее неудовольствие, так как горцам оружие дороже, чем даже жена и дети. А вместо своих старых и довольно безвредных ружей они скоро приобрели бы себе ружья новой конструкции, более опасные. Это привычка и обычай. Стоит вспомнить, что на Западе дворяне ходили вооруженными, даже когда в государствах уже все было благоустроено. С распространением культуры и с подъемом образования ношение оружия исчезнет само собой».

Последнее, генерал, вызывает сомнение. На Кавказе Господь Бог обновляет цивилизацию с такой энергией, что долговременное благоустроение представляется недостижимым. Хотите, прочту вслух отрывок из древней летописи? Храплю неизвестно зачем. Кстати, генерал, вы не обижаетесь, что я с вами разговариваю? Вы ведь уже достигли абсолюта, а я со всякими земными глупостями. Но ведь черкесы, турки и армяне, мозгами которых вы интересовались, тоже без одобрения посматривали на вас из вышних пределов. Я все-таки прочту.

«В 1283 году на Страстной неделе, в Великую среду сотряслась земля страшно. Потом она сотряслась еще в четверг. Наступила суббота. К трем часам дня гневом воззрел Господь на вселенную и сотряс землю с основания ее так, что развалились церкви и монастыри, превратились в бесформенную массу крепости и дома. Горы и холмы высокие смялись, скалы расселись, земля потрескалась и извергла воду, похожую на смолу. Церковь в Ацквере (это около Боржома, генерал) развалилась: Богородица покоилась посередине церкви, купол оборвался и, подобно шапке, опустился на нее. Гнев Божий постиг Самцхе, и землетрясение тут длилось три месяца. Разрушился даже Мцхетский храм. Плач и рыдание были неизмеримы!» А вы говорите про распространение культуры и подъем образования. Все так, все правильно вроде бы, но ничто не помешает появлению здесь ружей новой конструкции. Тем более, что не все генералы такие умные, как вы, и кто-то обязательно отдаст приказ обезоружить горцев.

Вообще мы отвлеклись. Должен сказать, что ваше исследование, ваш взгляд на Кавказ как на большой еврейский кагал в моем изложении может вызвать кривотолки. Вот выхожу я читать сообщение, а в зале кто? В зале — покровитель отдела главноначальствующий и главнокомандующий генерал-адъютант, генерал от инфантерии князь Григорий Сергеевич Голицын, в зале — генерал-лейтенант Фрезе, генерал-лейтенант Зеленой, генерал-лейтенант Амилахвари, князь Иван Гивич, атаман казачьего войска генерал-лейтенант Малама... Они же разгневаются! А пожизненный член Солон Давидович Егиазаров просто умрет от гнева.

Кану вдруг сильно захотелось на улицу. Он надел пальто, шляпу и оглянулся на стол. Бумаги лежали ворохом, с пера на книгу текли чернила. Пропади все пропадом! Вышел из дому, но через несколько шагов остановился. Некуда. Не к кому. Разве что за город, в глухое место, где дорога, по которой никто никогда не ездит, и где приятно подолгу стоять, глядя в землю, ни о чем не думая, ничего не вспоминая. Тихо и умиротворенно сходить с ума, зная, что все-таки до конца не сойдешь, но от стояния сделается легче, и проще будут даваться некоторые важные вещи. И в том числе вещь важнейшая — возвращение домой.

Он добрался до своей пустой дороги, расстегнул пальто, снял шляпу и опустил голову. Мысли уходили постепенно, пока не осталась одна. О Палестине. Он понял, почему отсылает туда только деньги. Почему никогда не пишет колонистам писем. Потому, что ему нечего им сказать. Скоро ушла и эта мысль, но желанная пустота наступила совсем ненадолго. Вдали что-то громыхнуло. По вечно пустой дороге к городу спускался большой крытый экипаж. Пара крепких гнедых лошадей скакала прямо к

нему. Они быстро приближались, и Кан с удивлением заметил рядом с извозчиком телефонное устройство. Экипаж остановился совсем рядом, его дверца распахнулась, и оттуда не спеша прыгнул огромный черный дог. Он задрал ногу и стал шумно мочиться под чахлое придорожное деревце. Струя била в землю, вымывая все более расширяющуюся воронку. Так же не спеша дог выпрыгнул в экипаж, дверца захлопнулась, и тут как по команде шумно и обильно стали мочиться лошади. Все окуталось паром.

Зачем извозчику телефон? — подумал Кан, глядя вслед исчезающему вдали экипажу. И зачем мне эта жизнь? Надел шляпу, посмотрел на серые облака и крикнул:

— Господи, если бы ты разрешил мне выкопать могилу на небе, я бы хоть сейчас умер и лежал там тихо-тихо!

Он вернулся домой и снова сел за стол. Взял очередной листок с выписками, но тут же вскочил и забегал по скрипучему полу. Ну что ж это вы пишете, генерал? Откуда такие выводы? «Калмыкская национальная шапка с незначительными изменениями принята в уланских полках европейских армий. Шапка эта, с четырехугольным дном, теперь называется польской и носится почти всеми поляками. Она послужила также образцом для русских кучеров». Это, по-вашему, кавказоведение? Это, скажу вам как кавказец кавказцу, черт знает что! Это записки сумасшедшего! А что вы пишете об одежде женщин-кабардинок? «Около 900 года по Рождеству Христову кабардинцы на юге России служили в качестве пограничной стражи против кочевавших там враждебных племен. С тех пор у кабардинок и остался национальный костюм, напоминающий в главных своих частях форму венгерских гусар». Вы даже не любитель, генерал фон Эркерт! Ваши этнографические параллели дикобразны! Зачем вы умерли и зачем обзор ваших трудов поручен именно мне?! За что?!

Кан опять переместился на улицу и двинулся сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее к центру города. Навстречу стали попадаться знакомые — они поздравляли его с Новым годом. Он учтиво приподнимал шляпу и осматривался, будто кого-то искал. Возле закуской «Гамлет» стоял одинокий извозчик.

— А скажи, голубчик, — спросил у него Кан, — кто в нашем городе имеет карету с телефоном?

— Чего изволите?

— Спрашиваю, есть у кого-нибудь в Тифлисе карета с переговорным устройством? Чтоб седок кучеру распоряжение передавал по проводам?

— Нету такой и быть не может! А кабы была, так народ бы весь поднялся!

— Из-за чего ж ему подниматься-то?

— Поднялся б. Не стерпел. Всему мера есть!

— Да ну тебя, братец! — Кан плюнул и пошел было дальше, но обратил внимание на чемодан в багажном отделении коляски и прочитал вставленную в специальный карман визитную карточку: «Менделеев Дмитрий Иванович. Директор Главной Палаты мер и весов».

Кан рванулся внутрь «Гамлета», заранее зная, что пожалеет об этом, что нужно подумать, подготовиться, что вообще никакого разговора между ним и Менделеевым не может быть и не будет, а все получится глупее глупого. Но он уже вбежал в зал, что-то крича в сторону столика, за которым сидели Дмитрий Иванович Менделеев и местный психиатр Хачикян. Менделеев продолжал обедать и пить вино, он был суров, сумрачен и не делал никаких попыток спасти погибающего от восторга Кана. Он даже не смотрел в сторону несчастного присяжного поверенного. Господи! — неслось в голове у Кана, ведь он же может посмотреть на меня и спросить хотя бы: «Чем могу?» или «Чему обязан?». Чтоб я наконец смог замолчать и передохнуть. Я бы перестал молоть вздор. Я бы просто посидел, послушал, запомнил. Я бы принял самое скромное участие в беседе и, может, в

двух словах сказал бы что-то уместное. Например, о том землетрясении, когда из земли выступила похожая на смолу вода. Это ведь была нефть. Он бы заинтересовался, спросил: где? когда? А я бы тихонько ответил. Но Менделеев только молча ел, морщась от его выкриков. Потом положил нож и вилку на пустую тарелку и что-то наконец сказал. Что-то про физическую обсерваторию. Что там можно послушать молитвенные песнопения. Не иначе как в исполнении генеральского хора. Если тебя не понимают, нужно бежать! Иначе — черные псалмы, черный дог, черное беспаятельство. Бежать, бежать от чужого человека! И Кан бежал.

На улице все так же стояла пролетка. Извозчик дремал, подергивая поводья. Какая-то дама кормила лошадь цукатами из нарядной коробки. Никогда не нужно знакомиться с великими людьми, понял Кан. Они в плену собственных жизненных обстоятельств. Не нужно даже смотреть на них в моменты их личной жизни. Они хуже самих себя. И потом, чего я хотел от Менделеева? Ответа на мои вопросы? Но ведь я даже не могу их сформулировать. У меня просто больная душа. Скоро, скоро я стану лечиться у Хачикяна. Он хороший доктор. И человек. Он без надрыва, спокойно и подробно проживает собственную жизнь. И если к нему за столик подсаживается сам Менделеев, он усматривает в этом случай из собственной жизни.

Тут из закуской раздался жуткий рев доктора Хачикяна. Извозчик вскочил и натянул поводья. Одновременно с этим он плюнул и чуть не попал в даму. Дама выронила коробку с цукатами и выругалась по-грузински.

— Я тебя в часть сдам, сволочь этакая! — решительно произнес Кан.

— Прощенья просим, — сказал извозчик. — У нас это с детства: ежели испуг или расстройство, мамаша научили плевать. Иначе от души не отходит.

— Намордник носи, скотина! — гордо сказала дама. — И поводья отпусти — пусть лошади цукаты с земли подберут.

— Вы любите лошадей? — спросил у дамы Кан.

— Люблю. Я знаю всех лошадей и все экипажи в Тифлисе.

— В таком случае, не сочтите за труд, скажите, у кого в городе есть карета с телефоном?

— С телефоном? Ни у кого в Тифлисе нет кареты с телефоном. Такая карета есть за границей. По крайней мере, была у динамитчика Нобеля, пока он был еще жив. Придумал свой динамит и стал всего на свете бояться. Запирался в карете на ключ и руководил извозчиком по телефону.

— Я сегодня видел такую карету. Она въезжала в город.

— Это не карета в город въезжала. Это, прошу прощенья, вы с ума съезжали. С того света новогодних визитов не делают!

— Сударыня, — сказал вышедший из «Гамлета» молодой человек, — мы можем думать, что какой-то человек умер или не умер, но земля — неудачное место: здесь не так-то просто умереть. Хотя умереть, конечно, легче, чем понять ситуацию, в которой находится наш разум.

— Знаете что, Гурджиев, — сказала дама подбоченясь. — Идите к черту! Мой период увлечения вашими идеями закончен. Я не хочу ковыряться в пустоте, когда на свете есть дети, мужчины и лошади.

Кан взял молодого человека за рукав:

— Вы не скажете, почему доктор Хачикян издал такой громкий крик? Вы ведь были в зале.

— Не знаю. Я размышлял. Возможно, он хотел привлечь мое внимание. Да-да, помните, он производил выдающиеся звуки, настаивая на верховенстве абстрактного духа, но ведь я вижу смысл только в рациональном оккультизме...

— Идите к черту! — повторила дама, замахиваясь зонтом.

— А что говорил Менделеев?

— В каком смысле? — удивился молодой человек. — При чем здесь Менделеев? Отстаньте от меня. Я играю с огнем, вы все мне мешаете. — И он зашагал прочь.

— Менделеев? — спросила дама, уронив зонт в грязь. — Менделеев обедает в «Гамлете»?

— Ну Менделеев! — вмиг осерчал присяжный поверенный Кан. — Ну сидит, ну обедает! Ну что здесь такого! Ну что за невидаль! — Он повернулся и пошел, в голос возмущаясь некоторыми экзальтированными особами, питающими сверхъестественные надежды и восторги. Ведь сказано же: не сотвори себе кумира! Нужно наконец поумнеть, господа, нужно перестать наконец требовать высшую истину от великих людей! Они ее не знают! Они великие только тем, что свободные! Свободой нельзя поделиться! С Новым годом, господа! С Новым годом!

...За десять минут до начала заседания Кан, важно подняв голову, открыл парадные двери физической обсерватории, пожал руку попавшимся навстречу инспектору вод фон Вейсенгофу, инспектору удельных имений камергеру Мартынову и издалека сделал приветственную козу атаману Маламе. Обнялся с запыхавшимся директором обсерватории надворным советником Гласеком. Тот спросил:

— Все в порядке?

— Все в порядке, — ответил Кан. — У меня все в порядке. Я просто счастлив!

— Получил хорошее известие?

— Нет, отправил!

— Куда же?

— На Святую Землю! Куда же еще!

СЕРЕБРЯНАЯ ЧАРКА

— Вы чересчур напрягаете свою интуицию. Поверьте старому акушеру: роды — дело естественное, а церемония родовспоможения банальна. — Доктор Леопольд говорил без улыбки, но с добрым чувством. — Ясновидение здесь излишне. Достаточно тренировать память, руки и волю. Смотрите на вещи проще, и вы станете изрядным акушером. Либо бросайте медицину.

— И чем я, по-вашему, смогу заняться? — спросил русский стажер.

— О, — запрокинул голову вверх профессор Леопольд. — Я бы посоветовал литературу.

— Литература обманывает.

— Читателя?

— Писателя.

— В конце концов?

— В самом конце.

— Тогда прочь всю заумь и да здравствует честное акушерство!

— Да здравствует честное акушерство! Да здравствует клиника доктора Леопольда! *Es lebe der Stadt Drezden!*

— *Es lebe der Hauptstadt Petersburg! Aufwiderseen, mein lieber! Aufwiderseen!*¹

Ничего я не напрягаю. Ежели баба рождает под телегой, акушеру остаются теория и ясновидение. И еще большая рюмка водки. Налить из холодного штофа, махнуть в один глоток — да об пол! В крошку — мелкую, как соль. Домой мне пора. Или еще в Париж съездить? Говорят, Версаль

¹ — Да здравствует город Дрезден!

— Да здравствует столичный город Петербург! До свидания, мой дорогой! До свидания! (нем.)

открыт для всеобщего обозрения. Какой я ясновидящий? У нас пол-России ясновидящие. Все знают, что направление исторической жизни выбрано неверно. Знают, однако держатся в куче и не разбегаются. Поеду домой, напишу брошюрку о клинике доктора Леопольда, отчитаюсь... Конечно, любопытно было в Версаль осмотреть. С точки зрения безвыходности жизни. Человеки жилища строят, огораживают пространство по своим возможностям и представлениям, и монархи туда же — норовят все-ленную огородить. Стены — самая смешная часть архитектуры. Почему Парфенон хорош? Одни колонны к небу вопиют, а стены время растворило. Хотя кто их, греков, знает — может, они стен вовсе не строили, может, их только крыша интересовала? Климат — благодатный, стыда они практически не ведали... Домой мне пора, домой. Однако вы, славный доктор Леопольд, много режете. Там, где можно без хирургии обойтись, режете. И тот момент, когда вы в хирургию срываетесь, неуловим и непонятен. Вот вы меня интуитивистом обозвали и в литературу отослали, а я, герр Леопольд, русский акушер, и мне душа не возбраняется. Гроба душу мать!

— Вот где вещь настоящая, — сказал попутчик, передавая ему серебряную чарку. — Иной раз шмякнешь оземь, а она целехонька. Пей на здоровье!

Попутчиков, собственно, было трое: слесарь, столяр и истопник. Они возвращались из Парижа, со Всемирной выставки. Хотел спросить у них, что они там делали, особенно истопник, но не спросил, потому что не знал, за каким чертом сам торчал в Дрездене. Ехали домой, пили водку — чего еще надо? Истопник куда-то время от времени отлучался и потом делал сообщения. Раз вернулся и сказал: «Думает». Потом: «Куры строят». Потом: «На барышню рассердился».

— Ты куда, брат, бегаешь?

— А у нас в первом классе начальник едет. Не дай бог, что случится — нам в России места не найдется.

— Кто ж такой важный?

— Вот и важный! Менделеев Дмитрий Иванович. Слушай, вот ты — человек малость ученый. Ты бы пошел и эту барышню прогнал. Нельзя ему гневаться, нельзя на дураков жизнь изводить. Он, понимаешь, вот-вот мировой эфир на медную проволочку споймает.

Дама выпорхнула из купе, будучи ущипнута честной акушерской рукой значительно ниже талии. Молодой доктор сел напротив угрюмого Дмитрия Ивановича и спросил:

— Профессор, скажите, ради бога, зачем вы в Париж истопника брали?

Менделеев не удержал хмурого лица, улыбнулся, как дитя, и махнул рукой:

— Ни за чем. Так просто. Чтоб Париж посмотрел.

Тут все стало свободно и ясно. Допустили до себя дам, пили шампанское и пели песни.

— За что вы рассердились на меня, Дмитрий Иванович? — допытывалась раздуряившаяся дама.

— В каком месте? — многозначительно поднял брови профессор.

— Вы рассказывали, как летали на воздушном шаре, а я...

— Как летал на воздушном шаре?.. Да, я летал на воздушном шаре.

Господа, я летал на воздушном шаре и не мог приземлиться! Представьте — якорь я потерял. Остается канат, который кто-то должен принять и закрепить. Снижаюсь до нескольких метров над деревенькой. А деревенька пьяна в дым, гуляет, и не один человек не удосуживается глаза вверх поднять. Дую в рог, яко архангел Гавриил, — ноль внимания. Пишу записку — записка не падает, кружится рядом с корзиной... За малым, господа, не остался в небесах. Спасибо, какой-то подросток углядел — схватился за канат, взлетел вместе с шаром, но, слава богу, ловок оказался и в конце концов меня к дереву привязал.

— В конце концов? — спросил молодой доктор.

— В самом конце. Уже околица была, а за ней ни одного дерева — степь.

— А я, — продолжала свое дама, — лишь высказалась в том смысле, что нельзя вам Нобелевскую премию не дать. За что же вы рассердились?

— Помилуйте, я на дам вообще не сержусь.

— А вот я, — протянул руку доктор, — бывает, жутко на вашу сестру сердчаю и щиплюсь пребольно — с вывертом. Показать?

Поезд шел по Европе. В купе все чаще хлопало шампанское и взлетали яростные речи про то, что хуже нет напасти, когда основные понятия ускользают: то власть куда-то проваливается и получается сплошная пошлость, поскольку одно существо давит другое, то сама смерть начинает с разумом в прятки играть и срубленная голова катится в стереометрию за пространственным результатом... Месяц молодой, невнятный, рубеж столетий — то ли еще будет!

Серебряная чарка в третьем классе тоже неустанно ходила по кругу: от слесаря — к столяру, от столяра — к истопнику, от истопника — к слесарю. Проехали Вильно, и к бывшим попутчикам заглянул молодой доктор. Ему тут же назначили место между слесарем и столяром. Он выпил, дал двум каплям стечь на пол и сказал:

— Раз у России нет изъяснимого прошлого, то ни одна сволочь ее будущего не предскажет.

— Не то беда — предсказания, — промолвил столяр и облизнул ободок. — Нынешний день узковат.

— Дмитрий Иванович решил ехать со мной на Кавказ. Будет знакомиться с работой государевой физической обсерватории.

— С чего это вдруг? — спросил истопник, шаря рукой запропастившийся штоф. — Если мы теперь в Питер едем?

— Вы — в Питер, а мы — в Тифлис. Я Дмитрию Ивановичу говорю — хорошее, мол, нужное дело, а он говорит — конечно. У меня, говорю, брат в Тифлисе новую обсерваторию на ноги ставит. Я брата два года не видел. Могу я ему в помощь директора Палаты мер и весов привезти? Менделеев говорит — обязательно. В общем, загорелся Дмитрий Иванович. Да я, говорю, только бороду на эти маятники и хронометры наставлю — они сразу рысью побегут.

— Врешь ты все, — сказал слесарь.

— Не все! Мы с Дмитрием Ивановичем на Кавказ едем. Это без вранья. Какой же он человек замечательный! И брат мой — человек хороший. Все мы — хорошие, добрые люди! До того хорошие, что нам и расставаться нельзя.

— Можно, — сказал истопник. — Это разбойники ватагой ходят. А хороший человек может компании порадоваться, а может и домой пойти. Хорошие должны место жительства соблюдать.

— Нынешний день узковат, — повторил медлительный и глуховатый столяр, полагая, что говорит свое дважды кряду при полном молчании остальных, и опять лизнул чарку.

Пили не морщась. Через полдня Менделеев и молодой доктор пересели на другой поезд. А в Тифлисе, когда состав остановился у перрона и друг за дружкой залязгали вагонные буфера, Дмитрий Иванович спросил:

— Брат старший или младший?

— Был старший, да потом мы поменялись.

— Как так?

— Да ведь в Тифлисе нет времени. Не изобретено. Чай, не Дрезден.

Менделеев понимающе кивнул и стал по-стариковски спускаться на тифлисскую землю — спиной вперед, держась обеими руками за поручни. А доктор по-молодецки прыгнул и тут же оказался в объятиях похожего

на него человека с университетским значком. Но это был не брат. Брат был в неведении и встречать не собирался. Это был однокашник по медицинскому факультету, главный врач тифлисского роддома. Они радостно обозвали друг друга собакой, потрясли за плечи. Потом приезжий доктор пошептал местному, что приехал не один, а с Менделеевым, а местный тут же в ответ пошептал, что, мол, все это пустое, поскольку у него в родильной палате сейчас роженица с тяжелойшей эклампсией. Ты же магистерскую по этой самой проклятой эклампсии писал, а я, брат, уж руки опустил. Так что тебя бог или черт или сам Гиппократ принес. Поехали?

— Поехали, — сказал приезжий акушер. — Я только с Дмитрием Ивановичем объяснюсь.

Объяснился, отправил его к брату в обсерваторию, а сам с коллегой помчался в роддом, шевеля мозгами по поводу эклампсии и последнего ее случая, который он наблюдал в клинике доктора Леопольда, когда у благополучной роженицы вдруг ни с того ни с сего начались судороги. Они только начались, а он сразу узнал свою давнюю знакомую и Леопольду намекнул, и методу свою предложил, и обошлось, слава тебе господи.

Прибыли в роддом, зашли в кабинет, однокашник налил два стакана коньяка и говорит:

— С Новым годом и за встречу!

— Я, конечно, всю дорогу в напитках упражнялся и сейчас не трезв, — сказал приезжий, — но стакан этот — явно лишний. Пошли, брат-собака, роженицу смотреть.

— А нет никакой роженицы, — отвечает брат-собака и разваливается нога за ногу. — Ты мне пулю про Менделеева отлил, а я — насчет родовой эклампсии не растерялся. Какая, к черту, эклампсия в городе Тифлисе. Я, если хочешь знать, на тридцать коек одну роженицу имею. И то потому, что шлюха бездомная. Не положено здесь в казенном заведении рожать. Здесь дома, в присутствии всей родни, опрастываются. Повитуху пригласят — и всего делов.

— А если случай сложный?

— Если роды тяжелые, то дама на карачки станет и у буйвола меж ног пролезет. А если буйвол не поможет, тогда, конечно, позовут. Тогда, коллеги, позовут муллу. Мулла — безотказное средство. Младенцы вылетают как ядра. Турки вылетают, татары, грузины, армяне... Даже евреи вылетают самым благополучным образом...

В обсерватории Менделеева не было. Был брат, который от радости не мог попасть ногой в брюки, потому что то и дело бросал их на пол и с победным криком лез целоваться. Молодой доктор расхаживал по квартире брата, трогал вещи, пробовал голос, а затем почему-то грянул: «Пою тебе, о Гименей...», хотя они оба были холостяками. Потом завтракали, пили за Новый год и поминали родителей. Потом установили посреди обсерватории граммофон и слушали библейские псалмы в исполнении североамериканских негров. Брату не понравилось. И еще одному юному служителю обсерватории не понравилось. Сей птенец с дикими глазами выпрыгнул из подвала, немного задержался у граммофона и упорхнул, улетел в 1901 год. Бомбы, сходки, люэс. Ах, брат, брат, зачем ты ласков с бесноватым? Почему мы все ласковы с ними? О, эти юные щербатые шантажисты! Эти гомункулусы, вылетающие из наших рук спасать народы... Мы ведь видим их насквозь. Почему же не сворачиваем им шеи, не топчем ногами, не травим, как крыс? За что братству нашему такая странная судьба?

— За что братству нашему такая странная судьба? — спросил молодой доктор. — Откуда у нас чувство долга перед бесноватыми? Чем-то мы им, выходит, обязаны?

— Они — дети нашей невыразимой мечты, — ответил брат. — И тут ничего не поделаешь.

— Ладно, — сказал приезжий. — Прошлое и будущее — невыразимы. Время — не изобретено. Директор Палаты мер и весов похищен. Пойду я по Тифлису поброжу.

Он бродил по теплым и слякотным улицам, заглядывая в духаны, пока не вошел в тот, куда его никто не зазывал и не тянул. Здесь до него никому не было дела, потому что все тесно столпились в дальнем темноватом углу. Оттуда слышалось ворчание и бульканье, проникновенные голоса и тихий мужской плач. Доктор подошел и тронул кого-то за плечо. Человек немедленно обернулся и произнес:

— Ведь совсем хорошо было. А теперь что? Погибает.

— Кто погибает? Из-за чего?

— Герой погибает. Киликашвили рог на землю опрокинул. Кончается. Никогда больше не будет такого человека.

— Пропустите меня, — сказал доктор.

Тот, кого называли Киликашвили, — большой мужчина в грязной одежде, — лежал на столе среди яств и кувшинов и хрипел.

— Беритесь все, несите стол к свету, — приказал приезжий. — Говорите коротко, что произошло.

— Ничего не произошло, — сказал кто-то. — Сначала яблоко съел, потом тост выслушал, отхлебнул, рог уронил и умирать начал.

— Кашлял?

— Герои не кашляют.

— Поднимите его, наклоните свечи, чтоб я смог осмотреть гортань. Держите затылок, лоб и подбородок.

В красной колышущейся глубине огромной пасти что-то блестело. Доктор запустил туда руку и нащупал твердую, прижавшуюся к тканям монетку. Он начал двигать ее к себе, каждый раз заново фиксируя подушечкой среднего пальца. Он уже протащил ее через корень языка, когда Киликашвили перестал хрипеть и вырвался. Герой отбросил в сторону доктора, выплюнул серебряную монетку и опустил ноги со стола.

— Тост не считается, — сказал он. — Яблоко было с монетой, монета меня, как пробка, заткнула. Налейте мне рог и повторите тост про луну. И монету найдите.

— Кто тебе дал яблоко с монеткой? — спросил доктор, поднимаясь с пола.

— Хороший человек дал, воспитанный. Соломон Егиазаров дал. Я думал, в яблоке — две монетки, оказалось три. Одна была глубоко — под кожу ушла. Хорошо, что не пропала — мог выбросить, потому что яблоки не люблю. Иди сюда, приезжий человек, я тебя за свой стол посажу.

Кто-то уже разыскал потерянный рог и наполнил его. Невидимый тамада торжественно произнес: «За луну, что ярко светит, чтоб нам, беднякам, дорогу заметить, с пути не сбиться, в овраг не свалиться, насмерть не разбиться». Киликашвили взялся одной рукой за кинжал, второй поднял рог, вмещающий никак не меньше кружки Эсмарха, и плавно вылил себе в рот. Крики и выстрелы увенчали это событие.

— Хорошо новый век встречаем, красиво! — сказал, садясь, Киликашвили. — Дай бог следующий встретить не хуже.

— Ты хочешь встретить две тысячи первый год?

— Кто мне помешает?

— Смерть.

— Смерть? Плевал я на смерть! Умирают дураки и те, кто жизни не знает. Вот ты, например, жизнь знаешь? Ты думаешь, что знаешь. Ты видел, как брюхатую акулу потрошат? Ловят акулу, убивают, живот ей нараспашку, а внутри у нее то же море, только акулы в нем маленькие. Они куврыкаются по палубе и — за борт. Все! Это акулы. Живые акулы! Они

плывут, понимаешь, плывут по океану и никого не боятся. Это жизнь. Я видел! А что ты видел, расскажи!

— Ну, кесаревых сечений я уж точно побольше тебя видел. Я акушер.

— Акушер — это значит блядам аборт делать? — Глаза Киликашвили мгновенно вышли из орбит. — И ты этими руками полез ко мне в глотку?

Герой взмахнул кинжалом, но доктор ударил его сапогом в голень. Киликашвили дернулся, сжался и воткнул кинжал в стол. Молодой доктор выбежал на улицу и вскочил на извозчика. Метров через триста он хмыкнул и сказал извозчику в спину:

— Настоящее, пожалуй, тоже неизъяснимо. Остается жизнь в круге темных понятий. Она безумна, но привлекательна. Хотя жениться и детей заводить не стоит.

Играла музыка. Рыжие персы вытянулись возле своих волшебных лавок, где горы фруктов и сладостей были именно горами. Среди гор стояли замки и деревья. В небе летел маленький Менделеев и трубил в рожок. Все было настоящим, и все можно было съесть.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ИГОРЬ АНДРЕЕВ

*

В ДЖУНГЛЯХ ПРАПАМЯТИ

Африканские заметки

Будучи ученым-африканистом, хочу рассказать о некоторых «живых» реликтах далекого прошлого, отчасти осовремененных и вписанных в житейскую ткань нынешней жизни многих стран Тропической Африки.

В процессе эволюции самобытной африканской цивилизации первичное «социальное» братство по возрасту постепенно уступало место особому типу содружеству, комплектующемуся путем выстраивания иерархической пирамиды групп сверстников. По сути дела, речь идет о вполне естественной конкуренции между кровнородственным и функционально-возрастными принципами организации этноплеменной общности. Такого типа *параструктурой* по отношению к «нормальной», привычной, общепризнанной и достаточно досконально изученной кровнородственной системе родоплеменных вождей и межплеменных «королей» выступают *секретные ритуальные сообщества*.

Классической — в смысле «пронизанности» многочисленными и разнообразными тайными обществами в Африке — считается Сьерра-Леоне. Страна ими буквально кишит, будто джунгли змеями. Секретные обрядовые ассоциации — по мнению местной профессуры — как правило, возникали или «оживали» после длительной «спячки» именно на волне отчаяния и бессилия простолюдинов перед лицом авторитарного произвола племенных вождей. Их беспредел доходил до того, что они продавали подданных в рабство и в гаремы османских султанов.

Поэтому во Фритаунском университете, например, изучение подобных обществ осуществляется главным образом под углом зрения их роли хранителей народных традиций и своего рода «противовеса» всем иным видам власти и любого социально-психологического подавления «своих» соплеменников, откуда бы оно ни исходило.

Тайные ритуальные корпорации были и остаются важным элементом социального устройства в рамках самобытной африканской цивилизации. Одна из их важнейших функций — контроль за системой местной власти, деятельностью региональных вождей и этнических «королей», превентивное ограничение автократизма тех и других. Они специфическими средствами осуществляют «традиционное правосудие», обеспечивая строгое соблюдение обычаев, в том числе выгодных высшим должностным лицам секретных союзов, с целью замены еще сохраняющихся институтов первобытной демократии геронтократией — безоговорочным господством стариков. Последние стремятся укрепить свое положение, удерживая за собой вековые секреты и некоторые функции, предоставляемые в ритуальном обществе старшим по возрасту и по рангу.

При этом перенесенная из возрастных братств и объединений привычка взаимопомощи и взаимозаменяемости в критических ситуациях трансформи-

Андреев Игорь Леонидович (род. в 1939) — доктор философских наук, профессор, автор многих книг по проблемам Африки и философской антропологии. В «Новом мире» публикуется впервые.

руется в мистический, окутанный зловещими ритуалами языческий фанатизм. Зачастую специально «подогреваемая» и во многом искусственная таинственность открывает возможность паразитирования верхушечных социальных групп (прежде всего традиционной геронтократии) на глубоком невежестве и сильно развитой внушаемости подавляющей части сородичей и общинников. «Теневые» лидеры путем инициирования и умело драматизированной «подачи» напряженных стрессовых ситуаций, включая изощренное провоцирование массовых психозов и даже локальных психических эпидемий, могут относительно легко манипулировать поведением последних.

Эпитет «тайные» отнюдь не словесное украшение описываемого явления. Это одна из его ключевых, сущностных характеристик. Ритуальные товарищества буквально сотканы из эмоций страха, магии и мистики, примитивной секретности и жестокого террора. Впрочем, в самой этой скрытности есть специфическая оборотная сторона — активное афиширование акций, осуществленных братством (в том числе через незатейливый, но надежный механизм слухов и домыслов) при строгом сохранении инкогнито их участников.

Такого рода конспиративность обусловлена прежде всего стремлением скрыть факт косвенного (а иногда и прямого) нарушения кровнородственной солидарности, обезопасить себя от наказания со стороны родовых старейшин, предков и их духов, а также от возможной мести со стороны священных тотемов. Поэтому в церемониях и ритуалах «братья» участвуют переодетыми (причем в «тайной» одежде проявляется тенденция к унификации), называют друг друга «тайными» именами, подчиняются «тайным» командам и вообще обмениваются только «тайными» условными знаками, что сводит на нет риск быть узанными со стороны непосвященных и гарантирует определенную безопасность от возможных репрессий со стороны авторитарного руководства кровнородственной организации либо карательных органов государства. Не случайно в окутавшей деятельность тайных ритуальных обществ плотной пелене мистицизма и гипнотического ореола на первом месте, как правило, фигурирует феномен невидимости и неузнаваемости, а также различные реальные и мистические средства его достижения.

Другой аспект таинственности ритуальных братств заключается в функции устрашения непосвященных и злостных нарушителей веками установившихся традиций и обычаев. Кровную месть за ритуальные убийства во время жертвенных церемоний или в ходе «тайных» расправ с виновными конкретно некому адресовать, тем более что такое товарищество отнюдь не является совокупностью родственников, по традиции солидарно ответственных за содеянное, а переодетие и ритуальная экипировка деперсонифицируют участников подобных «тайных» репрессий. Именно «скрытность» членства в секретных ритуальных товариществах позволяет его руководителям постоянно получать необходимую информацию о различных аспектах социальной жизни в рамках кровнородственных структур, оперативно и метко осуществлять акты террора и другие действия. Это ускоряет, в принципе, естественное разложение последних, порождая подозрительность, опасение вездесущих «невидимых» глаз и ушей «посвященных». Видимо, здесь и зарыта собака панической боязни первых колонизаторов, миссионеров и колонистов. В тревожных звуках тамтамов, темпераментных боевых плясках, устрашающих масках и фетишах они видели неподвластную им стихию не поддающейся культуртрегерству самоытной африканской цивилизации.

Кстати, механизм запугивания — это не только форма регулирования отношений с непосвященными, он пронизывает и внутрикорпоративные связи. В тайных союзах всемерно поддерживается страх перед коллективной мезью братства в случае малейшего отступления от его устава и неповиновения руководству. Опять же «копируется», будто через кальку, старый обычай объявления «чужим» и позорного изгнания из рода серьезно провинившегося соплеменника, обрекаемого тем самым на неизбежные страдания и гибель.

Так возникло своего рода раздвоение первичной публичной власти через формирование ее «теневого» параллельной структуры, заимствовавшей многие черты исходного кровнородственного механизма социального регулирования.

В Сьерра-Леоне ритуальное общество Поро издавна играло и до сих пор продолжает играть кое-где роль тайной судебной коллегии по отношению ко всем племенам, с которыми оно связано. Одной из его важнейших функций издавна было взыскание долгов и наказание неисправных должников; другой — подавление межплеменной розни. В выполнении акций второго рода карательный корпус братства составляли все члены Поро, нейтральных племенных групп, которые ночью, вооруженные, в устрашающих масках, нападали на селения «провинившегося» племени.

Превентивные меры против местнических тенденций родовой верхушки с целью расчистки торговых путей, включая, естественно, контрабандистские тропы, к океанскому побережью, а также взыскания долгов с помощью «замаскированных сыщиков» осуществляет тайное общество Игбо («Пантера») в Камеруне и ряде сопредельных стран. На трупах жертв своих расправ его члены оставляли «тайную» метку: они прокусывали им сонную артерию щипцами, по форме копирующими след зубов пантеры...

Африканка как бы противостоит в традиционном обществе мужчине. Это не антагонизм, а разумная оппозиция представителей противоположных полов, дающая каждому из них определенное «поле» для маневра в групповых по сути своей отношениях друг с другом. Мужчины издревле инкриминируют своим подругам разрыв человека с небесами. Аргументируя столь неразумное и кощунственное деяние, обычно рассказывают легенду о том, что некогда одна из женщин ударила бога то ли мотыгой (в эпосе племени динка в Южном Судане), то ли деревянным пестом, которым она толкла местный вареный корнеплод, называемый кассавой (в фольклоре народности акан в Гане), когда бог обратился к ней с каким-то, не исключено, что фривольным, предложением. Глубоко оскорбленное языческое божество, не отличаясь снисходительностью и терпением, покинуло землю, бросив людей на произвол судьбы и духов предков, а также строго-настрого запретив им даже появляться в своей небесной обители. После этого уделом женщин стала земля, а на земле — вода. Небо же больше благоволит к невиновным в данном скандале мужчинам, предпочитающим, кстати, воде ее небесного антагониста — огонь.

Словом, африканский менталитет с самых незапамятных времен однозначно считает символом феминизма воду — стихию упругую, эластичную, естественную, податливую, легко приспособляющуюся к меняющимся обстоятельствам, но вместе с тем совершенно необходимую для людского существования и сочетающуюся в этом смысле с культом плодородия. Согласно местным легендам многих этносов Западной Африки, с представителями которых мне довелось общаться, все самые важные тайны африканских женщин — на дне морском. Поэтому неудивительно, что руководительницы и многие активистки секретных феминистских ассоциаций, продолжая заложенную полумифическими первоматерями традицию совместных женских купаний гольшом, много времени проводят в воде, дабы получить ответы на волнующие их вопросы от своих давно ушедших из земной жизни в родную водную стихию прародительниц.

Поэтический образ такого ритуала в интерпретации сенегальского поэта Шейка Ахмеда Ндао, принципиально отрицающего знаки препинания как разрывающие «поток неосознаваемого сознания», выглядит одновременно и весьма живописно, и по-своему «концептуально»:

Жрицы
Древнего бога морского
Старинного таинства
Пляска волн
Молчаливая дрожь зыбей

Струенье волос под дождем
 Намокшие пряди на влажных плечах
 В неоглядной Сахаре водорослей татуированной тушью спрута.

В Сьерра-Леоне до сих пор функционируют связанные с культом воды женские тайные ритуальные общества Санде и Бондо, Хумон и Раруба. Они готовят девушек к вступлению в брак и всячески ограждают соплеменниц от физического, психологического и экономического произвола со стороны мужчин — вплоть до осуществления жестоких коллективных расправ над чересчур «зарвавшимися».

...В странах Западной Африки, где через саванну, протянувшуюся вдоль всей южной кромки Сахары, протекает величественная водная артерия Конго, неотъемлемым персонажем местных тотемических и мифологических представлений выступает обитающий в ее водах крокодил. Поэтому целый ряд местных секретных ритуальных ассоциаций, в том числе и женских, естественно, связан с его культом. Многие женщины, например, искренне уверены в том, что их «вторая душа» находится в какой-то обитающей совсем недалеко крокодилнице, выступающей в роли ее alter ego, а также наперсницы, защитницы, советчицы, скрытой от чужих взоров духовной «половины». Великий швейцарский психолог Карл Густав Юнг во время полевых экспедиций неоднократно сталкивался с подобными сюжетами, совершенно непостижимыми для причинно-следственной логики европейца и являющимися, как он образно выразился, древнейшим психическим архетипом, «осадком» всего, что было пережито человечеством, вплоть до самых темных начал.

В отличие от отвратительных — в свете эстетических представлений европейской культуры — крокодилиц культ русалок, как известно, почитается в ее рамках как символ загадочного романтизма и непредсказуемой водной стихии. Как говорится, кому что нравится.

...В нынешних условиях расползания по континенту стихии рыночных отношений сферу мелкого овощного и фруктового бизнеса захватили энергичные и горластые торговки, «мамми», которые перенесли под навес нехитрого лотка значительную часть своей «бабьей» жизни, включая кормление и воспитание малых детей. Тайные ассоциации обрели тем самым некую дополнительную материальную базу в виде «живых» денег, а кроме того, стремятся тем самым заявить о своих специфически женских интересах и чаяниях в неведомом им прежде политическом плане. В частности, некоторые «мамми» заседают сегодня в парламентах своих стран, представляя там первые общественно-политические организации женщин, городские окраины и... тайные женские ритуальные общества одновременно. Нередко политические путчи и даже перевороты (естественно, на предварительно «разогретой» социально-психологической базе) начинались с крикливого стихийного «бабьего бунта» на столичном рынке, который, словно пожар в иссушенной солнцем саванне, быстро перебрасывался на городские улицы и предместья, а от них — в парламенты и президентские дворцы. Известны случаи, когда политики отменяли в результате таких акций собственные непопулярные указы, а подчас, не успев этого сделать вовремя, лишались своих постов...

Конечно, фотокорреспондентов, да и вообще свидетелей на такого рода ритуальные акции не приглашают. Более того, даже невольное вторжение в любые дела тайных обществ чревато, повторяю, опасностью для жизни тех, кто с ними так или иначе соприкоснулся. Поэтому картину происходящего вдали от посторонних глаз приходится тщательно восстанавливать буквально по крупицам, как многоцветное мозаичное панно.

...Люди-муру, экстренно собранные по секретному сигналу специального тамтама в глухом, неизвестном непосвященном месте, готовятся к весьма важному для всего тайного общества ритуальному действу. Лидеры-старейшины старательно колдуют над только им одним достоверно известными рецептами чудодейственных, обычно психотропных снадобий полунаркотического свой-

ства, скрупулезно уточняют тысячелетиями тщательно разработанные сценарии особых мистерий, призванных быстро и надежно погрузить непосредственных участников ритуала в трансогипнотическое состояние, облегчающее им вхождение в заранее заданный «образ».

Те же в это время старательно раскрашивают свои лица и тела характерными пятнами, закутываются в леопардовые шкуры, цепляют к поясу наподобие хвоста цепь, завернутую в пестрый, типа камуфляжа, материал и энергично размахивают ею. Музыкальная прелюдия особых тамтамов как бы создает звуковой «портрет» предмета предстоящего воплощения. Движения танцующих все больше напоминают тотемный боевой охотничий танец, включающий в себя характерные позы и ритмику сильных и ловких пятнистых хищников. Люди плавно и неслышно ступают по земле, по-животному потягиваются, выгибают спины, разминают мышцы, картинно скалят зубы. Затем резко и неожиданно, будто пестро раскрашенной стрелой, выпущенной из мифологического лука предков, бросаются на воображаемую жертву. Боевой настрой создается и поддерживается пением старинных ритуальных песен, больше напоминающих вербальное психологическое «подкрепление» образа своего тотема и усиливающих стремление максимально точно соответствовать его облику и поведению:

Глаза леопарда подобны огню.
Хвост леопарда не знает усталости.
Но самое страшное в нем — это когти,
Которые в мягкие лапы упрятаны.

Когти хищника нередко имитируются тройками небольших ножей или крючьев типа альпинистских кошек для преодоления ледников, только с загнутыми концами, и надеваются они не на горные ботинки, а на руки и реže на ноги, обмотанные тканью. Иногда вместо них используются осколки камней или острые морские раковины.

Глухая тревожная музыка, начавшись в темпе дыхания, постепенно приближается к ритмике биения сердца, обретает силу гипноза и до предела нагнетает атмосферу напряженного ожидания, готовности к яростному, безжалостному броску. Звучит новая «ода» в честь леопарда — «носителя» твоей души, психологического «двойника», коварного друга, всевидящего тотема:

Ты — нежный охотник,
Который, играя хвостом,
Сокрушает хребет антилопы.
Ты — красавица смерть,
Которая в платье пятнистом
Подбирается к жертве.
Ты — игривый убийца,
Который в любовных объятьях
Разрывает антилопе сердце...

Трагическая роль «антилопы» в готовящемся зловещем ритуале была, насколько знаю, предуготована незадачливому соплеменнику, который, сопровождая на сафари нанявших его за гроши охотников-американцев, под коварным воздействием заморской «огненной воды» нечаянно раскрыл находившемуся среди них дотошному писателю некоторые из самых сокровенных ритуальных секретов. Души предков — основателей общества и духи-покровители муру, вселявшиеся во время церемонии в своих потомков-почитателей, солидарно воззвали к скорейшему мщению. Отступника известили об этом, подбросив к дверям его хижины маленькую бронзовую фигурку тотема, того самого, которого он вольно или невольно, но кровно «обидел».

Однако, будучи каждый вечер пьяным и возвращаясь домой в кромешной тьме, этот опытный следопыт даже не заметил зловещую «метку», своего рода вещественно-символический «протокол» приговора тайной лесной коллегии. Более того, словно специально споткнувшись там, где лежал «сигнальный»

фетиш, несчастный случайно отбросил неузнанный им ритуальный предмет в жидкие придорожные кусты, окаймленные жухлой травой. Духи предков явно отвернулись от того, кому прежде столь же явно благоволили. Да и сам он на этот раз оказался не разумнее своей курицы, которая принялась клевать знак беды и смерти, адресованный ее хозяину, забывшему священные обычаи.

Словом, все, чего требовал предварительный ритуал предупреждения и призыва одуматься, было скрупулезно соблюдено с необходимыми в таких случаях деталями и формальностями. Но жертва сама упорно и настойчиво, даже как-то возмутительно вызывающе шла навстречу своей неминуемой гибели. Страшная тень зловещей расправы грозовой тучей нависла над пьяной бедовой головой ничего не подозревавшего несчастного отступника.

И вот на голову «исполнителю» надевается священная маска. В ней африканец как бы перестает быть самим собой — таким, каким его привыкли видеть другие и каким он сам привык себя ощущать. Индивид становится совершенно *другим*, «возвращается» в раннеэволюционный мир зоологии. Иначе говоря, ритуальная маска для него — отнюдь не средство маскировки, а своего рода завещанный предками ключ к психологическому перевоплощению.

...Глухой рокот тамтамов продолжает взвинчивать нервы, подогревая нетерпение, усиливая давление на психику, вызывая готовность к бесстрашным и бездумным агрессивным действиям в честь своего тотема или духа того, чей призыв о мщении услышан и кто берет на себя всю тяжесть ответственности (в людском понимании) за то, что вот-вот предстоит совершить. Граница социального, зоологического и мифологического миров стала не только прозрачной, но и призрачной. Она все тоньше и тоньше, вот-вот прорвется.

Как раз в это время наблюдатель-сигнальщик подает условный знак появления давно уже поджидаемой жертвы. С имитацией урчаний леопарда ударная «группа расправы» на четвереньках приближается к тропе, забираясь на нижние толстые ветви деревьев либо устраиваясь в близлежащих кустах. Едва провинившийся и приговоренный к ритуальному наказанию их прежний сотоварищ оказывается в пределах досягаемости этих «психологических мутантов», как они с характерным жутким рыком хищника из засады вероломно набрасываются на растерявшуюся от неожиданности и мигом протрезвевшую жертву, перебивают ей позвоночник цепью, условно замаскированной «под хвост», перерезают жилы на шее надетыми на руки металлическими крючьями, специально зазубренным ножом или острой раковиной и, ломая кости, разрывают тело на крупные части «по схеме» настоящего леопарда, нередко используя в гипнотическом угаре собственные зубы.

Но вот жуткая расправа свершилась. Дело сделано. Вгоняющая в дрожь нервная дробь чутких тамтамов сменяется постепенным переходом на плавно-замедленный, успокаивающий, угасающий, убаюкивающий ритм. Забрызганные кровью «леопарды», изнемогая после пережитого напряжения, валятся на землю, снимают маски, прочую церемониальную амуницию, «отключаются» и... почти мгновенно засыпают. Затемно в крохотном озерце, сохранившемся со времени сезона дождей, они совершат ритуальное омовение, чтобы снять с души грех и кошмар происшедшей расправы, и как ни в чем не бывало еще до первых петухов возвратятся в родные хижинки. Домочадцы несомненно слышали зловещую ритмику ритуальных тамтамов, а потому, естественно, не зная подробностей происшедшего, догадываются, что минувшей ночью тайное общество вершило свое зловещее «правосудие». Но вопросов, естественно, не задают, дабы не стать его следующей жертвой и не искушать по неосторожности отца, брата или мужа. Спасибо предкам, что не они сами стали объектом их праведного гнева!

Кстати, отнюдь не исключается определенная степень родства между ритуальными палачами и их жертвами, нередко братьями. Во всяком случае, вызов «конкурирующим» кровнородственным отношениям принципиально поощряется неписанным уставом большинства секретных товариществ. Тем самым до-

стигается еще и другая цель: крепче «повязать» новообращенных и продемонстрировать им на деле реальную цену возможного отступничества.

Впрочем, и американцы, приехавшие вглубь континента ради экзотики знаменитых местных сафари, слышали душераздирающие предсмертные вопли жертвы и смогли узнать голос своего проводника-«егеря». Однако, поскольку уже стемнело, на его поиск, опасаясь мести джунглей, с трудом решили отправиться только с рассветом. Долго плутали, пока наконец не попали на поляну, где обнаружили разбросанные по траве и кустам клочья одежды и окровавленные останки несчастного, которые потихоньку уже начали растаскивать вороватые гиены и голошеие грифы, по пикированию которых и было найдено место страшной казни.

Мнение было единым и единственным: один из лучших во всей округе следопытов и охотников, должно быть под влиянием коварного заморского виски, утратил привычную осторожность и потому стал жертвой внезапного нападения озлобленного леопарда-людоеда, которому кто-то помешал завершить кровавую трапезу.

Култ Леопарда снова дал о себе знать в 1994 году. В представительство Международного Красного Креста одного провинциального либерийского городка неизвестные люди тайком доставили восемь зверски растерзанных тел женщин и детей, некоторые из них были обезглавлены, но двое — женщина и ребенок — оставались еще живыми, хотя, объятые ужасом, ничего не рассказали. Весь местный персонал ближайшего госпиталя, узнав о появлении в нем таким образом обезображенных тел, немедленно разбежался. Хирург-мулат из Коста-Рики, осмотревший с помощью одного из отважных местных медбратьев трупы, обратил внимание на явные следы человеческих зубов, свидетельствующие о том, что отдельные мышцы и органы были буквально выгрызены из тел отнюдь не леопардом. Да и как леопард мог напасть одновременно на восемь человек? Тем более, что охотятся леопарды сугубо «индивидуально», в отличие, скажем, от гиен и волков.

Пока Р. Буркатти, представитель Красного Креста, связывался с криминальной полицией, женщина, оставшаяся живой, исчезла из палаты вместе с ребенком, несмотря на заблаговременно выставленную и, казалось бы, надежную охрану, а обоих медиков, принимавших участие во вскрытии изуродованных трупов, обнаружили столь же зверски убитыми. Прибывшая полиция и тут обнаружила «почерк» Леопарда. Круг замкнулся!

Однако, поскольку дело неожиданно получило международную огласку, в страну срочно прибыла специальная бригада сыщиков, следователей и экспертов Интерпола, имевшая солидный опыт борьбы с террористами в джунглях Азии и Южной Америки. Но тщетно она полгода искала неуловимых «пятнистых братьев» — их след простыл. Вернее, они растворились среди обычных людей, какими оставались вне чудовищных церемоний и ритуалов.

Что же это за мир, населенный какими-то оборотнями: днем — нормальными, по крайней мере с виду, людьми, ночью — жестокими, злобно-агрессивными животными, нелюдями? Где ключ к рациональному (без мистики) пониманию такого рода иррациональных явлений, раскрытия сложного психологического механизма столь удивительных групповых перевоплощений? Не означает ли это, что в глубинах человеческого мозга есть нечто, эффективно резонирующее с далеким-предалеким, еще животным, зоологическим прошлым?

Несомненно, участники тайной ритуальной акции были «погружены» в глубинное генетическое, «дочеловеческое» бытие. Роль «машины времени» сыграло при этом искусственное возбуждение и умелое акцентуирование подкорковых структур головного мозга при нейтрализации на это время коры больших полушарий по принципу «короткого замыкания». Вспоминается в данной связи высказывание одного моего африканского друга после участия в ритуальном действе (надеюсь, не каннибальского типа): «Ничего не помню.

Был где-то далеко-далеко. Потом нашел себя здесь, дома, в своей хижине. Ощущение такое, что в голове совсем пусто. Сегодня работать совсем не могу, буду только спать, спать и спать». В таких случаях, видимо, оживают не только изучавшиеся Павловым и Фрейдом подкорковые структуры, носящие название лимбической системы, «заимствованной» человеком от теплокровных млекопитающих, но и гораздо более древние фрагменты мозга — те, что когда-то успешно обеспечивали жизнедеятельность находящихся среди наших эволюционных предшественников хладнокровных рептилий. Речь идет о ретикулярной формации в нижней части черепа — на самой границе со спинным мозгом и еще совсем недавно большинством ученых к нему относимой.

«Поведенческий скелет» первобытного человека включал в себя несколько сменяющих друг друга программ действия: поисково-инстинктивных, избирательных и стереотипных, повторяющихся, в принципе, лишенных всяких новаций. Вне экстремальных ситуаций вторые (групповые, массовые, ритуальные), как правило, явно преобладали над первыми (ответственные решения обычно принимали традиционные лидеры). Именно вожди, старейшины и колдуны, наследуя навыки эффективного воздействия на психику вечно настороженного архаического человека, могли играть роль физиологического «реле», способного осуществить «запуск» фантастически мощного генетического «лифта», способного достаточно плавно «опустить», а затем вновь «поднять» архаического человека по стволу древа эволюции на миллионы и даже десятки миллионов лет.

Этот феномен — отнюдь не чисто африканское явление. В той или иной мере он характерен для представителей всех преимущественно «природных» цивилизаций. Уже само по себе отсутствие письменности и достаточно плотных и регулярных устных и тамтамовых информационных контактов с использованием абстрактных символов и знаковых систем оставляют резервными многие из потенциальных возможностей левого полушария головного мозга, специализированного, как правило, на речевых и вербальных функциях. Зато правое полушарие у людей, «погруженных» в природу в гораздо большей степени, нежели в социальные взаимоотношения, натренировано прежде всего на эмоционально-чувственное, образно-интуитивное восприятие действительности.

Именно здесь лежит одна из физиологических причин того, что практически все представители традиционных цивилизаций гораздо легче и естественнее «вживаются» в хорошо знакомые и уже в силу этого близкие им «образы» персонажей зоологического мира. Более того, они вполне допускают «жизнь» одной и той же души в обоих — человеческом и животном — мирах одновременно. Юнг, проводивший полевые исследования в Восточной Африке, среди индейцев Южной Америки и папуасов Новой Гвинеи, неоднократно отмечал это обстоятельство. Он вспоминал, как один белый охотник застрелил крокодила. Сразу после этого из соседней деревни прибежало множество людей; крайне возбужденные, они требовали компенсации за нанесенный ущерб. Дело в том, что крокодил, оказывается, был на самом деле одной старой женщиной из этой деревни, которая умерла как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Очевидно, ее душа находилась в этом крокодиле. Другой охотник застрелил леопарда, который угрожал скоту. В это же время в соседнем селении умерла женщина. Она также была отождествлена с убитым леопардом.

Грани данного феномена удивительно многообразны: от символики в элементах моды до «кодировки» криминальных атрибутов. Во всей Тропической Африке леопард — символ неоспоримой власти. Шкура леопарда — непременная принадлежность туалета знати самого высшего ранга. Но в нее же завертывается не имеющий на то никакого права простолудин — герой романа нигерийского прозаика Элечи Амади «Большие пруды», чтобы убить своего заклятого врага. Когда это не удается, он в безотчетном страхе перед неотвратимой ужасной мстью «хозяина» шкуры топится в пруду, вступая тем самым в незримый спор с богами и предками, даровавшими ему жизнь. Но их он бо-

ится все же меньше, чем притаившегося в тени джунглей жестокого и мстительного леопарда.

В прекрасном романе «Жрица леопардов» английского офицера Роберта Сазерленда Рэттрея, прослужившего в колонии Золотой Берег (ныне Республика Гана) более четверти века, возникает совершенно нетипичная для традиционного общества ситуация неодолимой любви чернокожих Ромео и Джульетты. Они — родственники, они нарушают экзогамный запрет сексуальной любви, да еще вдобавок не дождавшись обязательно предшествующего соитию обряда инициации. Они подкупают ту, что должна лишить ее девственности, которой уже давно нет. В довершение всего они собираются сбежать куда глаза глядят, чтобы вдоволь насладиться друг другом, не думая об остальных соплеменниках и предках. Словом, по всем канонам традиционного общества они фатально обречены на гибель. И более того — буквально спешат навстречу ей.

В конце концов так оно и происходит. Она погибает от укуса ядовитой змеи. Он в то же самое мгновение вонзает себе в ногу отравленную стрелу. Как отступников, но все-таки «своих», пылких любовников, чтобы не различать их грешные души, потрясенные соплеменники предают пламени одного погребального костра. И тут случается чудо: из огня выпрыгивает пара молодых леопардов, которые начинают игриво ласкать друг друга, лишней раз демонстрируя, что любовь побеждает смерть. Вольным леопардам никто не страшен. Они игнорируют давно превратившиеся в предрассудки допотопные традиции, неодолимо вставшие на пути влюбленных сердец, которые предпочли совместный уход в «тот» мир неизбежной в ином случае разлуке. Их души как бы обрели вторую телесную оболочку. В этом красивом мифе смерть стала прелюдией желанной жизни, но уже не в посюстороннем бытии, а «там», среди мудрых предков, могущих понять и простить великую всепоглощающую, неодолимую и сжигающую страсть своих кровных потомков.

Однако аналогичная психологическая метаморфоза сопровождается подчас и самые жуткие каннибальские сюжеты. В 1946 году в разных районах Нигерии было найдено около восьмидесяти жертв со вскрытыми венами, вынутыми сердцами и легкими. И все это — в окружении «леопардовых» следов. Оперативно были приняты жесткие экстраординарные меры, введен комендантский час, за головы «леопардов», которых полиция поспешила объявить одетыми в камуфляж сепаратистами, власти назначили хорошее денежное вознаграждение. Объятые ужасом окрестные жители даже не хотели слышать, что убийцами являются вовсе не взбудораженные нарушением священных обычаев духи предков, а всего-навсего переодетые бандиты, изощренно использующие древний ритуал и его зловещие каннибальские атрибуты для запугивания населения и подрыва престижа колониальной администрации.

В конце концов из нескольких сот арестованных по подозрению в причастности к зверским акциям были осуждены и повешены восемнадцать человек. Успокоившиеся было деревни вскоре вновь замерли в тревожном ожидании, поскольку совсем недалеко от мест казни в глухих лесных зарослях вскоре обнаружили ровно восемнадцать... мертвых леопардов! Как после этого архаическому человеку не поверить в «единство и родство» душ виновных убийц и невиновных убиенных?!

Известный рекордсмен по погружению на стометровые морские глубины безо всякого специального снаряжения Жак Майоль рассказал в своей книге «Человек-дельфин» о случае, когда предварительно введенному в гипнотический транс туземцу внушили, что он — калан. Так начинается удивительная морская выдра, лапки которой очень напоминают напояющиеся дамские пальчики. Ими калан (перевернувшись в воде на спину) кладет себе на брюхо подходящий камень, на него раковину с моллюском, а другим камнем разбивает его панцирь. Но в основном он питается рыбой. Так вот, человек, «вошедший в образ» калана, на четвереньках вбежал в воду на побережье Тихого оке-

ана, провел на глубине около четырех минут, а затем появился с громадной рыбиной в зубах. Подводная фотосъемка этого эпизода французской аквалангисткой-этнологом подтвердила, что под водой он себя вел совсем «как калан».

Другой подобный эпизод был зафиксирован на одном из крупных островов в Карибском море. Во время очередного праздника поклонников вудуизма несколько островитян под воздействием местных снадобий и ритуального гипноза «почувствовали» свое превращение в обезьян. С присущей последним ловкостью они практически мгновенно вскарабкались на высоченную пальму, строили оттуда рожи, паясничали, передразнивали людей, находящихся внизу... до тех пор, пока (в результате прекращения действия снадобья и гипноза) они не вернулись в свое обычное, людское, состояние. После этого раздались отчаянные вопли испуга и призывы о помощи. Однако спуститься с такой головокружительной высоты они не могли, соответственно и к ним на подмогу никто не мог подняться. Только прибывшие на выручку брандмейстеры с помощью выдвижных лестниц спустили на землю незадачливых «обезьян».

Граница между людьми и животными в сознании большинства представителей традиционного африканского общества порою оказывается настолько зыбкой и «обратимой», что вкупе с психическим настроем на глубинное единство всей живой природы создает возможность толкований в духе самых удивительных с нашей точки зрения взаимопревращений элементарных в принципе событий. Юнг привел по-своему классический пример такого рода «инверсионной» логики из личных *полевых* наблюдений. Некий каторжник из числа местных жителей ускользнул от стражи и, переправляясь через реку, наткнулся на крокодила. Когда он появился в родной деревне, будучи покалеченным громадной рептилией, никому из сородичей и соседей не пришло в голову ничего иного, кроме того, как объявить, что в личине аллигатора оказался на самом деле отправленный за ним в погоню полицейский. В конце концов с этим согласился и сам беглец, радовавшийся уже тому, что остался жив и оказался на свободе, хотя чувство освобождения и было омрачено серьезной физической и психической травмой.

Причем вопрос о том, полицейский ли принял обличье аллигатора, либо крокодил добровольно взял на себя функции блюстителя закона, был, можно сказать, почти риторическим, второстепенным, не играющим в происшествии и его оценке сколько-нибудь существенной роли. Конечно, привычный аллигатор в родной реке им во всех отношениях ближе и понятнее европейца в роскошном автомобиле на ее берегу.

Кстати, входящие в секретные культовые ассоциации люди-«аллигаторы», ничем внешне не отличающиеся от окружающих, могут незаметно и ловко подкрасться к намеченной жертве и утащить ее под воду на самое глубокое место. О них написал в своем романе «Нгандо» Ломани Чибамба: «Когда наступила ночь, эти люди, днем — обыкновенные рыбаки, собрались на свое дьявольское празднество. Используя магические способности и какие-то колдовские снадобья, известные только людям из их общества „ликунду“, они превратились в полудухов и принялись исполнять посреди острова Мбаму чудовищный, жуткий танец, устрашающе кружа около своих жертв».

На просторах «зажатых» между раскаленными пустынями и влажными тропическими джунглями африканских саванн люди-буффало до сих пор время от времени совершают устрашающие грабительские набеги на «провинившиеся» селения, в масках, украшенных рогами, покрытые бычьими шкурами, с имитацией буйволиного рева под глухой барабанный бой и распевание угрожающих куплетов:

Буйвол — двурога смерть,
И ребенок в ужасе
На колючее лезет дерево.
Умирает буйвол в лесу —
И люди в деревне
Под крышами хижин прячутся.

Буйвол легко, как бабочка,
Летит по саванне, не касаясь травы.
Но когда ты слышишь гром без дождя,
Это — топот бегущего буйвола.

Судя по классическому мандингскому эпосу XIII века «Сундиата» (кстати, сюжетно созвучному былине об Илье Муромце и Соловье-разбойнике), мать главного героя Соголон была попеременно то мягкой, покладистой женщиной, то неистово жестокой буйволицей, убившей сто семь и ранившей семьдесят семь незадачливых охотников на нее — из мести брату, лишившему ее справедливой доли в наследстве. Даже профессиональные охотники панически боятся встречи с непредсказуемо жестокой, яростной и могучей буйволицей.

«Буйволиственность» матери африканского Ильи Муромца, царицы Соголон, проявилась в ее уродливости по сравнению с принятыми в средневековой империи Мали эталонами женской красоты: горбатости, физической мощи, необходимой для рождения богатыря, и неприступности для недостойных претендентов на роль мужа и отца ее детей. При приближении нежеланного мужчины тело ее покрывалось буйволиной шерстью и наливалось нечеловеческой силой.

...С тех пор много воды утекло в могучем Нигере. Сегодняшние люди-буффало, например члены тайного ритуального союза Ндано Гбоно в Нигерии, одну из самых главных своих задач видят в выявлении ведьм (может быть, сохранившихся еще втайне «буйволиц») среди «своих» женщин. Заподозренных в колдовстве заставляют рыть руками землю, как это делает копытами разъяренный буйвол. Если из-под ногтей появится кровь, перевоплощение считается доказанным и «виновной» грозит жестокая расправа.

Так древние, давным-давно забытые просвещенной Европой традиции и предрассудки, первичные формы социальной дифференциации и консолидации, психологические представления и иные «образы» архаической ментальности прорываются в современность. Более того, они иницируют в ее недрах структуры общения и стереотипы поведения, не укладывающиеся в рамки кажущихся нам общепринятыми «цивилизованных» юридических принципов и морально-этических норм, но тем не менее существующих наяву и буквально пронизывающих бытие миллионов людей — наших африканских современников.

Ветер времени не только загоняет традиционные ритуальные общества во все более глухие уголки континента, но и заставляет их трансформироваться, приспособляться к постоянно изменяющимся условиям жизни и деятельности населения стран Тропической Африки. Еще в колониальный период верхушка некоторых ритуальных союзов пошла на тайный контакт с марионеточными властями на местах. Используя свой многовековой авторитет и невидимый постороннему глазу мощный репрессивный аппарат принуждения, она заставляла, например, соотечественников и соплеменников выращивать чуждые местному менталитету экспортные культуры, изготавливать ремесленные изделия, имеющие коммерческий спрос и, таким образом, профанирующие их первоначальный смысл. Колониальные власти добивались таким путем уплаты установленных ими налогов, а лидеры тайных ассоциаций бессовестно и бесконтрольно присваивали себе значительную часть выручки, полученной от скупщиков.

...Обретение африканскими странами политической независимости еще больше изменило ситуацию на континенте. Но и в ней традиционные тайные союзы нашли свое место порою в самых головоломных раскладах пришедших к власти политических и социальных сил. Наиболее причудливым оно оказалось, пожалуй, в Либерии — стране, основанной потомками африканских рабов, вернувшимися на свою историческую родину с американского континента. Достаточно одного примера: в середине 60-х годов пост верховного руководителя тайного ритуального общества Поро занял... глава государства — президент страны У.-Ш. Табмен, являвшийся по совместительству гроссмейстером местного ордена масонов и протестантским священником.

Ликвидация неграмотности, просвещение, приток деревенских жителей в города неумолимо подтачивают демографический и психологический фундамент древних механизмов социального регулирования и общественного контроля. К тому же во многих странах деятельность тайных обществ официально запрещена властями, нередко под давлением традиционных вождей, сотрудничающих с правительственными, и западных экспертов по вопросам демократии и прав человека. Под усиленным контролем со стороны этих сил нелегальные ритуальные ассоциации медленно, но неуклонно уходят в темную часть суток и теневую экономику, хотя их эмоционально-психологическое влияние на население все еще остается важным политическим фактором, не считающимся с которым неразумно. Организующая роль таких ассоциаций может заключаться в сохранении и перенесении в современность эгалитарных норм общения и обычаев непосредственной демократии, сложившихся на заре человеческой истории, в подавлении неподвластной правоохранительным органам государства коррупции и пресечении злостного обогащения «новых африканцев» за счет соплеменников и родственников. Нередко в далеком прошлом они брали на себя роль этаких коллективных чернокожих робин-гудов, освобождавших обреченных на продажу в заокеанское рабство соплеменников, громивших фактории работорговцев и сжигавших храмы их невольных пособников — католических миссионеров. На них вынуждены были «оглядываться» в своих непомерных амбициях и имущественных претензиях многие архаические правители, не без оснований опасаясь кровавого «импичмента». Однако сегодня эти древнейшие из известных человечеству примитивных ассоциаций зачастую становятся предметом замумных политических интриг и комбинаций, эффективным средством манипулирования массовым мифологическим сознанием и традиционным поведением в принципиально изменившихся социальных условиях.

Например, в полумиллионном нигерийском университетском городе Иле-Ифе верхушка тайного общества Огбони обладает реальной административной и экономической властью. Именно она «дирижирует» деятельностью мэрии и других городских институтов, поддерживая «свое» предпринимательство, регулируя мистическими средствами ценообразование, вводя запрет и разрешение на определенные виды хозяйственных работ, например, лов рыбы и сбор орехов. У членов этого объединения свои особые дома-явки, куда не могут проникнуть непосвященные. При встрече они обмениваются особым рукопожатием левой рукой со специфическим прищелкиванием пальцами, которое очень трудно воспроизвести, даже если ты его видел неоднократно. Временами барабаны общества особым боем сигнализируют запрет выхода на улицы города женщинам и непосвященным, объявляя своего рода ритуальный «комендантский час».

Поистине «новым словом» в тысячелетней истории тайных ритуальных союзов стало появление в некоторых университетских городках Нигерии нелегальных студенческих обществ. Им инкриминируют сексуальные оргии, ночные шабаша на кладбищах, кровавые драки, нападения на неугодных профессоров, кражу малых детей с целью вымогательства выкупа. Особая опасность такого рода подпольных организаций заключается в том, что в них очень низкий возрастной ценз. Сюда входят люди молодые, энергичные, с фантазией, имеющие доступ к современным источникам информации и новейшим техническим средствам, включая компьютерно-информационные технологии и электронные средства связи, то есть как раз те, кто призван в ближайшие годы пополнить интеллектуальную элиту страны, но может переродиться в ее «интеллигентный» преступный синдикат.

Стремясь избежать этого, правительство страны усиленно внедряет в тайные студенческие общества своих агентов и информаторов. Однако тысячелетиями отшлифованная «система бдительности», включающая в себя сменные пароли на различных местных языках и племенных диалектах, изошренные коды, тайные сленги и мистические символы, ставит стараниям властей серьезный барьер. Недаром нигерийская «образованная» мафия — одна из самых

изошренных в интеллектуальных и финансовых сферах. В этом на своем печальном опыте уже смогли убедиться не только американские, но также московские и даже географически еще более отдаленные от Африки екатеринбургские бизнесмены. Словом, сам по себе быстрый рост уровня образованности отнюдь не исключает специфического возрождения древних тайных союзов на качественно новой цивилизационной основе. Мертвый, гласит старая латинская пословица, воистину хватает живого!

Там же, в Нигерии, зафиксировано использование двух альтернативных тайных союзов — уже упомянутого Огбони и обвиняемого в ритуальных убийствах Овегбе — противоборствующими, в том числе на выборах, политическими партиями. Кроме того, в штате Бендел учеными выявлены некоторые достаточно убедительные факты существования тесного альянса между преступными авторитетами, коррумпированными элементами в полиции штата и «братвой» местного тайного общества. Причем именно последняя, выиграв нелегкую конкурентную борьбу, подчинила своему суровому влиянию не только обладающих властными прерогативами традиционных вождей, но также низовые репрессивные, правоохранительные, судебные и гражданские службы, лишив тем самым правительство страны возможности активно использовать свой аппарат против набравшей силу сепаратистской этномафии.

В современных тайных ритуальных обществах есть и криминальная ветвь. Помимо разборок из-за дележа сфер влияния, рэкета, контрабанды, «выбивания» долгов здесь практикуется похищение детей и взрослых с целью получения выкупа. Кроме того, эти общества с присущими им ритуалами используются в качестве «крыши» для всякого рода расплодившихся в Африке масонских лож и иных тайных сообществ, импортированных из Европы, а частично из Азии.

Секретные ритуальные общества в современной Тропической Африке — неотъемлемая составная в самобытной цивилизации континента. Поостережемся относить их к числу допотопных ублюдочных социальных реликтов, место которым на свалке истории и которые, мол, в наш просвещенный век сами собой растают на ветрах современности. Пока что они, повторяю, остаются достаточно серьезным инструментом традиционной власти, в лучшем случае автономной и «терпимой» по отношению к центральному правительству, в худшем — выступающей мистифицированной опорой оппозиции, сепаратизма и криминала.

И вообще многое в атрибутике современных мафиозных структур — специфическая мифологическая «калька» с тайных ритуально-мифологических обществ, зарождение и существование которых уходит в глубину тысячелетий.

К тому же африканцы интенсивно расселяются в странах Запада и в России. Во Франции, например, сейчас несколько миллионов выходцев из Африки. Ненамного меньше выходцев из бывших колоний в Великобритании. Демографическая «колонизация» охватывает и другие, особенно благополучные, страны Западной Европы. Даже в беспокойной Москве на каждого легально проживающего африканца приходится примерно десять, не имеющих ни паспорта, ни визы, ни вида на жительство. Кстати, все чаще очередной из моих африканских приятелей, поселившихся в Москве или Подмоскovie, с радостью и гордостью протягивает мне новенький российский паспорт, где в вызывающей до сих пор массу споров графе «национальность» значится нечто непривычно-экзотическое для российского уха: фульбе, ибо, суахили, бамбара, йоруба, серер, ашанти или моси.

Но есть ли — и в чем она? — гарантия того, что вместе с самыми яркими и прекрасными африканскими традициями в Европу и тем более в Россию не проникут и не будут поддержаны и подхвачены местными криминальными структурами совершенно непонятные нашим правоохранительным органам символика, атрибуты, ростки или даже филиалы секретных ритуальных сообществ?



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«ПОШЛИ ТОЛКИ, ЧТО ДЕНЬГИ МОСКОВСКИЕ...»

Письма Ильи Эренбурга Михаилу Кольцову 1935 — 1937 годов

Предлагаемые читателям письма И. Эренбурга М. Кольцову интересны не столько тем, что затрагивают отношения двух достаточно известных и популярных писателей, сколько тем, что в них отразилась деятельность идеологических, то есть, по сути, партийных органов на международной арене в весьма специфической сфере писательских контактов 30-х годов, когда советской стороной — при поддержке прежде всего левых сил Запада — были организованы два Международных писательских конгресса: в Париже (21 — 25 июня 1935 года) и в Валенсии, Мадриде и Париже (4 — 17 июля 1937 года). На первом из них была создана Международная ассоциация писателей в защиту культуры и ее секретариат, в который от советской стороны вошли М. Кольцов и И. Эренбург. Последний позднее вспоминал: «Михаил Ефимович сказал мне: „Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам“. Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: „Ругать будут тоже вас...”¹.

В 1935 году в Париже собрались писатели прокоммунистической и вообще левой ориентации из Франции, Германии, Испании, Скандинавских стран. Из СССР было 20 человек. В большой зал «Мютюалите», вместивший как приглашенных деятелей культуры, так и парижскую публику, собрались люди разных воззрений, объединенные неприятием фашизма. Но все-таки движение с самого начала не было чисто общественным, что оттолкнуло от него ряд крупных художников. Приехали Генрих Манн и Андерсен-Нексе, но не было никого из выдающихся американских литераторов; не удалось привлечь Томаса Манна, Герберта Уэллса и Бернарда Шоу. Естественно, что членов советской делегации — и на первый и на второй конгресс — назначало Политбюро ЦК ВКП(б): на заседании 26 апреля 1935 года в присутствии И. Сталина было принято решение «О Международном съезде писателей в Париже» и определен персональный состав делегации ССП, в который позже были внесены некоторые изменения. (Так, М. Горький, утвержденный председателем делегации, не поехал, не было в Париже и М. Шолохова). Очевидно, по инициативе Эренбурга в последний момент послали в Париж Пастернака и Бабеля. Всем руководили два заместителя председателя — секретарь СП и работник ЦК А. Щербаков и «правдист» М. Кольцов, которому был посвящен отдельный пункт постановления Политбюро: «4. Предложить т. Кольцову выехать в начале мая в Париж для содействия в организации конгресса»².

Собственно, мысль о сплочении «прогрессивных сил» пришла к Эренбургу. Это он, сразу же после окончания Первого съезда советских писателей, обратился (13 сентября 1934 года) с письмом Сталину с предложением объединить передовых писателей на идеях «антифашистской борьбы» и «поддержки СССР». Сталин с предложением согласился, видя в этом возможность усиления советского влияния на Западе. В связи с этим письмом Эренбурга даже пригласили приехать в ноябре в Москву, чтобы обсудить некоторые вопросы. Но убийство Кирова отменило встречу писателя с вождем, которая могла не кончиться добром.

К сожалению, мы не располагаем письмами Кольцова Эренбургу, однако недостаток информации может быть восполнен другими материалами: протоколами решений Политбюро, посланиями-отчетами М. Кольцова А. Щербакову, письмами Щербакова Кольцову и Эренбургу и т. д. Уже находясь в Париже и готовя конгресс, Кольцов 23 мая в письме Щербакову замечает весьма существенное для нашего сюжета:

Вступительная статья, публикация и комментарии А. И. РУБАШКИНА.

¹ Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. четвертая и пятая. М., 1990, стр. 61.

² РЦХИДНИ (быв. ИМЭЛ), ф. 17, оп. 3, ед. хр. 962.

«С Эренбургом отношения пока сносные, хотя он время от времени пытается играть роль арбитра между Европой и Азией (мы). Он выразил недовольство составом делегации (почему без Пастернака, почему Караваяева, почему Иванов)»³. У Эренбурга вряд ли были иллюзии по поводу официального отношения к Пастернаку, но на дворе был еще май 1935 года, а редактор «Известий» Бухарин еще не так давно защищал поэта на съезде в Москве. Поэтому Эренбург позволяет себе некоторую вольность и привлекает на съезд некоторых крупных писателей, хотя и не входящих в число «проверенных». Но все нити конгресса в руках Кольцова. Он играет большую игру, что видно по следующему отрывку из уже цитированного письма Щербакову: «Приходится лишний раз поражаться проницательности И. В. (Сталина. — А. Р.), сразу предугадавшего и предостерегшего нас от узко франко-советского и чисто антигерманского характера, который может принять конгресс. Это предостережение верно тройне сейчас, когда ряд групп троцкистствующих интеллигентов напрягают все силы по распространению зловонных сплетен о „франко-советском милитаризме“».

Подготовка к конгрессу напоминает проведение сложной военной операции. Это понятно по памяти, которую («только лично») прилагает Кольцов к своему письму Щербакову, подчеркивая: «важна каждая деталь». Кольцов определяет маршруты советских участников (разными группами), их «экипировку», время прибытия в Париж (в разные дни), переправку материалов: «отправлять заблаговременно в дипломатическом чемодане через НКВД. С собой в дорогу никаких материалов не брать — возможны обыски, особенно в Германии». Отдельно оговаривается способ связи: «б/телефон — вызывать меня из Москвы по номеру и в часы, какие укажу. Условные обозначения в разговорах: Горький — Анатолий, Барбюс — Андрей, Эренбург — Валентина». Весьма прозрачна фраза из того же письма: «Внешне съезд устраивается на пожертвования писателей...»

Однако вряд ли подлинный источник финансирования оставался неизвестным: как писал недавно А. Ваксберг, «формально организаторами этого мероприятия были коммунист Луи Арагон и „сочувствующие“ Жан Ришар Блок и Андре Мальро. Но невидимые миру дирижеры и спонсоры конгресса находились в Москве. Михаил Кольцов был не только идеологическим, но и финансовым агентом Кремля. Конечно, не от имени ЦК ВКП(б) и тем более не от НКВД, а от такой „нейтральной“ организации, как Коминтерн, он передавал деньги организаторам конгресса»⁴.

Эренбург чувствует себя неуютно рядом с некоторыми советскими делегатами, он здесь свой, постоянно живет в Париже. В дальнейших письмах — к Кольцову и особенно к Щербакову — ему приходится оправдывать свою поддержку Пастернака, убеждать в своей лояльности: руководствуется не пристрастиями, а интересами дела. 16 августа 1935 года Щербаков пишет Эренбургу: «До меня дошли сведения, что Вы еще раз высказали опасения о возможности Вашей плодотворной работы в организации. Со своей стороны я должен еще раз повторить то, о чем я Вам говорил уже в Париже, а именно — Ваша работа по подготовке конгресса была высоко полезна. Ваше активное участие в дальнейшей работе крайне необходимо. Мы сделаем все для того, чтобы обстановка для Вашей деятельности была нормальной, об этом я буду писать Арагону»⁵. Эренбурга давно считают в Париже «оком Москвы» (об этом вспоминает Ж. Сименон), но и в Москве, несмотря на все заверения Щербакова, у него уже нет прежней поддержки: Бухарин, друг его юности, хотя еще приглашается иногда на заседания Политбюро, давно уже не в прежней силе.

В декабре 1935 года в Париж приезжает группа советских поэтов во главе с А. Безыменским (И. Сельвинский, В. Луговской, С. Кирсанов). Руководитель группы докладывает письмом Щербакову, Ангарову и Суркову, а значит, и Кольцову, который находится в постоянном контакте с указанными деятелями: «Не могу развернуть информацию о „работе“ Эренбурга. Я еще посмотрю и напишу подробно: рассказывать буду, кто и что о нем говорит. Но мое первое впечатление — вреднейшая дея-

³ РЦХИДНИ, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 562.

⁴ Ваксберг А. «...Барбюс стал жертвой преступления?». — «Литературная газета», 1993, 8 декабря.

⁵ РЦХИДНИ, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 508.

тельность Ильи двухдневного⁶ в отношении поэзии советской и не менее вредная в отношении многих французских дел, в частности — к писателям-коммунистам. Это политический факт, а не следствие нелюбви к сему гению⁷. Инициатива собирать об Эренбурге порочащие сведения вряд ли исходила лично от Безыменского.

Эренбург обо всем этом не знает. Но вот приходят сведения из Москвы о выступлении против него Л. Никулина, вот Эренбург узнает, что «Комсомольская правда» искадила его выступление на конгрессе, вот в «Правде» появились не совсем лестные высказывания о повести «Не переводя дыхания». Просьба к Кольцову дать в «Правде» отрывок из нового произведения «Книга для взрослых», обращение к Щербакову с просьбой помочь переизданию «Хулио Хуренито», на которое Эренбург наивно надеется, наконец, информация о статьях в «Правде» против формализма в музыке, изобразительном искусстве, литературе — все это определяет настроения Эренбурга первых месяцев 1936 года. Потому он с надеждой воспринимает взвешенную статью Кольцова, который попытается придать дискуссии о формализме более спокойный характер. В разгар этой дискуссии Эренбург снова делает попытку объясниться со Щербаковым — в письме от 5 апреля 1936 года он оправдывается: «Дело не в том, нравится ли мне Пастернак, Бабель, Шолохов и др., а в том, что может легче и верней привлечь к нам западноевропейскую интеллигенцию. Во всех спорных вопросах я запрашивал либо т. Потемкина⁸, либо кого-либо из полпредства. Помимо этого существуют указания Ваши, т. е. московского руководства⁹».

Заседания конгресса в Париже в большой степени шли по советскому сценарию. Из письма Щербакова секретарю ЦК ВКП(б) А. Андрееву видно, что даже в текст выступления А. Жид удалось внести поправки (через Эренбурга!). Это было в июне 1935 года. Но когда А. Жид побывал летом 1936 года у нас в гостях и вынес, мягко говоря, «противоречивые суждения» о советской стране, тому же Эренбургу не удалось уговорить французского писателя отказаться от публикации книги «Возвращение из СССР».

По письмам Эренбурга (и Кольцову, и Щербакову) видно, сколь сложной была его работа с западной интеллигенцией. Еще труднее стало работать за рубежом в 1937 году, когда волна террора захлестнула «страну социализма». Очевидно, высказанное Эренбургом в последнем из публикуемых писем желание отойти от работы продиктовано не только обстоятельствами, на которые писатель ссылается. Позади уже были и два московских политических процесса, и уничтожение верхушки Красной Армии. Да и в Испании Эренбург сталкивался с устранением инакомыслящих, в которых участвовали наши карательные органы. Об этом нельзя было ни писать, ни говорить.

В заключение немного о судьбе автора писем и адресата. Оба родились в Киеве и в раннем детстве покинули его. Впервые встретились в родном городе в 1919 году в кафе «ХЛАМ» (художники, литераторы, артисты, музыканты). В конце августа 1919-го город захватили денкиинцы. Кольцов ушел с Красной Армией, а Эренбург, давно уже бывший большевик, остался под белой властью, писал антибольшевистские статьи в «Киевской жизни». Потом он «в жизни много плутал», а Кольцов шел прямым путем... В 1934 году они оказались рядом — знаменитый романист и первый журналист страны («Слава его была заслуженной», — скажет о Кольцове на склоне лет Эренбург). В дни писательского съезда оба выступали, встречали и провожали иностранных гостей. В годы Гражданской войны в Испании писатели представляли свои газеты («Правду» и «Известия»). О деятельности там Кольцова (Каркова) рассказал Э. Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол». Эти страницы были, в частности, одной из причин долгого запрета на издание перевода романа в нашей стране.

В марте 1938 года оба писателя побывали в Октябрьском зале Дома союзов, где шел очередной политический процесс — над Бухариным и другими бывшими видными деятелями партии. Оба работали под руководством Бухарина, когда тот был глав-

⁶ Илья двухдневный — намек на роман И. Эренбурга «День второй».

⁷ РЦХИДНИ, ф. 88, оп.1, ед. хр. 514.

⁸ Потемкин В. П. (1874 — 1946) — в те годы посол СССР во Франции.

⁹ РЦХИДНИ, ф. 88, оп. 1, ед. хр. 575.

ным редактором — сначала «Правды», затем «Известий». Теперь Кольцов на страницах «Правды» разоблачал «врага народа», «помесь свиньи с лисицей» Бухарина. Эренбургу дозволили промолчать.

В последний раз Кольцов и Эренбург увиделись в апреле 1938 года. Корреспондент «Известий» возвращался в Испанию. Член редколлегии «Правды» за оставшиеся несколько месяцев до ареста завершит первую часть «Испанского дневника» и напечатает его в «Роман-газете», будет избран депутатом Верховного Совета РСФСР, выполнит задание Политбюро, в сентябре отправится в Прагу, которой угрожало фашистское нашествие. Через два месяца его имя надолго перестанет упоминаться — так же, как и его книги. У Эренбурга окажутся впереди еще тридцать лет бурной жизни, удары судьбы и широчайшая известность, особенно в годы войны.

Оба похоронены в Москве — М. Кольцов тайно, в общей могиле на Донском кладбище — после расстрела 2 февраля 1940 года, И. Эренбург, после проработок и схваток с цензурой уже в либеральное хрущевское время, — с почетом на престижном Ново-Девичьем кладбище 4 сентября 1967-го...

Письма печатаются по автографу: РГАЛИ, ф. 12, оп. 2, ед. хр. 668.

1

17 января <1935>.

Дорогой Михаил Ефимович,

В. А. сообщила мне по телефону, что Вы спрашиваете о местных писательских делах. Не сразу ответил Вам: ждал оказии. Не ответил и С. С. — по той же причине (так что прошу Вас о содержании письма поставить в известность А. И.).

Барбюс объявил здесь, что он окончательно признан. Это он сказал Муссинаку и Бехеру. Сам он сидит на юге, а всем распоряжается его секретарь, известный Вам Удиану. Сей последний ведет себя диктаторски. Собрав койкого, он объявил, что утверждена «Международная лига писателей» и ее секретариат: Барбюс, он, Удиану, Муссинак, Фридман, Бехер. Причем все это от имени Москвы.

Барбюс составил манифест в строго амстердамском стиле, который он сначала разослал во все страны, а потом уже начал спрашивать: вполне ли хорош.

Самое грустное, что благодаря Удиану пошли толки, что деньги московские. Он хвастал: снимаем роскошную квартиру, достали много денег, будет журнал — до 5000 фр. в месяц сотрудникам и т. д. Мне он заявил: «Писателей надо заинтересовать материально». Если считать его за писателя, это, может быть, и верно. Но так можно получить картину нам знакомую: Терезу от Испании, Удиану и Вову Певзнера от Франции и пр.

Разговоры о деньгах и манифесте пошли далеко и много заранее испортили. Я думаю, что Барбюс после рассылки своего неудачного манифеста должен теперь, хотя бы на первое время, скрыться, чтобы не приняли возможную новую организацию за его проект.

Местные немцы, Жид, Мальро и Блок всецело согласны со мной. Муссинак явно выжидает событий. Вчера я их видел (Удиану, Муссинака и Бехера) и сказал, что, по моим сведениям, еще ничего не решено. Муссинак обрадовался, а Удиану обозлился. Потом я узнал, что сей бравый представитель французских бель-летров в ближайшие дни отбывает в Москву. Вообще делает все он: это официальный зам-Барбюс, который сам ничего не делает. О том, на что способен Удиану, можете судить по «Монду», в этом французском журнале нет ни одного французского писателя. Полное запустение. Не способны даже на работу метранпажа. Деньги спасти журнал не могут. Кто им только не давал.

Надо ли говорить о том, что все это делается именем того, с кем Барбюс в свое время беседовал.

Не будь описанной истории, положение можно было бы рассматривать как благоприятное. Мальро горит. Блок пылает. Геено и Дюртен следуют. Жид поддается. Может прийти такой человек, как Жироду, не говоря уже о Мартен дю Гаре. В Англии обеспечен Хекслей. Мыслимо — Честертон и Шоу. Томас Манн тоже сдался. В Чехословакии — Чапек. Но, конечно, все это отпадает, если организация будет удиановская. В Амстердам этих дядь не загнать.

Очень прошу Вас срочно написать мне, как обстоят дела с этим. Меня спрашивают Мальро, Блок и пр.

Если правда, что узаконен Барбюс, — надо сказать, чтобы не было недоумений. Найдите способ сообщить мне обо всем возможно скорее и подтвердите (через Мильман) получение этого письма.

Сердечно Ваш
И. Эр.

После проведения Амстердамского антивоенного конгресса (1932) и особенно после встреч со Сталиным и выпуска панегирической книги о нем («Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир», 1935) Анри Барбюс решил, что сможет самостоятельно возглавить новое писательское антифашистское движение без предварительных консультаций с Москвой. Как видим, в Москве к его инициативе отнеслись резко отрицательно: открытая просоветская позиция Барбюса могла свести число участников конгресса к писателям, давно и открыто симпатизирующим коммунистам; в связи с этим Эренбург называет испанскую писательницу Марию Тересу Леон и выехавшего в начале 20-х годов из Петербурга в Париж левого французского писателя Владимира Певзнера (Познера).

Деятельность Эренбурга по нейтрализации инициативы Барбюса оказалась удачной: Муссиак и Бехер поддержали конгресс и избранную на нем Ассоциацию писателей, в которую вошел и сам Барбюс; неудачей можно считать отказ от участия в конгрессе Бернарда Шоу и Томаса Манна.

В письме также упоминаются В. А. Мильман (В. А.) — сотрудница «Вечерней Москвы», с 1932 года — секретарь Эренбурга; А. И. — возможно, А. И. Стецкий, ответственный работник ЦК. Английский писатель О. Хаксли назван в письме Хекслеем.

2

[Телеграмма]

1935, 23 февраля.

Мильман сообщила, что предполагает напечатать отрывок романа. Благодарю дружеское внимание. Очень прошу согласовать печатание отрывка с Николаем Ивановичем. Сердечный привет. Эренбург.

Речь идет о романе «Не переводя дыхания». Публикация отрывка в «Правде» не состоялась. 19 марта отрывок из романа дала «Вечерняя Москва». Николай Иванович — Бухарин, в ту пору редактор «Известий».

3

9 августа <1935>.

Дорогой Михаил Ефимович.

Мальро вернулся уже в Париж, на несколько дней приезжал Блок, и, воспользовавшись этим, мы устроили собрание секретариата. Одобрили устав — посылаю. Решили обратиться к секциям национальным с письмами. Посылаю.

Касательно списка советских членов организации. Достаточно, если мы дадим сто имен, чтобы соблюсти пропорцию.

Решено обратиться к членам президиума и предложить подписать протест против нападения фашистов на болгарского делегата.

Решено для пополнения средств и пропаганды с октября устроить ряд докладов во французской провинции, в Бельгии и Швейцарии.

Решено к 70-летию Ромен Роллана устроить вечер и выпустить книгу, посвященную Ромен Роллану. Необходимы статьи Горького и другие, о сборнике сообщу дополнительно.

Все более или менее бодрь. Сняли помещение. Денег нет. Вот, кажется, и все новости.

Жид собирается в середине сентября в Союз. Я еду примерно в то же время и, может быть, поеду с ним, чтобы доставить его в сохранности до Белорусского вокзала.

По дороге хочу остановиться на день в Праге, чтобы ликвидировать отсутствие чехов, и в Варшаве — попытаюсь поговорить ещё раз с Тувимом и др. о положении.

Завтра я еду до конца месяца в Бретань. Адрес мой прежний: письма мне будут аккуратно пересылать.

Привет Марии.

Ваш И. Эренбург.

Датируется, в частности, по предстоящему юбилею Роллана (1936) и состоявшейся поездке Эренбурга осенью в Прагу и Варшаву, а затем в Москву. Мария — Мария Остен (Гросхенер), писательница, близкий друг Кольцова. Вскоре после его ареста (12 декабря 1938 года) она также была репрессирована. Тувим Ю. — польский поэт, друг Эренбурга.

4

Париж, 25 декабря <1935>.

Дорогой Михаил Ефимович,
только что вернулся в Париж и спешу сообщить Вам о результате поездки. В Чехословакии удалось все наладить. Чапек согласился войти в Президиум организации. Гора — секретарь. В Словакии войдет весь союз писателей. Там будет вскоре съезд писателей. В Польше тоже удалось кое-что сделать. Левые писатели готовят конференцию. Они опубликовали о своем присоединении к парижской конференции. Удастся присоединить бывших левых пилсудчиков, во всяком случае Витлина. Здесь в Париже все обстоит плохо. Денег у них нет, и организация прозябает. Все разговоры о том, что надо сделать то или это, разбиваются о материальные препятствия. С другой стороны, по-прежнему никто всем этим не занимается. Повторю: если не предпринять в самое ближайшее время энергичных шагов, все это предприятие пойдет насмарку, но и тогда для нас пристойнее сказать об этом нашим ближайшим друзьям.

Спасибо за содействие, которое Вы оказали Але Савич, и сердечный привет.

Ваш И. Эренбург.

Парижская конференция — речь идет о Международном конгрессе писателей в защиту культуры (Париж, июнь 1935 года), в подготовке которого, как это видно по письмам, Эренбург и Кольцов принимали деятельное участие. Чапек К. и Гора Й. — чешские писатели, Витлин Ю. — польский писатель и переводчик. Савич А. Я. — жена писателя О. Г. Савича, друга Эренбурга, который хлопотал через Кольцова и Щербакова о выдаче ей загранпаспорта.

5

26 февраля <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
письмо Ваше получил. А. М. наконец-то окончательно решил вопрос о поездке, едет 28-го через Вену.

Денег А. П. не получила. Выясните это дело: народ ропщет.

Как Вы знаете, вечер Роллана прошел очень удачно. Удалось расплатиться с частью долгов. На 10 марта назначен большой диспут о социалистическом реализме. А. М. должен быть к этому сроку здесь, не то получится скандал.

Жид укатил в Москву. Вот все новости.

Сердечно Ваш

И. Эренбург.

А. М. — очевидно, Андре Мальро, побывавший в марте в Союзе и встречавшийся в Тессели (Крым) с М. Горьким и Кольцовым.

Речь идет о семидесятилетии Р. Роллана (29 января 1936 года).

6

24 марта <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
обращаюсь к Вам на сей раз как к «правдисту»: мне хотелось бы, чтобы отрывки из моей новой книги были напечатаны в «Правде». Я посылаю Вам четыре небольших отрывка — на Ваш выбор, может, сможете пустить два. Я выбрал все то, что при малом размере может вынести фрагментарность.

Хотел Вам просто послать рукопись всей книги, но у меня только один экземпляр, над которым я еще работаю (рукопись, которую я послал прежде в Москву, была черновой, вся переписана мной и многое совершенно изменено). «Книга для взрослых» — частично мемуары, частично роман. Может быть, поэтому я отношусь к ее судьбе особенно нервно.

«Правда», как Вы сами знаете, великая вещь. Притом я рад буду воспользоваться этой возможностью, чтобы появиться на страницах одного органа. Конечно, я посылаю отрывки из книги только Вам, то есть ни в «Известия», ни в другую газету я ни этих, ни других отрывков из книги не даю.

Очень обяжете, если напишете мне, можете ли Вы их пустить в «Правде». Когда роман будет закончен, pošлю одновременно с «Знаменем» (он должен пойти там) рукопись и Вам, и если у Вас будет свободная минута, напишите Ваше мнение.

О прочих делах пишу Вам сегодня же с оказией.

Сердечно Ваш

И. Эренбург.

Речь идет об отрывках из «Книги для взрослых», первого наброска будущих мемуаров. Публикация в «Правде» не состоялась.

7

5 апреля <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
завтра я еду для «Известий» на две недели в Испанию и хочу перед отъездом написать Вам о писательских делах. Мальро вернулся в хорошей форме и взялся за работу. Я не очень-то верю в мероприятие с энциклопедией — бо-

юсь, что трудно будет преодолеть марксистофобию англичан и двух третей наших французов. Но посмотрим, как развернется дело.

Пленум хотят созвать в июне в Лондоне, посвятить его культурному наследию и частично энциклопедии.

С Арагоном Мальро договорился. Арагон взял на себя французские дела, Мальро — пленум и пр.

Немцы ропщут, что им оказывают мало внимания. 10 мая проектируется митинг — годовщина аутодафе — с французами, Томасом Манном и, возможно, Ренном.

Геено продолжает метаться. Я его уговариваю съездить к нам летом, это, бесспорно, на него хорошо подействует. Он сейчас довольно значительная фигура. Шамсон слегка «подозрителен» по крайнему пацифизму. Журнал «Европа» очищен от троцкистов. Теперь его редактировать будет Кассу. Предполагаем в мае устроить в Париже писательский митинг. «Народный фронт» — французы и испанцы.

Я вернусь из Испании 20-го и тогда напишу об испанских делах.

Напишите, чью поездку в Союз Вы считаете желательной. Жид возвращается из Сенегала 10 апреля.

Наша дискуссия здесь слегка помешала работе. Люрса и др. очень волновались. Хорошо будет, если в «Журналь де Моску» в дипломатической форме будет дано объяснение, эквивалентное Вашей статье, но рассчитанное на иностранцев.

Я послал Вам отрывки из моей новой книги. Буду очень рад, если они появятся в «Правде». Что с Алей Савич?

Сердечно Ваш

И. Эренбург.

Письмо посвящено деятельности Ассоциации писателей, созданной на Парижском конгрессе писателей. Эренбург вместе с Кольцовым вошел в секретариат этой организации. В мемуарах Эренбурга приведены слова Кольцова: «Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам... Ругать будут тоже вас». Аутодафе — здесь: первое публичное сжигание книг гитлеровцами в Берлине (1933).

Эренбург имеет в виду статью Кольцова в «Правде» («Обманчивая легкость», 30 марта) и жесткую критику формализма в других статьях газеты (против Д. Шостаковича и других). Кольцов упрекает «не в меру усердных барабанщиков» в том, что их нападки не способствуют настоящей дискуссии.

8

9 мая <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
пленум — не ранее 15 июня. В Лондоне или в Париже. Как только выяснится дата, сообщу по телефону: «Премьера фильма». Видел Жида после приезда из Сенегала. Бодр. Сказал, что едет твердо 15 июня. Свита странная. Мальро много работает. Выступал на предвыборном собрании и т. д.

В Испании писатели здорово митингуют. Жаль, что в «Правде» не пошла глава из романа, может быть, пойдет статейка о романе хотя бы — чувствую, что меня обвинят в различных модных грехах. Ваша статья о литературной дискуссии очень хороша. Пришла вовремя. Здесь литературная братия была смущена всем, теперь позабылось.

Сердечно Ваш

И. Эренбург.

Письмо отражает тот особый интерес, который в Москве проявляли к А. Жиду в расчете на его поддержку СССР. Эренбург участвовал в организации его поездки, уточнял дату и т. д. В Москве Жида «опекал» Кольцов, председатель инокомиссии Союза писателей. Он же не допустил его встречи с Бухариным. Когда в конце года нашим властям стало ясно, что

подготавливаемая им книга («Возвращение из СССР») носит нелюбезный для них характер, делались попытки предотвратить выход книги. В частности, с такой просьбой к А. Жиду обращался Эренбург, разумеется, выполняя указание из Москвы.

О статье Кольцова см. примеч. к письму № 7.

9

23 мая <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
в ближайшие дни буду в Праге, где надеюсь застать письмецо от Вас.
30-го мая мой адрес: Bratislava, Hotel Carlton.

Сердечно Ваш
И. Эренбург.

Р. С. Только что прочитал страницу «Правды» с отзывами читателей. Отзывы касательно моих книг подобраны более чем тенденциозно. Если это позиция редакции, то лучше бы ее высказать от первого лица. Отсюда мне непонятно, зачем все это делается. Работе здесь, во всяком случае, это не способствует.

Думаю, что это и Ваше мнение (о трудностях работы здесь и пр.).

И. Э.

Упомянуется подборка отзывов в «Правде» от 18 мая с упреками читателей в недостаточном психологизме героев произведений писателя.

10

9 июня <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович, пишу Вам кратко. Через несколько дней получите обстоятельное письмо (кажется, 15).

Я был в Тр<енчанских> Теплицах на съезде словацких писателей. Съезд прошел хорошо, дискуссии были интересные. Присутствовали представители всех политических направлений, включая крайне правые. Резолюция была принята единогласно. Единогласно постановили вступить в Международную ассоциацию защиты культуры и приветствовать Союз писателей. Когда были прочитаны две телеграммы, один из правых писателей предложил послать третью, «чтобы уравновесить политический эффект». Его спросили: «Куда?» Он не смог ответить. Тогда конгресс разразился хохотом, и дальнейших прений не было.

Все, о чем Вы мне писали в Прагу, улажено. Я не знаю, должен ли я ехать в Лондон. Если это необходимо, сообщите. Пока не предпринимаю в этом отношении никаких шагов.

Сердечно Ваш
И. Эренбург.

11

26 июня <1936>.

Дорогой Михаил Ефимович,
только что приехал из Лондона и в дополнение к предыдущему письму хочу написать Вам следующее: пленум был отвратительно приготовлен. Эллис

думала об одном: о приеме у нее с фраками и пр. Собственно, для этого приема было сделано все — т. е. поэтому «английская секция» и протестовала против того, чтобы отложить пленум. У нас в Англии нет базы. Я разговаривал с товарищами из полпредства. Они советовали опереться на Честертоншу (та, что была в Москве), но не думаю, чтобы это было исходом. Хекслей и Форстер не хотят ничего делать, имя дают, но не больше. Это объясняется политическим положением в Англии, и здесь ничего не поделаешь. С другой стороны — они чистоплюи, т. е. отказываются состоять в организации, если в нее войдут журналисты или писатели нечистые, т. е. те, у которых дурной стиль и высокие тиражи. Мне очень трудно наладить что-либо в Англии, так как я из всех стран Европы наименее известен в Англии и т. к. я не знаю английского языка.

Все же я со многими людьми беседовал и пришел к выводу, что, в отличие от других стран, в Англии нам надо опереться почти исключительно на литературную молодежь и на полуписателей-полужурналистов.

Все надо начинать сызнова. Выступление Уэллса провело демаркационную линию и дало возможность объединить всех, которые действительно хотят с нами работать. Ребекку Вест в итоге мы усмирили, причем я даже наговорил ей публично комплиментов, но полагаться на нее не следует. Выходка Уэллса была строго продуманной, и, по-моему, она связана с вопросом о Пен-клубе.

Я вышлю Вам через два дня обыкновенной почтой то, что называется «отчетами». Это безграмотные стенограммы английских речей и короткие, искажающие резюме французских. Например, от моей — остались объедки. Речь Уэллса сознательно смягчена. Стенографисток выставила Эллис.

Мы решили пленум осенью не созывать. Писатели не любят выступать без публики. Поэтому из французов не приехали ни Шансон, ни Кассу, ни Низан (обещали, но не приехали). Съезд назначили, согласно Вашим пожеланиям, в феврале. Надеюсь, что в Мадриде возражений не будет. Там мы будем в дружеской обстановке.

Касательно отдельных стран. Очень хорошо все с испанцами. Я с ними наметил такую программу. В конце октября они устраивают конференцию испанских писателей «для подготовки к съезду». Из теоретических проблем — вопрос о роли писателя в революции и проблеме национальных культур (каталонская и пр.). Мы их объединяем с португальцами, кстати. Из практических — создание государственного издательства, связь с рабочими клубами, организация домов отдыха для писателей, библиотеки и пр.

Хорошо все с чехами. Там наконец создана настоящая организация.

Ничего серьезного нет в Скандинавии (за исключением Исландии). Как прежде, разрыв между левобуржуазными и пролетарскими писателями.

Бенда сильно полевел. Мальро нервничал из-за неудачи с Уэллсом, но в конце отошел. Хорошо выступали Реглер и Толлер. Предложение о библиотеке Ассоциации очень понравилось всем. Этим мы привлечем к себе все малые народы. В энциклопедию лично я не очень-то верю.

Перед отъездом я встречался со свитой Жида и убедился, что Ш. настроен довольно зловердно.

Вероятно, до середины июля я буду в Париже. Если что нужно, сообщите.
Сердечно Ваш

И. Эренбург.

В Москву поехал англичанин Спендер, которого я направил к Вам. Виноградов говорит, что он полезен.

В мемуарах Эренбурга о позиции Уэллса, фактически отказавшегося поддержать движение, сказано: «Уэллс... вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями». Однако упоминание Пен-клуба позволяет считать позицию Уэллса политической. Усилившиеся в СССР проработки художников, композиторов, писателей, обвинения в формализме и проч. не могли прийти по душе многим западным интеллигентам.

16 июля <1937>.

Тов. М. Кольцову — председателю советской делегации на конгрессе писателей.

Дорогой Михаил Ефимович,

Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы.

Как Вы знаете, я работал в Ассоциации со времени ее возникновения, никогда не уклоняясь ни от каких обязанностей. Когда приехала советская делегация на первый Конгресс, один из ее руководителей, Киршон, неоднократно и отнюдь не в товарищеской форме отстранял меня от каких-либо обсуждений поведения как советской делегации, так и Конгресса. Я отнес это к свойствам указанного делегата и воздержался от каких-либо выводов.

Теперь во время Конгресса я столкнулся с однородным отношением ко мне. Если я иногда что-либо знал о составе Конгресса, о порядке дня, о выступлениях делегатов, то исключительно от Вас в порядке частной информации. Укажу хотя бы, что порядок дня парижских заседаний, выступление того или иного товарища обсуждалось без меня, хотя официально считаюсь одним из двух секретарей советской секции. Я не был согласен с планом парижских заседаний. Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздержаться от всего того, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегатам, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления советских делегатов по рангам. Я не мог высказать своего мнения, так как никто меня о нем не спрашивал и мои функции сводились к функции переводчика. При подобном отношении ко мне — справедливом или несправедливом — я считаю излишним выбирать меня в секретари Ассоциации, тем паче, что отношение советской делегации ставит меня в затруднительное положение перед нашими иностранными товарищами. Я думаю, что представитель советских писателей на Международном секретариате должен быть облачен большим доверием своих товарищей.

Как Вы знаете, я очень занят испанской работой; помимо этого я хочу сейчас писать книгу и, полагаю, смогу с большим усилием приложить свои силы для успеха нашего общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате.

Если Вы не сочтете возможным разрешить вопрос на месте, прошу Вас, во всяком случае, не вводить меня в секретариат, а я со своей стороны обращусь к руководящим товарищам с просьбой освободить меня от указанной работы.

Считаю необходимым указать, что лично с Вашей стороны я встречал неизменно товарищеское отношение, которое глубоко ценю.

С приветом

Илья Эренбург.

Помимо причин, указанных в письме, были и другие, умерившие общественный пыл Эренбурга. На дворе стоял 1937 год, и посылать «прогрессивных писателей» в Москву или убеждать их, что там ничего не происходит, было невыносимо (уже арестовали его друга Бухарина, да и многих других). Кольцов продолжал свою общественную деятельность. В ноябре он вернулся на родину, в «Правду». Упорно работал над лучшей своей книгой — «Испанским дневником», который вышел весной 1938 года в «Новом мире» и в «Роман-газете». Собирался его завершить. В июне стал депутатом Верховного совета РСФСР... А в декабре был арестован. 2 февраля 1940 года — дата его гибели.

От этих писем веет затхлостью отошедшего времени, хотя и адресат и корреспондент были, очевидно, убеждены, что коммунизм — это теперь уже навсегда. Кольцов заработал чекистскую пулю через несколько лет, Эренбург дожил до «оттепели» (как он сам эмблематично определил постсталинские поблажки), но под конец жизни все-таки получил «строгача» от гонителя христиан и авангардистов Хрущева — именно за авангардистский душок.

...Считай, пацаном я бежал тогда из Рыбинска в столицу «поддержать» опального мэтра. Попыхивая трубкой, Эренбург поинтересовался: «Кого читаю?» — «Алена Роб-Грийе, Натали Саррот и Мишеля Бютора». Старец пришел в восхищение, зачмокал трубкой, чуть не прослезился. А я тогда усиленно штудировал «Иностранку», где этих «представителей новой волны» немножко печатали, заманивая в СССР, чтобы смазать скандал с «Живаго» и партийные истерики по поводу модернизма. Эренбург, несмотря на опалу, был одной из действенных добровольных наживок, так что его миссия не претерпела во времени существенных изменений.

Коммунизм — в пространстве эпохи — держался не только внутренней силой, но и опирался на воздушную подушку мирового общественного сочувствия. Оно подпитывалось как интеллектуальной фрондой и действительными язвами цивилизации, так и активно формировалось агентами влияния, среди которых Эренбург, адаптированный в культурной среде Европы, — из звезд первой величины.

...Однажды в парижском кафе около Тюильри, известном превосходными деревенскими винами и ветчинами, старый эмигрант познакомил меня с хозяйкой, еще помнившей Эренбурга. «Вот за этим столиком, — сообщил он мне, — Эренбург завербовал Элюара».

Даже если это было преувеличение — то из того рода преувеличений, что по сути достовернее многих нерепроверенных фактов.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ



ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ У ПОРОГА БУДУЩЕГО

Во времена Екатерины Великой обмен депешами между Петербургом и Камчаткой мог занять и два, и три года: курьеры передвигались только зимой и летом, когда устанавливался путь. Какой же огромной, величественной, поистине необъятной казалась тогдашняя Империя! Нам нелегко понять это, еще трудней — ощутить. Мир стал маленьким, проницаемым; на моем московском столе стоит факс, он медленно заглатывает письмо — а где-нибудь на другом конце земли уже выползает копия этого послания. И — странная вещь, непонятная вещь! — чем обозримее становится наш мир, тем больше он стремится к дробности, легче раскалывается на все более мелкие государственные образования — и тем неразрешимее проблемы, с которыми приходится сталкиваться новым поколениям.

Эти проблемы — в центре последней по времени публицистической книги Александра Солженицына «Россия в обвале» (М., «Русский путь», 1998). Солженицын обсуждает здесь и множество других тем, от макроэкономики до бытового жизнеустройства. Но, честно сказать, его выпады против «отцов» российского либерализма Чубайса и Гайдара («...шестилетие спустя по сегодняшнему самоуверенно ухмыльному лицу политика не видно смущения: как, разорением сберегательных вкладов, он сбросил в нищету десятки миллионов своих соотечественников...») кажутся мне слишком несправедливыми. Рассуждения о возможности «третьего пути» в экономике — применительно к катастрофической ситуации конца 1991-го и начала 1992-го — наивными, а «положительные примеры» государственного мышления (коммуноватый временный начальник Госкомимущества Владимир Полеванов, социалистический генерал-интеллигент-пограничник А. Николаев) — крайне необубедительными. Однако таким, как я, Солженицын заранее со вздохом ответил:

«Оправдатели (шоковой терапии. — А. А.) настаивают, что иначе и пойти не могло, другого пути не было... Здравомыслящие — уверены, что здоровые пути были, они всегда есть в народной жизни.

...спор этот уже отошел в бесполезность: нам всем думать надо лишь — как выбраться из-под развалин».

Ответил — и сосредоточился на ином; с моей точки зрения — на главном: на месте России в послеимперском раскладе, на судьбе русских, отсеченных, отмежеванных от «титульных» соотечественников новообразованными границами, на желательности «народосберегающей» политики. Основной солженицынский тезис прост: «упадок мужества, упадок веры в силы русского народа; у других — прикрытая форма желательного им восстановления СССР. Но это — отказ от русского культурного своеобразия, от тысячелетия за нашей спиной, — он повлечёт к утоплению редуемого русского народа в бурно растущем мусульманском большинстве. Если нам грозит национальная гибель — то не здесь спасение. Если мы выстоим — то только на кремнистом пути нашего самостояния, всей протяжённой длительностью нашей государственности, культуры и православной веры. А не выстоим — значит, рухнем». И спорить тут, мне кажется, не с чем.

Точно так же трудно (и — не нужно, бессмысленно) спорить с Солженицыным, когда он обвиняет власть в непонимании истинных целей, стоящих перед Россией после Империи. Когда формулирует эти цели: отказ от дальнего в пользу ближнего; прекращение бессмысленной тяжбы с Японией из-за островов, которые

давным-давно пора вернуть первоначальному владельцу; «сброс» с общероссийских государственных счетов западного и южного славянства, зажившего наособь, — и напряженное внимание к славянству восточному, с которым у нас по-прежнему общая геополитическая судьба; единое государственное устройство, федеративность без «автономизации»; принципиальность в кавказской политике: *изгнание* территорий, не желающих подчиниться общероссийским законам, обособление от них, если угодно — с помощью железного занавеса. Чуть-чуть напрягаешься, когда читаешь солженицынские рассуждения о судьбе чеченской диаспоры в случае такого решения, но — вспомнив о Моздоке, Нальчике, Кавказских Минеральных Водах, о Буденновске — со вздохом соглашаешься. Жестко, подчас жестоко мыслит Солженицын, а деваться некуда: когда не помогает терапия, приходится прибегать к хирургическим методам.

Спорить начинаешь позже, когда Солженицын, увлеченный — в принципе, абсолютно правильной — идеей собирания восточнославянских земель, начинает «оборонять» российско-белорусский союз от демократов. Но в том и дело, что мало кто из либерально ориентированных публицистов спорил с самим «союзническим» принципом, — речь шла о цене, которую Россия должна будет заплатить за такой союз. Цене и материальной (доведенную до отчаяния экономику Белой Руси придется вытягивать нам, за свой счет), но главное — моральной. Что там ни говори, а Лукашенко — политик чудовищно опасный; его слова о Гитлере, много сделавшем для немецкого народа, произнесенные в разговоре о сегодняшней Белоруссии, — не случайны; лобызаясь с ним, закрывая глаза на фашизоидность лукашенковского режима, мы размываем свои собственные представления о нравственно допустимом и недопустимом. Да, конечно, происходящее в России подчас не менее ужасно и безнравственно; из этого, однако, не следует, что с Лукашенко можно смириться. Даже во имя единения.

Дальше — больше. Как бы ни был прав Солженицын, толкуя о том, что мы предали соотечественников, оставшихся на территориях сопредельных государств, — все равно — как принять такой его посыл: «Выходцы из новопровозглашенных государств СНГ могут рассматриваться в России исключительно как *иностранцы* — и, стало быть, с ограниченным статусом и в гражданской и в экономической деятельности». Дело не только в абстрактных «правах человека» (хотя и с ними расставаться как-то не хочется), но в серьезнейшем внутреннем противоречии, какое заключает в себе солженицынская мысль. Только что речь шла о судьбе русских — в Казахстане, в Узбекистане, в других деспотиях с человеческим лицом; об Украине говорилось немало, о Прибалтике. И мы вместе с Солженицыным ужасались поведению «титовских наций», которые буквально выживают «неграждан» со своих территорий. И вот теперь должны избрать точно такую же линию в отношении к узбекам, армянам, таджикам: расколоть их, распределить по разрядам; живущих испокон веку оставить и принять как родных, новоприбывших — выдавить? Но ведь, кажется, они не находятся с нами в состоянии войны (в отличие от чеченцев)? И если мы выберем такой путь — чем будем отличаться от Назарбаева, который, как пишет Солженицын, выкуривает русских с казахстанской территории? от тех эстонцев и латышей, которые притесняют наших соотечественников-неграждан? Нет, уверен, что не здесь, не здесь спасение.

А где? Бог весть. Именно так: Бог — весть. А мы не знаем. И чем проектировать будущее, заведомо непредсказуемое, лучше вместе с Солженицыным обратимся мыслью к настоящему и недавнему прошлому, займемся анализом и самоанализом. Вот убита Галина Старовойтова, как никто другой связанная с имперскими окраинами; именно за ней в конце 80-х буквально гонялся по Еревану генерал Макашов, намереваясь арестовать всех активистов карабахского движения и их московских единомышленников¹. А теперь Макашов заседает в российской Думе,

¹ Не буду скрывать: считая Макашова негодяем и возмущаясь его незаконными действиями, я вовсе не был сторонником движения, которое поддерживала Старовойтова, а ее радикально-бескомпромиссные представления о геополитике, которые постепенно втягивали Россию в кавказский конфликт, считал попросту опасными; но это совершенно другой вопрос.

депутатом которой была и Старовойтова. «Бывают странные сближения», — говорил в таком случае Пушкин. Но я бы использовал другой — гегелевский — образ: *ирония истории*. Страшная, трагическая ирония.

Конечно, *прощение* и *примирение* являются необходимыми условиями национального спасения; современный мир постепенно дорастает до мысли, что бывают сражения без победителей и побежденных; разумеется, только грешники в Дантовом аду движутся вперед с головами, обращенными назад. Но если нет *покаяния* — нет и *прощения*. Наши коммунисты ни в чем не покаются, никакой вины за собой не признали. Если бы Старовойтовой удалось «продать» общественное мнение и добиться принятия закона о люстрации — переступила бы современная Россия роковую черту, отделяющую ложь от правды, жизнь от смерти? Погибла бы Старовойтова, если бы генералу Макашову, товарищу Зюганову, другим наследникам той партии, что погубила судьбу нескольких поколений, был — по суду! — закрыт путь в политику и на государственную службу? Убили бы о. Александра Меня, если бы Горбачев с Ельциным не пытались *реформировать* КГБ (нельзя реформировать уголовную банду), а распустили бы его — и создали заново *другую* службу безопасности, с другими задачами — и другими начальниками? Была бы так равнодушна к политике современная российская молодежь, если бы советские партийные функционеры получили запрет на преподавание в университетах и в школах (а ведь большинство наших профессоров — люди прежней системы)? Разумеется, новый Нюрнбергский суд над коммунизмом был невозможен — по самым разным причинам; но мягкий запрет на профессию — для функционеров преступной партии, а не для рядовых ее членов — был необходим. Не ради удовлетворения чувства мести (между прочим, вполне естественного), а ради самосохранения общества и защиты наших детей. То есть во имя настоящего и будущего. Теперь уже поздно; когда в ноябре 1998-го — после скандального антисемитского заявления Макашова — раздались голоса, требующие запрета КПРФ, это показалось не одному мне анахронизмом (а может, и бессмысленной провокацией). Но осенью 1991-го такое намерение было вполне осуществимо; увы — тот счастливый момент, как многие, многие другие шансы в нашей новейшей истории, был упущен. Теперь придется расплачиваться *грядущим* за непреодоленное *минувшее*.

Что делать — Бог дал человеку и человечеству безграничную свободу, в том числе — свободу погибнуть. Насколько искажен, изуродован изначальный божественный замысел, ясно видишь и чувствуешь в том же Карабахе, в нагорной, армянской его части. Плато — ровное, словно ножом срезанное; горы, обрывающиеся почти под прямым углом — и оттого производящие особенно грандиозное впечатление; сверкающие горные реки; голубая карабахская колючка — перекаати-поле, способная обходиться без воды и долгие годы не теряющая своей сияющей голубизны. А надо всем этим — веет тот самый «дух хлада тонка», в котором Бог открылся Илии. И кажется, что никогда не произойдет ничего ужасного, что мир вечен, что счастье — возможно. Но произойдет, случится, стрясется, и как раз тут, в царстве покоя, в точке райского примирения стихий. Я особенно остро это сознаю, поскольку побывал в Карабахе ровно за пять месяцев до начала войны — и, вернувшись домой, сказал близким: где угодно случатся потрясения, только не там. И вскорости все началось. Приблизительно тогда же, в самом конце 1988-го, я «обознался» в Восточном Берлине: повсюду царила гэдээровская скука, на фоне горбачевского громокипения особенно мертвенная и неподвижная. Казалось: тут история прекратила свой ход, погрузилась в беспробудную спячку, отгородилась от бурных событий Великой Берлинской Стеной. Нужно ли уточнять, что ровно через год стена дала трещину и события стали необратимыми? И как знать, может быть, лишь постоянная готовность к будущему — любому, радостному ли, трагическому ли, — сулит нам надежду на выход из нынешних немислимых противоречий, даст силу действовать вопреки обстоятельствам?

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР СЛАВЕЦКИЙ



29 ноября 1998 года скоростижно скончался критик, литературовед и педагог Владимир Иванович Славецкий (род. в 1951). Его профессиональная деятельность была многообразна: заместитель главного редактора журнала «Литературная учеба», доцент Литературного института им. Горького, автор нескольких книг, из которых последняя посвящена течениям в новейшей поэзии, воспитатель молодых дарований. Для нас же он был постоянным и высокоценным автором «Нового мира», тонким знатоком поэтики прозы и в особенности стиха, чутким наблюдателем и аналитиком современной словесности, добрым другом журнала.

Скорбим об этой безвременной утрате.

Публикуемая ниже статья — последнее, что вышло из-под пера Владимира Славецкого. Она писалась специально для этого номера «Нового мира» и в значительной мере была задумана в память о Петре Паламарчуке, ранняя смерть которого потрясла нашего автора, близко знавшего прозаика. Но о творчестве Паламарчука Славецкий как раз не успел написать. Статья обрывается на середине...

ПОЗДНИЕ «АЛЕКСАНДРИЙЦЫ»

...мы живем в александрийскую эпоху, эпоху каталогов, переписи всех ранее накопленных богатств. К нашему столу свезены все духовные богатства мира, и мы наконец попируем.

Михаил Попов, «Пир».

В остроумных заметках Никиты Елисеева «Пятьдесят четыре», посвященных прошлогоднему букеровскому лонг-листу («Новый мир», 1999, № 1), по меньшей мере дважды говорится о том, что за историческую прозу писатели охотно берутся потому, что им так легче писать, историей-де «сделана половина писательского дела. Только напиши: Карл Великий или народовец — и в голове читателя уже возникнет образ. Патина времени сделает то, что должен был сделать писатель».

Что ж, можно даже упростить-заострить такую постановку вопроса. Исторические романы, подобно костюмированным телесериалам и декорациям из «Аиды», любит публика, их, значит, охотно заказывают издатели, объединяющие романы в серии. (А толстые журналы хорошо бы сохранить как заповедники для несерийной литературы!) Например — «Россия. История в романах». Название серии для издателей и книгопродавцев выгодно и даже для читателей подходящее, если они думают, что по романам можно узнать именно историю, а для литературы — невыгодное, ибо переводит литературу во второстепенный разряд иллюстрации, «раскраски» к истории. Мол, нечего литературоцентризм разводить. А еще есть, например, серии «Великие тираны», «Великие пираты» или еще какие-нибудь, не приведи Господи, «великие». Можно было бы убийц и кровососов назвать ну хотя бы более нейтральным словом «знаменитые», а то поди ж ты — и эти великие.

Рынок есть рынок. Одна дама работала-работала доцентом в вузе, иностранные языки преподавала, а потом взяла себе дворянский псевдоним (Арсеньева, кажется) и стала писать-издавать любовные романы. А еще был случай: другой даме, говорят, издательство даже подарило компьютер и засадило еще за какую-то серию романов. А третья дама, по профессии офицер милиции, имеет изрядный успех как автор детективов. Пожелаем и мы им процветания.

Поэтому, говоря об историческом романе, шире — о прозе, написанной на материале прошлого или использующей такой материал, нужно учитывать, насколько это имеет отношение к с е р и й н о с т и (хотя теоретически в издательские серии могут включаться и шедевры старых, скажем, мастеров), к поточному производству. А при выдвижении сочинений на премии можно специальные, особые номинации придумать. Вот «Оскар» американский аж по двадцати номинациям.

И все же, все же... Не только ради легкости берутся нынче отечественные писатели за историческое прошлое, все-таки осталась еще наивная вера, что литература оказывает какое-то общественное, нравственное и проч. влияние. У нас на счет этой самой легкости вообще нелегко. (Набоков по другому поводу — по поводу курортного романа в «Даме с собачкой»: «...эти российские романы вовсе не были такими легкими, как в Париже Мопассана».)

Если не зажмуриваться, не прятать голову в песок, то историческая проза нового времени — это детище романтизма и, между прочим, прокатившегося по Европе романтического (в смысле — не бытового) национального и личностного самосознания (попробуем произнести эти словосочетания нейтрально, без патетики), поисков «народности», то есть национального своеобразия, и «местности» (колорита). Классика жанра Вальтера Скотта всерьез считали великим писателем («...великий дееспособный сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века» — Н. В. Гоголь, «О движении журнальной литературы...»).

«Мы живем в веке романтизма... в веке историческом по превосходству... Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осеваем ежеминутно...» — писал А. А. Бестужев-Марлинский по поводу романа Н. А. Полевого «Клятва при Гробе Господнем».

Так то когда было, а нынче — «конец истории» (Ф. Фукуяма).

У них-то, может быть, и «конец истории», а у нас и истории, и «историй» хоть отбавляй. И конца им, историям и «историческим» людям (в ноздревском же смысле), не видно, лучше бы уж поменьше и пореже. Еще десять лет назад жили мы в одном государстве и с одним сознанием, а теперь — в другом и с другим... Хорошо бы понять — в каком и с каким... Вот и Никите Елисею все видится какая-то огромная черная воронка с рваными краями, в которую ухнули не только сочинители, но и все мы. Трагический, можно сказать, образ. Как же тут о прошлом не помнить, не попытаться опереться на него, не поискать способов выбраться из воронки? Или хотя бы забыться наркотически. Прошлое всегда привлекает своей поэтичностью (да раньше ведь и глина была лучше!), а еще это не то что собрание уроков (чтоб опять-таки не впасть в патетику), но по крайней мере — собрание прецедентов.

Поэтому в первой трети прошлого века (теперь уже почти что позапрошлого) обращались к исторической прозе из-за романтического самоосмысления пред- и посленаполеоновской поры. В советское время (которое скоро уже станет прошлым веком) — из-за, во-первых, становления сталинского абсолютизма, но и, во-вторых, национально-государственного самоосмысления, связанного с революциями и мировыми войнами.

А в нашу пору — из-за ощущения вот этого самого исторического зияния, воронки чудовищной. Ведь если мы находимся в каком-то антимире, где совершаются антисобытия и действуют антилюди, то где же писателям события, сюжеты и персонажей брать? События вроде происходят, даже мелькают, пестрят непрерывно, но логика их непонятна, телеологический смысл в этом хаосе — по крайней мере с близкой дистанции — не виден. А в прошлом есть логика хотя бы внешняя, хотя бы потому, что события уже как-то расположены друг за другом и им можно придумать объяснение задним числом. Вот почему наше «культурное время» (90-е годы) отличается сугубо регрессивным (и в том числе — романтическим) мышлением, несмотря на конец века и тысячелетия, казалось бы предполагающих неизбежность заглядывания в будущее. Все счастливые «будущие» уже испытаны, пережиты, никакой авангардности, прогрессивности, устремленности вперед, заглядывания в будущее, в «невиданные рубежи» не хочется — страшно. Даешь реставрацию! Хорошо бы знать еще — какую и чего.

История народа принадлежит царю, или «Наш ответ» Никите Елисееву. По поводу одного из романов Никита Елисеев пишет, кажется, с недоумением: «Перед нами — не исторический роман, а мечта Б. Васильева о красивой жизни, превратившаяся в историческую олеографию». Так оно и есть! Исторический роман почти невозможен без того, чтобы в той или иной мере не быть мечтой о красивой жизни, о счастье, справедливости и проч. А разве «Капитанская дочка» (где все так счастливо устроилось у Маши и Гринева) или «Айвенго» — не мечта авторов?

А вот увлеченно стилизованная под старину вещь Фреда Солянова «Повесть о бесовском самокипе, персиянских слонах и лазоревом цветочке, рассказанная Асафием Миловзоровым и записанная его внуком» («Новый мир», 1997, № 12) — живой, увлекательный «сказ», если угодно, романтическая сказка как раз о личностном становлении и самоопределении: не случайно в конце повести героиня оказывается перед Медным всадником, с которым у нас прочно связана выработанная великим певцом империи и свободы мифологема о противоречивых взаимодействиях государства и свободной личности, царей и частных лиц:

«Узрел я на каменном целике бронзового коня, а на нем — царя Петра, увенчанного лавровым венком. Копытом конь змия попирает. Спросил я Тимоху:

— Конь что попирает — супость или мудрость?

...И хоть старыми мы стали, лысыми и беззубыми, а зареготали, аки дети малые. Потому как не было на нас брильянтовых и иных цепей и ближнего своего за тридцать сребреников мы не предавали. И боле все. Клюковка вышла. Пора ответ держать».

И здесь назидание очевидное: когда цари защищают отечество, народ, граждан от «супости» (супостатов, врагов) — это одно, а когда в самодостаточном, самоцельном и постыдном властолюбии «мудрость» подавляют, то есть перестают быть мудрыми, — это совсем другое.

Нужды нет, что это фантастическая повесть на старинном материале, но внутри соответствующего жанрово-стилевого художественного единства и все «неправдоподобное» становится уместным и убедительным. Конечно, такого не может быть, чтобы крестьянский парень, благодаря своему барину освоивший французский, латынь и всяческую премудрость, став слоновым учителем в столице, был свидетелем всех придворных потрясений XVIII столетия, подружился сразу с двумя царствующими особами — принцессой и цесаревной, да чтобы одна из них родила от него императора Иоанна Антоновича, которого во младенчестве заключили в темницу. Если такого не может быть, то это надо придумать и показать Асафия Миловзорова настоящим благородным рыцарем, спасающим принцесс (которых он иначе как «лазоревым цветочком» не называет). А какие козни, какие муки, пытки он ради чести будущей государыни (как потом оказалось) Елисавет Петровны вытерпел, а не выдал ее! Он ведь, кроме прочего, еще и литературный «праправнук» Петруши Гринева, берегущий и честь смолоду, и закладываемую Пушкиным сказовую традицию. Осталась у Асафия на память золотая монета с отчеканенным на ней портретом сыночка — Иоанна Антоновича (то есть — Асафьевича), никак нельзя в романтической исторической повести без каких-нибудь значимых памятных вещей (монеты, перстня, медальона), и воспоминание о том, как он увидел однажды царственного младенчика в колыбели и обнаружил — еще не зная, что это его сын, — свою фамильную родинку. Остались еще и — беспощадные, несправедливые к самому себе — угрызения совести: «Степка, скворец мой, за чужого птенца вступился, кот-армая не убоялся. А я за сына родного не сумел постоять. И тут-то вспомнил я, как на дыбе висел трикратно и как петух в застенке после каждой пытки пел. Спасая Елисавет Петровну в граде святого Петра, я трижды отрекался от своего первенца, как апостол Петр от своего Учителя. Стало быть, и свободу свою я купил за то, что сына своего сделал вечным узником. Не та вера правей, коя мучает, а та, кою мучат...»

Прошлое для Фреда Солянова — поле развития и решения нравственных проблем, что видно не только по беллетристической его вещи, но и по воспоминаниям «Как мы с дядей писали повесть о Варшавском восстании» («Новый мир», 1995, № 6), где среди многих драматичных событий, вспоминаемых его дядей Николаем Городецким, участником Варшавского восстания августа 1944 года, особое

место занимает эпизод, повествующий о том, как Городецкий, движимый нравственными соображениями, не стал «убирать» коллегу-разведчицу, но мужественно, с риском для себя добился, чтобы ее оставили в живых.

А разве не красивая стилистическая мечта — филигранно стилизованная в раннем романтическом гоголевском духе, «вкусная», как мороженое с клубникой в жаркий день (сравнил бы В. П. Боткин), проза «страшной» повести Антона Уткина «Свадьба за Бугом» (1997, № 8)? Вот примеры этой очаровательной декоративности, любования редкими экзотическими словечками: «Черная вода застыла в *ковбаниях* (курсив автора. — В. С.) и, как взгляд старика, не отражает неба. А на бережках, заросших сплошной малиной, у самой стоячей воды, словно замшелые камни, неподвижно лежат черепахи и только мигают выпуклыми задумчивыми глазами».

И все так же ритмично: «И слышится людям в этом далеком голосе вся правда времен, и когда этот голос внезапно сорвется, как капля, или нитью истончится в голубой лазури, тогда старики, опершись на палки, только качают седыми головами и сбрасывают слезы шершавыми ладонями и еще долго стоят так, вперив перед собой застывшие взгляды, а молодые задумчиво следят, как ветер расчесывает рожь невидимым гребнем».

А перед этим говорилось о полусотне казаков, заброшенной с «хмельного Дона дремучей волею царя», то есть действие происходит в вызванном путем какого-то волшебства сонном, зачарованном царстве красивой и счастливой древности.

Задумчивые казаки украшают мизансцену, подобно тем черепахам. Воля ваша, назовите мои сомнения хоть буквализмом, но я жил в Украине, на юге России, бывал в Белоруссии и не помню, чтобы черепахи, экзотические все-таки животные, вдоль луж лежали, как лепные декоративные украшения на каком-нибудь старинном сооружении. Это ж сколько должно быть черепах, целый террариум! А там еще ужи будут попадаться клубками и шипеть, а один уж — как померещится Степану — даже с короной.

Это я к тому, что один в целом понятный мне автор «Литературной газеты» по поводу «Свадьбы за Бугом» писал, называя Уткина новым Гоголем: в «Хороводе» чувствовалась некоторая стилизованность, а вот последняя вещь — это уж сочинение совсем РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ. Так и написал крупным шрифтом и говорит: у нас была великая литература, не пора ли нам начать все сызнава. Его бы устами мед пить! Мне очень нравится это хорошее, колоритное слово «сызнава», но, к сожалению, начать сызнава — это утопия, причем в конечном счете бесполезная, как и всякая утопия, потому что морочит людям голову, как если бы всерьез утверждали, что можно начать сызнава культуру инков и ацтеков, то есть не только в музеях хранить обломки этой культуры, а рассчитывать на ее полнокровное развитие. Не начинать надо, а продолжать, хотя продолжать труднее.

В последнее время писательские тусовки очень комично препирались о том, кому принадлежат права на «новый реализм», причем даже не по существу, а именно о термине:

— Мы первые придумали, а вы у нас украли идею!

— Очень нужно у вас красть — у нас своя голова на плечах есть!

А я тоже мог бы предъявить права на первенство, потому что еще раньше, в 1991 году, пытался размышлять о том, что будет «после постмодернизма» («Вопросы литературы», 1991, № 11 — 12). Но я снимаю свою кандидатуру.

Не спорьте, господа! «Не надо злобы, писатели русские!» (М. Булгаков). Чем больше «новых реализмов», тем лучше. На всех хватит. Но если это и реализм, то специфический послепостмодернистский реализм. Этот реализм так же похож на хрестоматийный реализм XIX века, как классицизм на классику. Архаичная, натуральная, экологически чистая античная классика сначала была дополнительно эстетизирована Ренессансом, а потом совсем истончилась, став классицизмом. Нечто подобное произошло с реализмом после модернизма, соцреализма и постмодернизма: он «засахарился».

У Александра Сегеня, автора романа «Державный» (издательство «Армада», 1997, серия «Россия. История в романах. Время правления Ивана III») тоже есть красивая мечта, и даже не одна: «Достояние Христово — русский народ — не воз-

роптал после таких слов, а потянулся молчаливой цепочкой приложиться к благословенной деснице владыки Вассиана. И как нашлись в людях силы мгновенно осознать, что все сказано, что иного пути нет, что дома их окончательно обречены на сожжение и что в том есть особое испытание, посланное Богом, за коим непременно должна ниспослаться благодать!»

Да, была и даже есть такая мечта о субстанциальном единстве нации, о predetermined на небесах единстве царя-отца и составляющего его семью народа. Если такое возможно, то именно только в небесном замысле. Трудно поверить, что обреченные на потерю своих жилищ обитатели Посада мгновенно (!) осознали государственную тактико-стратегическую пользу от сожжения своих жилищ в связи с приближением хана Ахмата. Вот это «мгновенно осознали» даже смущает... Кстати, рядом с этим сообщалось, как мужики отправились в Красное Село, потому что, «может статься, государю нашему утешенье нужно». И таки утешили, развеселили государя тем, что принесли ему «последний груздь», и у них, как водится, на целую главу состоялась душевная беседа за чарой. Не верю!

Поскольку Никита Елисеев «наехал» на Сегеня в связи с романом «Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого», то был у меня порыв броситься на его защиту — из здорового чувства противоречия. А то не успели автора «Нашего современника» записать в букеровский лонг-лист (не такое уж большое достижение) — как сразу ругаться: «отдает холопством такое захлебчивое описание великих побед», «иловайскообразный»...

Нелиберально как-то получается.

Надеюсь, «холопство» тут ни при чем.

Если учесть историю вопроса, то за «великими победами», за оперной «аидностью» исторических романов (а вы, кстати, представляете себе «Аиду» без «вампукости»?) не только требования серийности (а еще им написан «Тамерлан» и другие сочинения — всего девять романов, кажется), но стоит определенное мировоззрение, коротко говоря — иерархическое, и монархическое в частности. В «Лексиконе русской литературы XX века» Вольфганга Казака в словарной статье о Сегене говорится: «Свое мировоззрение С. основывает на православии и русском традиционализме».

Нормальное мировоззрение.

Не дави так на автора серийность да «заслуженный собеседник», мировоззрение это, может, по-иному, в художественном отношении объемнее, независимее выразилось бы — без «вампукости». Но сослагательное наклонение тут ни при чем. «Жалобы бесполезны», как писал Н. М. Карамзин в «Записке о древней и новой России...». Да и не нужны никому. В конце 80-х годов наряду с многими замеченым, памятным до сих пор романом о современности «Похоронный марш» (отдельное издание вышло в 1988 году) автор, работавший в аспирантуре над темой «Публицистика Н. М. Карамзина», выступил как публикатор и добросовестный комментатор как раз этой самой «Записки...», напечатанной в «Литературной учебе» в сопровождении благожелательной статьи Ю. М. Лотмана.

Поэтому, отмечая известную «реторичность» заглавия «Державный» (так называли великого князя и современники, и сам Карамзин), видишь здесь и подсказку, «намек», «добрым молодцам урок», имеющий отношение и к нынешнему хаосу в нашем отечестве. Ибо сказано, мол, Карамзиным в связи с рождением в пору Ивана III самодержавия: «Если Рим спасался диктатором в случае великих опасностей, то Россия, обширный труп после несчастия Батыева, могла ли оным способом оживиться и воскреснуть в величии? Требовалось единой и тайной мысли для намерения, единой руки для исполнения: ни шумные сонмы народные, ни медленные думы аристократии не произвели бы сего действия. Народ и в самом уничтожении ободряется и совершает великое, но служа только орудием, движимый, одушевляемый силой правителей».

Вам ни о чем более современном не напоминает это образное выражение: «...Россия, обширный труп»?..

Возможно, отсюда выбор темы, исторического периода, главного героя романа и даже нарочитость иных мотивов, символов. Скажем, сквозной мотив двуглавого орла настойчиво бросается в глаза задолго до того, как Иван женился на Софье Палеолог и стал наследником византийского герба. Еще в конце «Книги первой» маленький Иванушка встречается со своим ослепленным отцом Василием Тем-

ним, а у того на глазах повязка, на которой княгиней вышит почему-то именно двуглавый орел. Вы спросите: зачем вообще здесь что-то вышивать, украшать именно это, искалеченное, место, привлекать к нему внимание? А чтоб и юный наследник проникался сознанием, что разговаривает как бы уже и не с отцом, а с самим двуглавым орлом: «вновь вмешался в разговор двуглавый орел», «хотнул двуглавый орел». Затем этот символ, эта симпатичная птичка орнаментом проведена почти до конца романа, где она будет оттиснута на блине, поедаемом государем на масленицу. Глядишь, и до читателей что-нибудь дойдет.

Характерно, что Софья Палеолог и отношения с ней Ивана изображены Александром Сегенем совсем не так, как, скажем, в романе советской поры Валерия Язвицкого «Иван III — государь всея Руси». Там больше места отведено интриганству Софьи и ее византийско-римского окружения, враждебности ее и к ней; на ее козни все время жалуются старший сын великого князя от первого брака Иван Иванович Младой, которого, как утверждают некоторые историки, до смерти залечил выписанный из Италии лекарь Леон. Софья Язвицкого до конца романа не освоила русского языка, говорит с сильным акцентом, то есть как бы не до конца понимает и понята. В новом же романе она с самого начала говорит на чистейшем русском языке (зато — для сравнения — мятежные новгородцы, к примеру, «шокают» на комичном одесско-мелитопольском суржике), и Иван Васильевич ее любит, с нежностью вспоминает в старости, а Иван Младой — думает о мачехе с умилением: «Она, в общем-то, хорошая, и Ивану грех на нее жаловаться. Никогда она его ничем не обидела». Софья и ее свекровь (!) Марья Ярославна трогательно дружат, обмениваются книгами — не только активно, но и как-то очень уж по-студенчески: «Старая и молодая княгини стали понемногу делиться друг с другом впечатлениями о прочитанном, обмениваться чтивом...» Опять же — не верю, но на то он и роман, чтобы развить любимую мечту-концепцию.

Роман Язвицкого для нас не указ и не образец, просто концепция, «мечта» другая: там была общая для многих исторических романов эпохи сталинского абсолютизма идея укрепления государства под твердой рукой вождя, пусть и монарха. Здесь же — именно монарха, поэтому палеологовская линия идеализируется, она должна быть по возможности безукоризненной.

Если в советское время портретные исторические романы писались, грубо говоря, в пользу, в оправдание, в поддержку «собирателей» государства и их огромной государственной мудрости, то современный автор смещает акценты, он настойчиво подчеркивает необходимость для властителя и народа быть последовательными в укреплении государства и истреблении того, что ему мешает. Роман Сегеня не только повествование о победах, завоеваниях и достижениях «творца величия России» (как называл Ивана III Карамзин); где-то с середины романа повествователь отодвигает в сторону государственные достижения царя и вплотную занимается живописанием ересей, в чем, видимо, и состоит своеобразие нового романа. Если у Язвицкого ближе к финалу государь торжественно и патетично ставляет сына Василия в государственных делах, а тот, став на колени, целует полу отцовского кафтана, заканчивается же все монологами Ивана, проникнутыми заботой о народе и отечестве, то по новой романной версии царь к старости становится слезливым мямлей, которого надо, не обижая, подвинуть. И окрепший княжеский молодец слегка его подвигает. (В жизни такое тоже происходит, хотя и не всегда успешно. Нашему бы теляти волка поймати!) Князь болеет, слабеет волей, скучает по покойной Софьюшке, то и дело плачет — например, исповедуясь Иосифу Волоцкому и новгородскому епископу Геннадию, которые страстно осуждают его за непоследовательность в борьбе с ересями. Я, признаться, не специалист по этому животрепещущему вопросу, а интересующихся граждан могу отослать к сочинениям Карамзина, Костомарова, Иосифа Волоцкого, митрополита Макария, Н. Тальберга, А. Карташева, Е. Голубинского. Они сейчас изданы-переизданы.

И у еретиков, иноверцев и инородцев есть выход: скоренько покреститься, как можно сообразить из финального богословского спора в бане молодых князей-наследников — Василия, Юрия Жилки и Семена:

«— Да уж не глупее тебя, — возразил ему Василий. — Между прочим, это он перевел на русский язык сочинения Самуила Леры и Самуила Евреина, которые против жидовской веры...

— Что ж это, те Самуилы — сами жидаы и против жидовской веры писали? — спросил Жилка.

— Стало быть, они уже жидами перестали быть, коли христианскую веру приняли, — сказал Юрий».

А то хоть старики и жгли еретиков, но мало, и молодежь настроена более решительно: «Встать друг перед другом, взять пресветлый образ Владимирской Божьей Матери, присягнуть, что будем всегда в ладах друг с другом, по старшинству друг другу подчиняться, не ссориться, воевать доблестно с врагами Отечества, изгонять беспощадно любую ересь и нечисть и хранить, хранить Русь нашу, аки и батюшка наш, государь Иоанн Васильевич, хранил».

Тут самое время поговорить о стилевом решении романа. Строгие правила времен социалистического реализма — классицизма советского времени — требовали от исторической прозы определенного стилового единства. А Чапыгин, З. Давыдов, В. Язвицкий, наш современник Д. Балашов стилизовали под древнерусскую старину по-разному, но внутри своих текстов более или менее соблюдали избранную степень насыщенности историзмами, архаизмами и просторечными словами. Трудночитаемый «Раскол» Владимира Личутина — это уже феномен позднего, «декадентского» свойства, он скорее всего не был бы одобрен, к примеру, строгим Горьким за преизбыточность.

«Декадентское» начало у Сегеня в том, что он хоть и не записной полистист, однако вполне ощутима известная многостильность, неизбежная как следствие и усталости большого стиля, утраты стилевой дисциплины, и обыкновенной «монтажности», присущей поточному творчеству.

То он пишет «по-древнерусски» (запоминается фраза: «Мороз крепчал, из холодной стыты превращаясь в настоящую зимнюю зябу»), то в описательных фрагментах насыщает — что почти неизбежно — текст редкими «басальками» и «бармицами», уместно объясняя их в подстрочных примечаниях. То вспоминает усредненно-изящный стиль переводов из Дюма, когда говорит о приехавших в Московию французах: «Андрэ осмелился наконец и потихоньку стал сгибать ногу. Боли не последовало...», — то переходит в романтическую вальтер-скоттовскую приподнятость, когда описывает новгородскую деву-воительницу, которой внушили, что она Иоанна Аркская. Еретик Федор Курицын думает на отвлеченном суховатом языке масонских (квазимасонских?) документов. Духовное лицо недовольно «секуляризацией». Описания ночных радений сатанистов заимствованы из «ужасников», а в сцену интимной близости хана Ахмата и его тринадцатой жены вторглось стебовое словечко «впечатывать»: «Хан, словно темная туча, надвинулся на нее, подмял под себя, раздвинул ее тонкие девичьи ноги и стал впечатывать Чилик-беку в толстый гератский ковер». Хан, конечно, враг и других слов не заслуживает, и секс у него должен быть «механический», но как же историческая-то атмосфера, колорит? Иногда автору на помощь приходит Гоголь, когда шевалье Бернару, напившемуся до чертиков, мерещится, что он верхом на черте летит в Иерусалим. В каком-то смысле фактологическая и филологическая насыщенность (например, прозвище Рыло — от слова «рыть») неизбежны, а когда встречаешь большие фрагменты, почти откровенно перелагающие источники (описание жизни Софьи до переезда в Москву, диалог Ивана III и Иосифа Волоцкого, письма Геннадия и проч.), то догадываешься, что такова издательская установка: раз «История в романах», читатель (или хотя бы издатель) должен видеть, что автор много книжек прочитал. Но факты и их интерпретации все же бывают весьма своеобразными. Вот и без дежурного Дракулы писатель не смог обойтись. История в романах или история в киче? Почему подчас написано неуклюже: «...брак с византийской царевной нес Ивану дополнительное значение», «Тут острая боль достигла его ощущений»? Потому что прозаику труднее написать просто и внятно: «ощутил (почувствовал) острую боль»; серийное творчество не позволяет сосредоточиться на простом, не квазилитературном стиле.

.....

.....

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА



ПОСЛЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Создается впечатление, что редакция стремится не столько понять самого Достоевского, сколько с его помощью понять нашу жизнь в целом.

«Новое литературное обозрение», 1997, № 27.

Серия «Пушкин в XX веке», так же как и родственная ей «Московский пушкинист», издается Пушкинской комиссией, образованной в Институте мировой литературы Российской академии наук десять лет назад и возглавляемой Валентином Семеновичем Непомнящим. В составе этой серии, начавшей выходить в 1995 году благодаря поддержке Правительства Москвы, изданы уже книги Марины Новиковой «Пушкинский космос» (1995), М. Ф. Мурьянова «Из символов и аллегорий Пушкина» (1996), Л. А. Краваль «Рисунки Пушкина как графический дневник» (1997), книга «„Моцарт и Сальери“, трагедия Пушкина. Движение во времени. Антология трактовок и концепций от Белинского до наших дней», составленная и откомментированная В. С. Непомнящим (1997). Вот-вот выйдут «Метафизика Пушкина» А. Позова. На подходе уже пятый выпуск «Московского пушкиниста» — ежегодного сборника, который, как и питерское издание «Пушкин. Исследования и материалы», находится на переднем крае отечественной пушкинистики.

Так что, оглядывая сделанное за эти годы, кажется, что комиссия существовала «всегда», да в некотором смысле, пожалуй, так оно и было, ведь не создалась же она в 1988 году решением институтского начальства, а как будто «проявилась», воплотилась, бывшая в духе — всегда, ибо всегда имя «Пушкин» — не только в тяжелые годы сгустившейся тьмы, как предсказывал Блок, — служило паролем, которым окликались и на который откликались, по которому узнавали друг друга. Паролем не элитарным, не известным лишь «посвященным», но даром (*даром* здесь — и наречие, и существительное) даваемым каждому, вскормленному русской культурой, на случай, если пожелает воспользоваться, если затоскует, томим жаждою встречи с другом, близким, но — неведомым, пока не произнесено волшебное слово «Пушкин». Рождение «пушкинской комиссии» — оно в 1880-м, на открытии памятника Пушкину, где в любви к нему соединилось — тогда уже страшно, безобразно и беспощадно расколотое — русское общество.

И тогда же стало ясно, что Пушкин — не залог примирения, но залог с об и р а н и я, не разрешение спора, но та почва, на которой спор можно вести небес-смысленно, та почва, на которой в споре непременно родится истина, — но при одном условии — при наличии любви. То есть при условии отношения к Пушкину как к среде, в которой живем, к воздуху, которым дышим, к чему-то жизненно необходимому (хотя кем-то, может быть, и не замечаемому), а не как к самодостаточному артефакту, служащему объектом исследования, цель которого — отстраненно познавать, но не понимать и не любить.

Касаткина Татьяна Александровна (род. в 1963) — литературовед, критик. Окончила Московский педагогический институт им. Ленина. В 1992 году защитила кандидатскую диссертацию по теории литературы. Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Автор книги «Характерология Достоевского» (1996). С 1991 года выступает со статьями в периодической печати. Постоянный автор «Нового мира»; лауреат премии журнала.

Это условие московской Пушкинской комиссией всегда блистательно выполнялось. Странно (хотя, может быть, вовсе и не странно) — именно это порой вызывало жесточайшие нарекания. Характерно, что собрание профессионалов высочайшего класса (хотя состав заседаний комиссии всегда был в высшей степени демократичен и там никогда не презирались *дилетанты* — хорошее, как о том порой вспоминают, почитаемое в пушкинскую эпоху слово, означающее «любящий высокой любовью», я бы сказала, бескорыстно любящий, без того расчета, который ведь стоит тенью за словом «профессионал», — так вот, при всем демократизме, ядро комиссии может служить образцом именно профессионального объединения) — это собрание обвинялось не в чем другом, как в... недостатке научности. Степень нелепости обвинения такова — при том, что делалось оно порой людьми весьма неглупыми, и толк в литературоведении понимающими, и не заведомо злонамеренными — что, безусловно, заслуживает рассмотрения, заставляя предположить, что здесь заключается некое *qui pro quo*, некая путаница, проясняющая тем не менее какое-то существенное заблуждение нашего времени.

Заблуждение это состоит, как представляется, в том, что, скрыто или явно, под «научностью» понимается лишь, так сказать, «чистая наука». А «чистая наука» — это наука, не выходящая и не ведущая за свои пределы, но при этом вовсе не смиренно принимающая свою определенность — в смысле определенность, ограниченность, — но замыкающаяся в ней гордо, с сознанием того, что все, за эти пределы выходящее, есть не более чем «туманная неопределенность, недоказуемая и внимания не заслуживающая». А собственные же следствия, находящиеся уже вне «научных» пределов, наука рассматривает как «побочные продукты», средства для нужд «низкой жизни», опять-таки интереса для «настоящего ученого» не представляющие. Все это обстоит примерно одинаково и для физики, и для литературоведения. Разница здесь одна, но весьма существенная. Теоретическая физика, в разные годы по-разному — снисходительно, с брезгливостью или с ужасом — взрывающаяся на свои «побочные продукты», относилась к ним таким образом по одной простой причине: ее конечные интересы были направлены на построение «истинной картины мира», план мироздания — вот что привлекало, а потом и приковывало взгляды крупнейших теоретиков, и именно потому, что взгляд их был весьма сосредоточен — там, он был довольно-таки рассеян — здесь, о последствиях чего нам всем известно.

Смешная и грустная стороны научного бытия литературоведа — приверженца чистой научности — состоят в том, что то, что он почитает «побочным продуктом» литературоведения и от чего стыдливо или брезгливо открещивается, оставляя, как и физик-теоретик, ведению «низких» практиков, — так вот, это то и есть то самое, к чему прикован взгляд физиков-теоретиков «на высоте всех помыслов и дум». Именно план мироздания снисходительно предоставляется «низким» практикам, которые тоже весьма своеобразны в литературоведении, ибо это — школьные учителя. И если «низкие» практики всех остальных сфер деятельности дело имеют с теми или иными созданными человеком механизмами, то практики от литературоведения — с невероятной и до сих пор теоретически неразрешимой задачей — с воспитанием человека, и в этом случае план мироздания, проблема «истинной картины мира» становится делом вовсе не отвлеченного частного или хоть и общественного знания, но личного и всеобщего бытия. От мировидения, мирозерцания каждого ученика средней школы зависит ну пусть не благо всего человечества, но, скажем, ваше личное благо — в том случае, если вы с ним встретились. И не так зависит, как от атомной бомбы, — то есть отрицательно, но так, что самые основания вашего существования могут быть потрясены или разрушены или, напротив, укреплены на основании адамантовом. Иначе говоря, от мирозерцания этого бывшего ученика зависит ваше счастье — если вы, например, в него влюбились. И если с мирозерцанием этим проблемы — то это, может быть, и похуже атомной бомбы. И тогда все зависит от вашего собственного мирозерцания — а оно тоже в большой степени «продукт» вашего взаимодействия с учителем-литературоведом, ибо все науки и в школе занимаются своей частной областью и только литературоведение — всей областью жизни человеческой. Возможно, воздействуя на формирование самых основ мирозерцания человека, учитель-ли-

тературовед занимается и не совсем своим делом, но пока в школах не введен Закон Божий, такое положение дел неизбежно, да и ранее, при наличии Закона Божия, словесность упорно узурпировала эти функции, весьма успешно противостояя Закону Божию. К чему это привело, также всем известно. Все это можно объяснить и описать как бунт секуляризованного, отпавшего слова против Слова или долгий и трудный путь возвращения слова к Слову, но после падения, после измены обету это ведь, как известно, — три пары железных сапог истоптать, три железных посоха источить, три железных хлеба изглодать.

Забавно только, что, ориентировавшаяся всегда в своем стремлении к научности на «точные науки», наука о литературе перевернула иерархию этих «научнейших наук» и, сочтя их последние цели и устремления за свои «побочные продукты», их побочные продукты поставила во главу угла и сделала своими главными и последними целями. Метод, разработка методики почти до уровня «поточного производства», уточнение факта, даже если это уточнение никак не влияет на смысл события в целом, в «чистом литературоведении» неизменно почитаются и ценятся (часто — превыше всего). Здесь не могу не привести два примера, они хороши до слез, и если бы их не было, их, право, стоило бы выдумать. Примеры эти — из рецензии С. Жожикашвили на восемь выпусков альманаха «Достоевский и мировая культура» и книгу «Достоевский в конце XX века», опубликованной в № 27 «Нового литературного обозрения» за 1997 год. Среди очень немногочисленных, но зато несомненных и весомых достижений этих изданий автор рецензии называет то, что «Б. Тихомиров на две минуты уточняет время смерти писателя»¹ (стр. 357). А вот зато самое тяжелое обвинение, самый горький упрек, который автор рецензии бросает (лучше — выдвигает против) редколлегии альманаха, — он вынесен в эпиграф к этой статье. Привожу его в контексте, чтобы истинные эмоциональные, ценностные и оценочные значения высказывания стали очевидны — ведь, спорю, не все догадались, глядя на эпиграф, что это — обвинение и упрек. «Если редкие удачи (из десяти книжек альманаха вряд ли можно составить один стоящий сборник) — заслуга конкретных ученых, то неудачи — проявление общей тенденции. Создается впечатление, что редакция стремится не столько понять самого Достоевского, сколько с его помощью понять нашу жизнь в целом» (стр. 360). Перед нами — «научность» как очевидный грех, ибо всякому греху присуще (как сказал архим. Александр Семенов-Тянь-Шанский, а вспомнил его слова В. С. Непомнящий в послесловии к антологии о «Моцарте и Сальери»), — всякому греху присуще «подчинение высшего низшему».

По видимости все более и более удаляясь от первоначального предмета разговора, мы наконец приблизились к нему вплотную. То, в чем упрекают издателей и авторов пушкинской серии, можно было бы описать не как «минус-научность», то есть отсутствие свойственных науке подходов, методов, методик, невладение научным инструментарием, но как «плюс-научность», то есть наличие в высшей степени научных и обоснованных методов, подходов и так далее, но — при непременной памяти о том, что все это лишь средство, а не цель, не нечто самодостаточное и в своей замкнутости и завершенности совершенное, но лишь путь, который не может заключать свою цель в себе самом, но находит ее всегда вне себя, внеположной себе, в чем-то, может быть, совсем, субстанциально другом — как цель невесты Финиста ясна сокола ведь не в том, чтобы сапоги сносить и несъедобные хлебы изглодать, но в том, чтобы найти жениха. Но «чистое» литературоведение именно в глотании хлебов и видит высочайшее и конечное свое достижение, а насчет дальнейшего...

Надо сказать, что самое впечатляющее возражение, какое мне довелось услышать против выхода литературоведения «за свои пределы», в область плана мироздания, было то, что «это нецеломудренно». Но в том-то и дело, что в пределах любого мирозерцания, где целомудрие будет вещью небесмысленной, оно не есть самоцель, но — путь. Путь верности. Путь к жениху земному, временному —

¹ Я совсем не склонна преуменьшать возможного значения этого факта по его следствиям для судьбы писателя (которые, впрочем, пока по крайней мере неизвестны). Но эти-то следствия как раз меньше всего занимают рецензента.

или путь к Жениху Небесному, Вечному, но никак не вещь, ценная сама по себе. Поэтому оно и прекращает существовать как ценность в культуре, в которой оно ни к кому не ведет.

Однако «чистая научность» отвергает и «научность-минус», и «научность-плюс». Парадоксальным образом перед нами сюжет центральной книги серии (она сейчас даже просто по времени выхода ровно посередине) — книги о «Моцарте и Сальери».

Но прежде чем продолжить сопоставление, я просто вынуждена изложить свое понимание пушкинской трагедии, к которому меня привела эта долгая — в полтора века — книга раздумий и споров, включающая, кстати, работы литературоведов всех трех категорий «научности». Иначе рискую быть понята не просто неверно, но — превратно.

Центральным героем антологии оказался Сальери (что отмечено и проанализировано в послесловии составителя). Думаю, это не просто понятно или закономерно — это правильно. Это адекватно пушкинскому замыслу. Потому что «Моцарт и Сальери» — это не только трагедия Сальери (ибо Моцарт, как неопровержимо покажет Непомнящий в своем послесловии, — не трагический герой), — это не только трагедия о Сальери, но это еще и трагедия для Сальери, то есть она для него написана, она имеет его своим адресатом. Как и все события трагедии, и сам Моцарт — для Сальери. Ибо именно бытие Сальери представляет собой мучительную и неразрешимую только его усилиями проблему, отравляющую (каламбур, право, ненамеренный) бытие и всех окружающих. Но если адресат трагедии — Сальери, то это значит, что именно сальери сидят в зрительном зале.

Не следует сразу пугаться или негодовать. Западные исследователи творчества Достоевского давно сформулировали одно фундаментальное свойство поэтики этого гениального ученика Пушкина: не давать читателю никакого нравственного преимущества перед ошибающимися и слишком опрометчиво судящими героями. Русским читателям и исследователям это свойство мешала заметить, во-первых, накрепко усвоенная аксиома бахтинистской (не скажу — бахтинской) поэтики Достоевского, утверждающая, что ошибающиеся и слишком опрометчиво судящие герои у Достоевского отсутствуют, ибо истинная полифония предполагает не ошибку, но «свою правду». А во-вторых — не исключительность этого свойства, его принадлежность вовсе не только Достоевскому, а в первую очередь — Пушкину. Потому с героями Пушкина, как и с героями Достоевского, могли происходить трансформации, столь характерные для недавнего времени, когда в самые-самые положительные попадали как раз заблудившиеся, заблудшие персонажи произведений того и другого. И хотя Сальери сделать идеологически положительным героем было затруднительно (все-таки Моцарта отравил, не старушонку угробил), но сочувствие к нему проскальзывает в целом ряде работ, а уж о понимании и говорить нечего! Понимают его до того хорошо (чувствуют — так и хочется сказать: как себя; не значит, что правильно — с точки зрения авторского замысла — истолковывают), что и Моцарта, как персонажа неясного, «новая версия», суть которой — в стремлении ввести Моцарта в конфликт трагедии «на равных», найти в ней собственно «моцартовский» конфликт, стремлении, выраженном еще в статье и театральной постановке В. Рецептера и позднее нашедшем свое формальное выражение в идее «открытого отравления»² (работы Чумакова, Беляка и Виrolайнен), — так вот, «новая версия» стремится перетолковать Моцарта в духе Сальери — чтобы был понятнее.

Сальери ведь прежде всего не завистник и не преступник (то есть — не больше, чем каждый из нас). Сальери — смирившийся с тем, что он «чадо праха», рожденный землей (мы же вот все, хоть на какое-то время, смирились с тем, что произошли от обезьяны) и поставивший между собой и небом надежный щит — возлюбленное искусство. Искусство, бывшее всегда, во всех типах религиозных культур путем, проводником и посредником, но ставшее для него самоцелью (что отмечено многими авторами антологии), превращается в заслон, а затем — и в заслонку от той печи, где младенцев-первенцев приносили в жертву Молоху.

² Проще говоря, утверждается: Моцарт знает, что его сейчас убьет его «друг».

Тогда-то именно и было сказано: «Не сотвори себе кумира», — ибо точно было известно, что всякий кумир неизбежно потребует человеческих жертв. Потому что кумир — стена между Богом и человеком. Кумир — это когда создатель обожествляет создание, чтобы забыть о Создателе. Сальери — «человек, исповедующий рукотворность мира», как скажет в статье, помещенной в антологию, Татьяна Глушкова. Сальери молился не Богу и не демону — автомату. Его ситуацию хорошо описала Марина Цветаева, говоря о современных ей литераторах:

«Искусство есть то, через что стихия держит — и одерживает: средство держания (нас — стихиями), а не самодержавие, состояние одержимости, не содержание одержимости. Не делом же своих двух рук одержим скульптор и не делом же своей одной — поэт! Одержимость работой своих рук есть держимость нас в чьих-то руках.

Это — о больших художниках. Но одержимость искусством есть, ибо есть — и в безмерно-большем количестве, чем поэт, — лже-поэт, эстет, искусства, а не стихии глотнувший, существо погибшее и для Бога и для людей — и зря погибшее.

Демон (стихия) жертве платит. Ты мне — кровь, жизнь, совесть, честь, я тебе — такое сознание силы (ибо сила — моя!), такую власть надо всеми (кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках — свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть — мала, всякая иная свобода — тесна — и всякая иная тюрьма — просторна.

Искусство своим жертвам не платит. Оно их и не знает. Рабочему платит хозяин, а не станок. Станок может только оставить без руки. Сколько я их видала, безруких поэтов. С рукой, пропавшей для иного труда»³.

Сальери завернулся в свой земляной кокон, концы и начала свои оставив внутри его, и лишь смутно душа его помнит, что родился он — Моцартом. Когда текут его детские слезы от звуков органа в старинной церкви — они текут не от любви к искусству, как сам он утверждает, ведь искусство он любил все неистовее, но не плакал с тех пор, — они текут от любви к Тому, к кому и должен пробуждать любовь церковный орган. Не важно, как назвать Его, у Него много имен, Единое прекрасное — очень подходящее имя. Слезы — знак чаемой встречи в конце пути. С тех пор Сальери не ждал встречи и весь сосредоточился на самом пути, путь вообразив — встречей. Но мы же все — кто все время, кто часто, кто время от времени — так живем. Живем, как будто на земле — цель и смысл нашей жизни. Живем, испытывая отвращение при мысли о смерти, но значит — и отвращаясь от возможности встречи. И, забыв о сферах, где обретается истинный смысл наших дел, и чувствуя невозможность осмыслить их в заданных нами пределах, страдая от неизбежной эфемерности всех достижений, порой «мало любим жизнь» и ощущаем ее «несносной раной». Но об этих наших страданиях мы потом наверняка скажем: «Я счастлив был: я наслаждался мирно...» — когда в нашу жизнь придет Моцарт.

А он обязательно придет — улыбкой вашего собственного малыша, глазами любящей женщины, восторгом влюбленного юноши — взглядом существа чистого и любящего вас беззаветно и безоглядно, самоотверженно — и хотя бы этой любовью очищенного. Потому что мистерия существования человечества повторяется во всякой человеческой судьбе, и каждый получает себе — спасителя, и каждому суждено сыграть роль спасителя в судьбе другого — иногда даже неведомо для себя. Он смотрит на вас беспредельно любящим взглядом, он напоминает о том, что всякое искусство — лишь дорога ввысь, иногда даже не зная этого рассудочным знанием, но просто взлетает, не задумываясь о том, как это у него получается, и недоумевает, глядя на вас, остающихся внизу. Вроде насекомых, которым даруются крылья на краткий миг их бытия, и они, глядя на собратьев, уже лишенных крыльев, не видят разницы между собой и ими, не понимают, отчего те не летят.

И вот под этим устремленным к вам лучистым взглядом вы поймете наконец, как были счастливы прежде, когда он не томил и не мучил вас, выбивая почву из-под ног, лишая уверенности в достигнутом, требуя от вас (при том, что — ничего не требует) таких изменений, что потрясут все ваше существо, разрушат с таким

³ Цветаева Марина. Сочинения в двух томах, т. 2. Проза. Письма. М., 1988, стр. 400 — 401.

трудом сплетенный кокон, на который истощила себя ваша душа. Вот тогда вы зарычите раненым львом и вззоете подшибленным шакалом. Странно, что некоторые исследователи удивляются непоследовательности Сальери, делают ее предметом углубленного рассмотрения и даже не шутя обсуждают степень умственного расстройста Сальери (то «жизнь казалась мне... несносной раной», то «я счастлив был») — все познается в сравнении.

А Моцарт... Честно говоря, меня несколько удивляют яростные споры вокруг «новой версии». Ведь сама по себе идея (безусловно, надуманная) о том, что Моцарт мог видеть, как Сальери бросил яд в стакан, еще ничего не меняет и, если не отступать от пушкинской трактовки характера и в других точках, Моцарта в Сальери не превращает. Ведь вот знал же Спаситель, что Его ожидает от возлюбленного человечества. Знал наверняка — и проверять было нечего. Но пришел — не чтобы испытать, но потому, что любил, любил своего другого, друга в вечности, отпавшего и отвернувшегося, захотевшего самому быть как боги и без Бога, в лицо Ему, не за спиной кричавшего: «Так улетай же! чем скорей, тем лучше». Не на «поединок роковой» вышедший, как Моцарт в трактовке Чумакова, но взыскующий друга.

Или представьте — вот дитя. (Непомнящий прекрасно написал об огромной дистанции, отделяющей человека-Моцарта от его гения, «который знает». Но удивительно, что жест, производимый от полноты знания и от полноты незнания, — совпадают!) Так вот — дитя. И его любимая мама (ну представьте!) говорит ему: «Я тебя убью сейчас!» Да чего представлять, слышали не раз. Но вот она на его глазах всыпает яд, размешивает еще — ведь ребенок засмеется, скажет: «Мама, я тебя люблю. Ты самая хорошая. Ты мой лучший друг». И выпьет. И так никогда и не совместит любимую маму с убийцей. Скажете, неправдоподобно. Каждый ребенок приходит к нам Моцартом — это знает всякая мать, глядевшая в глаза недавно рожденного малыша. Но уже через пару-тройку лет в этих дивно сиявших глазах иногда — такая отравная муть, что, право, непонятно, почему отравить тело быстро уж настолько отвратительнее, чем отравлять душу — медленно.

Моцарт не знает, что Сальери его отравляет, не потому, что он не видел, как тот клал яд, но потому, что этого не может быть (и это «не может быть» не совсем адекватно тому, что Непомнящий называет «не гармонирует», говоря о «гении и злодействе»). Как не может мать убить свое дитя — хотя едва ли найдется ныне на земле много женщин, в той или иной форме такого убийства не совершивших. Как не может брат убить брата — хотя первая история человечества именно о братоубийстве. И пока, несмотря ни на какую очевидность, человечество не перестанет чувствовать эту невозможность — у него есть шанс.

Моцарт любит друга и брата Сальери, а Сальери невыносима эта любовь. Моцарт — вестник возвращения и встречи, а Сальери не хочет встречи. Но Моцарт пришел — к Сальери и для Сальери. Как Господь пришел — к людям и для людей. Мы любим Моцарта и Господа. Но не надо забывать, что они пришли к Сальери и к распинавшим. К нам. Хорошо, что мы любим Моцарта и Господа. Себя-то чего так уж любить.

Область «моцартианского» бытия — это область бытия в судьбе другого, — именно поэтому так загадочен Моцарт для тех исследователей, которые желают уравнивать двух героев, связанных в заглавии союзом «и». Структурно это обозначено Пушкиным с предельной ясностью: Моцарт не только никогда не появляется перед нами без Сальери, но он никогда не появляется без зова Сальери, без его призыва и вызова, не важно, как этот призыв оформлен — как отчаянный вопль в пустоту: «О Моцарт, Моцарт!» — или как вполне пристойное приглашение на обед. Пушкиным нам явлен Моцарт в судьбе Сальери — и недаром Сальери судорожно вслушивается в «знаки небес», а Моцарт будто их и не слышит. Он и не слышит — он передает. Как, впрочем, и вообще гений. Как замечательно отметил один из авторов книги, дар гения — это всегда дар другим, для передачи другим. Гений, как и спаситель, всегда осуществляется в судьбе другого, и это удивительным образом доказывается всеми исследователями, пытавшимися «исправить перекос» в прочтении трагедии и выгащить Моцарта в область его собственной судьбы, используя для этого его предполагаемое знание о намерении и действиях Сальери. По мере продвижения в эту сторону Моцарт начинал на глазах превращаться в Сальери. Главный аргумент исследователей, желающих произвести ука-

занное перемещение, восстановить «равноправие» героев, — тот, что ведь в заглавии они стоят вместе и наравне. Да еще Моцарт — первый. Но кто сказал, что осуществление высочайшего предназначения человека происходит не в области судьбы другого?

Теперь, объяснив, что Сальери для меня — всякий (как и Моцарт — всякий в другой судьбе, хоть однажды, хоть раз, а может быть — только однажды, только раз), перехожу к его профессиональным взаимоотношениям с Моцартом и слепым скрипачом.

Марина Новикова в работе, помещенной в книгу, отметила одну особенность произведений (Мадонна Рафаэля, «Божественная комедия»), упоминаемых Сальери в его инвективе против слепого скрипача: они стоят «на рубеже культуры и культа». Но предполагаемый ею взгляд Сальери со стороны «культа» (как она считает, изнутри средневекового, «цехового» типа культуры) скорее затемняет, чем проясняет картину, хотя в отношении его к указанным произведениям есть все именно от культа. А дело в том, что только в «культуре» (если брать слово в том значении, каким оно обладает в предложенной оппозиции) предмет культа становится объектом культа. Мадонна Рафаэля приобретает то абсолютное значение, при наличии которого можно патетически восклицать: «Мне не смешно, когда маляр негодный...» — лишь в «культуре». В пределах «культа», где предмет «культа» — путь, проводник, «окошко» к прообразу, его эстетическое качество имеет большое, но отнюдь не абсолютное значение. Мадонна, сработанная Рафаэлем ли, «негодным ли маляром», равно может выполнять функцию окошка (ну конечно, окошка более светлого или совсем мутного — но здесь разница количественная, а не качественная), если... вообще может ее выполнять. В ситуации, когда произведение «маляра» и Рафаэля *качественно* противопоставлены, обожествляется уже не Мадонна, а «Мадона Рафаэля», образ застилает первообраз, то, что мыслилось путем, объявляется целью и вершиной, и сотворенный кумир заслоняет небеса и правду небес.

И для того, для кого путь становится целью, не важно, с какой стороны другой — ученый, художник, поэт — выходит за его пределы: со стороны «минус», как старик скрипач, или со стороны «плюс». И те и другие равно вызывают отвращение, поскольку нарушают замкнутость, и значит — эстетическую завершенность творения, «волнуют» и «мучат» сердца, вместо того чтобы их усладить (хотя бы даже и нравоучением).

Для Моцарта слепой скрипач — его собственное отражение и, в конце концов, «брат родной по музе, по судьбам». Как замечательно пишет Непомнящий: «Он такой же Скрипач: тот играет (по слуху — ведь слепой) божественную музыку Моцарта, а Моцарт играет — тоже по слуху — Божественную гармонию. И наверняка (ведь гений) слышит, чувствует, что в чем-то ее искажает: не потому ли хохочет — видя в слепом старике собрата, а не нахала, профанирующего *музыку*. Ведь, в конце концов, весь этот падший мир есть профанация того, что замыслил о нас Бог». О том же, но словами даже еще более подходящими к тому, о чем непосредственно идет здесь речь, скажет А. А. Белый: «Может быть, Моцарт в старике увидел... себя? Ведь старик играет по-своему хорошо, но и как-то искажая произведение в присутствии его автора, его *создателя*. Может быть, он, Моцарт, также несовершенен перед лицом Создателя, также искажает его творение, как старик — творение Моцарта? Увидев себя в старике, он увидел и как смешна претензия человека на гениальность с точки зрения „горнего мира“».

Для Сальери — враги оба, ибо оба лишают абсолютной ценности то, что для Сальери — абсолют, потрясая тем самые основы его бытия. Но если от одного можно отделаться презрением и негодованием, то удел другого — внушать отвращение, в том смысле, в каком Достоевский, описывая свои последние минуты перед казнью, говоря о том, что в луче, играющем на куполе колокольни, виделся ему прообраз его новой природы, с неожиданным напором признается в сильнейшем отвращении своем от этой новой природы. Отвращение — это ведь когда хочется — отвернуться. И не смотреть в ту сторону, и думать, что там — ничего нет.

Сальери говорит чистую правду, когда плачет при звуках «Реквиема», что «эти слезы» он льет впервые. Слезы, о которых он вспоминает в начале трагедии, — слезы встречи. Слезы, которые он проливает в финале, — слезы прощания. Ибо

окончательно отсечен страдавший член, уходит спаситель и посланник, и небеса наконец закроются. И придет сомнение — вечный спутник человека под закрытыми небесами, где правда уже никогда не чувствуется (а всякие попытки ее почувствовать объявляются ненаучными и «ортодоксальными») и требуется доказательство в виде факта и прецедента. Когда творение разнимают как труп и разбирают как механизм, отбрасывая лишние детали. И на том основании, что души в мертвом теле никогда обнаружено не было, объявляют ее несуществующей. Но гложущее сомнение все равно превращает жизнь в несносную рану. Хотя, конечно, это почти счастье — по сравнению с присутствием Моцарта.

«Чистая наука» требует факта и беспристрастности исследователя к этому факту. «Ну вот, — сетует Непомнящий в послесловии к книге, — какое-то время держался худо-бедно на сравнительно *научном* уровне разговора и — пожалуйста — съехал-таки опять в „полное возмущение“ (как откомментировали мои когдатошные возражения авторы статьи), рискуя в качестве реакции снискать величественный отворот головы или, напротив, тонкую улыбку: ну зачем так уж волноваться? Виноват сам: не выдержал тона, нарушил конвенцию. Чем учнее словарь, чем беспристрастнее и холоднее подача, солиднее и безличнее стиль изложения, тем серьезнее отнесутся к твоим умствованиям (а бывает — нагорожено такого, что, как говорится, сто умников не распутают). Все понимаю, но поделаться с собой ничего не могу. Волнуюсь».

Но вот что писал по поводу современного состояния науки один из крупнейших филологов, философов культуры, блестящий музыковед, искусствовед, германист (всем известно: самая «научная» наука — в Германии) А. В. Михайлов:

«Исследователь в XIX веке и в конце XX находится в разных экзистенциальных положениях. В XIX веке европейский опыт подсказывал веру в прогресс. Исследователь в XIX веке находится в более идиллическом положении. Наука в XIX веке — „наука в себе“. Кажется, вот-вот она предстанет в законченном виде... Сейчас ясно, что неизвестного становится все больше и больше по мере накопления фактов. Это наша ситуация. У нас нет никакой надежды, занимаясь какой-либо наукой, создать что-либо устойчивое, замкнутое в себе...

Отсюда следуют по крайней мере три вывода:

1. знание больше — и незнание больше;
2. историчность любого понятия, с которым мы будем иметь дело;
3. экзистенциальность всего, о чем мы думаем и пишем.

Последнее предполагает следующее. Все, чем мы занимаемся, как бы далеко оно ни было, как бы ни было это отвлеченно и абстрактно, — все связано с нашей позицией во времени и пространстве. Все наши понятия располагаются в окружении этой точки и нигде более и связаны с этой точкой, зависят от нее. Любая тема, какой бы отдаленной она ни была, связана с этой точкой. Это проявляется в нашем *волнении* по поводу данной темы. Исследователь, не испытывающий волнения, создает науку, лишая ее экзистенциального измерения, лишая ее человеческих качеств. Если мы забудем эти три положения, они не забудут нас...»⁴

Здесь не извне — от предпоставленных пути целей, но изнутри себя наука начинает ощущать себя не самодостаточной и не самодовлеющей, перестает чувствовать себя «завершенной» или «близкой к завершению», начинает ощущать свою протяженность. Она начинает ощущать свое качество пути, и это лучше — ибо ближе к истине, — чем то состояние, когда она считала себя целью, даже если это пока еще путь, не осознающий своих, внеположных ему, целей.

И как только наука почувствовала, что она — путь (даже со всеми оговорками), главным удостоверением своей истинности она осознала — волнение.

Как хорошо, что многие авторы книги о «Моцарте и Сальери», да и других литературоведческих трудов — волнуются. Ведь после литературоведения, как и после физики, — будет жизнь. Или — уже не будет.

⁴ Михайлов А. В. Музыка в истории культуры. М., 1998, стр. 246 — 247.

Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

ПРИБАВЛЕННЫЙ СВЕТ

Валентин Берестов. Избранные произведения в 2-х томах. М.,
Изд-во им. Сабашниковых, 1998. Т. 1 — 608 стр., т. 2 — 608 стр.

Хорошо быть Валею.

Когда ты маленький, все тебя любят, и любовь эта безотчетна, безмерна.

Любили тебя без особых причин:
За то, что ты — внук,
За то, что ты — сын,
За то, что малыш,
За то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

А когда ты немного подрастешь, то к любви прибавится бабушкина уважительность. Тебя, внука, она будет почитать, как отца, и ты словно станешь «прадедушкой» самому себе.

Вижу, бабушка Катя
Стоит у кровати.
Из деревни приехала
Бабушка Катя.

Маме узел с гостинцем
Она подает.
Мне тихонько
Сушеную грушу сует.

Приказала отцу моему,
Как ребенку:
«Ты уж, деточка,
Сам распряги лошаденку».

И с почтеньем спросила,
Склоняясь надо мной:
«Не желаешь ли сказочку,
Батюшка мой?»

Но Валею быть трудно.

Нельзя драться. Вообще нельзя никого обижать. Даже защищаться от обидчиков, причиняя им боль, тоже нельзя. Хорошо, что у тебя есть младший брат в первом классе. Чуть что, девочки бегут за ним:

— Ребята Валею обижают!

И первоклассник разбирается с обидчиками.

А еще был двоюродный брат, только кто о нем теперь помнит? Валею помнит и сумеет рассказать, потому что быть Валею — значит помнить и уметь то, о чем забыли или не умеют поведать другие.

Кто помнит о Костике,
Нашем двоюродном брате,
О брате-солдате,
О нашей давнишней утрате.

Окончил он школу
И сразу погиб на войне.
Тебе он припомнился,
Мне он приснился во сне.

В семейных альбомах
Живет он на карточке старой,
Играть не играл он,
но снят почему-то с гитарой.

И что-то важнее,
Чем просто печаль и родство,
Связало всех нас,
Кто еще не забыл про него.

Как прекрасно быть маленьким Валькой!

Ничего не понимать, но видеть, чувствовать, запоминать, чтобы понять когда-нибудь потом.

Вечер. В мокрых цветах подоконник.
Благодать. Чистота. Тишина.
В этот час, голова на ладонях,
Мать обычно сидит у окна.

Не откликнется, не повернется,
Не подымет с ладоней лица
И очнется, как только дождется
За окошком улыбки отца.

И подтянет у ходиков гири,
И рванется навстречу ему.
Что такое любовь в этом мире,
Знаю я, да не скоро пойму.

Быть Валею — это бежать из Калуги в военный Ташкент и там, в эвакуации, неожиданно попасть в круг Чуковского, Ахматовой, Н. Я. Мандельштам, одобвивших твои первые литературные пробы.

А затем всю жизнь искать и находить новые способы выявления себя: переходить от лирики к археологии, от археологии к детским стихам, от них к прозе, воспоминаниям, путешествиям, очеркам... «Вдруг» внедриться в пушкинистику... «Вдруг» приняться сочинять песни и со своим всегдашним радостным азартом напевать их возбужденно, истово, от всей души, ритмично размахивая в такт рукою.

Никакой возможности сосредоточиться на чем-то одном, выстроить свою жизнь «монографически» («Такова особенность вашей психики», — сказал когда-то Чуковский) и, словно чувствуя за собой эту «оплошность», извиняться за нее на первых страницах «Избранного»: «Надеюсь, пестрота моих сочинений не утомит читателя, а, наоборот, вызовет интерес к тому, что с отроческих лет не перестает занимать автора».

А пестрота действительно есть. В жанровом смысле двухтомник исключительно разнообразен.

Первый том (написанное до 1967 года) составляют юношеские стихи; два ранних сборника — «Отплытие» и «Дикий голубь»; миниатюры для детей; фантастические рассказы; повести, рассказы и очерки об археологии; первые главы книги воспоминаний «Светлые силы».

Во второй том (после 1967 года) вошли книги стихов «Семейная фотография», «Три дороги», «Ракитов куст», «Подземный переход», продолжение «Светлых сил» и, наконец, две работы о Пушкине.

Склонность к точности и шутке сказалась, видимо, не только в россыпях юмора, разбросанных по обоим томам, но и в педантичном тождестве объемов, с которым распределил автор (и издатель) весь этот обширный материал по двум томам «Избранного»:

1-й том: усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 35,29.

2-й том: усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 35,29.

Видно, автор не захотел обидеть ни один из томов — пусть будут совсем одинаковые. Чувствуется школа Маршака: выверенность и улыбка.

Из воспоминаний о Маршаке узнаём, что тот пользовался тремя категориями для оценки поэзии и таланта вообще.

Истовость — увлеченность, самоотдача.

Толковость в широком смысле: от детской считалки до философской системы.

Звонкость — «мощь в соединении с изяществом, легкостью, непринужденностью, веселостью, простодушием».

Очевидно, что этими качествами в той или иной мере обладал сам Маршак. Очевидно также, что их «унаследовал» и его ученик Берестов.

Истовость. Гуляем с Валентином Дмитриевичем по Москве. Он рассказывает о своем открытии: два стихотворения Пушкина, считавшиеся ранее записями народных песен, — оригинальные сочинения в духе русского фольклора. Доказательство — соотнесенность содержания песен с личной жизнью поэта.

— Читая Пушкина, я вывел закон лестницы чувств, о которой Александр Сергеевич упомянул в наброске к ненаписанной статье о русских песнях.

— И что же это за закон? — спрашиваю с некоторым сомнением.

— Я считаю, что своеобразие нашей народной лирики в том, что в необрядовых песнях «знак» чувств меняется на противоположный внутри одной песни. Одни чувства постепенно, как по ступенькам, сводятся к другим, им обратным.

— Начать за здравие, а кончить за упокой?

— Вот именно. Или наоборот. Но так плавно, так тонко, что этот переход незаметен. В стихах или в авторской песне обычно развивается какое-то одно чувство, там нет смены сюжетных ситуаций, а тут, в народной песне, она есть.

Спорить с Валентином Дмитриевичем трудно. Он слишком увлечен, слишком и с т о в.

Толковость. Иными словами — смысл. И не только образный, поэтический, а самый прямой — жизненный.

Я поле жизни перешел
И отдохнуть присел.
Там тихо одуванчик цвел
И жаворонок пел.
И стало мне так хорошо,
И я забыл почти,
Что поле жизни перешел
И дальше нет пути.

Другое дело, что с этим смыслом можно не соглашаться — скажем, можно верить, что за полем жизни только и начинается Путь, но нельзя отказать поэту в том, что свое ощущение он выразил т о л к о в о.

Звонкостью в маршаковском (и берестовском) понимании пронизаны многие страницы «Избранного». Что говорить, есть поэты и помощней, и поизящней. Есть поэты, чье пространство глубже, изысканней, многомерней. Но в ком еще соединилось столько детской искренности, юношеской пылкости, молодого жизнелюбия, итоговой зрелости? Валентин Дмитриевич словно совместил в себе все возрастное: был одновременно и прадедушкой, и отцом, и внуком, и правнуком.

Абориген XX века, он честно разделял его истины и заблуждения. Можно было не только восхищаться, но и недоумевать по поводу бесконечной духовной бодрости поэта: дескать, чему радуется. А он находил. И это заражало. И самому ему люди радовались. Он уводил от беды, развеивал уныние. При малейшей возможности шутил, смеялся. Конечно, «проклятых вопросов» это не снимало, но подобно тому, как в некоторые моменты истории противоречия бытия решаются не синтезом, а мученичеством, так, вероятно, решаются они и переключением регистров: с трагического на игровой, комедийный. Так, быть может, решаются они верой в конечное господство светлых сил. И сколь бы упрощенной, сказочной, наивной эта вера ни казалась, однако ее оправдание уже в том, что она реально помогала и помогает людям жить — и взрослым, и детям.

Не бойся сказок. Бойся лжи.
А сказка? Сказка не обманет.
Ребенку сказку расскажи —
На свете правды больше станет.

Творческую личность, тем более такую самодостаточную, такую разностороннюю, невозможно свести ни к трем «категориям», ни к тремстам. И все-таки хотелось бы назвать еще несколько черт, дополнительных маршаковским.

Лаконизм. Пример тому — все цитированные стихи. За краткостью формы скрывается умение сжато мыслить, остро и четко чувствовать.

Вот начало афганской войны. Оно отмечено как бы «смешным» и «наивным» двустишием:

Что-то грустно. На сердце тоска.
Не ввести ль куда-нибудь войска?

Но подумайте: война началась с тоски, с уныния, с того, что штатским и военным бонзам нечем было себя занять, развлечь... Жизнь их не радовала, и они послали людей на смерть.

А всего-то две строчки...

Артистичность. Быть писателем — значит вести диалог с самим собой. Здесь уже предполагается дар перевоплощения: из себя-одного в себя-другого. Этот внутренний артистизм часто невидим и неведом читателю. Но бывает и сценичность внешняя, понятная всем. Берестов и ею владел в полной мере. Литературный диалог с реальным собеседником был ему вовсе не чужд. Вот, скажем, как встретились однажды два «павлина».

В роли первого — Роман Сеф:

Вчера спросил павлин павлина:
«Что значит слово „дисциплина“?»
А тот в ответ: «Всегда будь прост
И распускай пореже хвост!»

В роли оппонента — Валентин Берестов:

«Я, — отвечал павлин павлину, —
Чихал на вашу дисциплину.
Пускай любитесь народ
Хвостом павлиньим круглый год.
А жить, хвоста не распуская, —
Тоска ужасная такая».

И снова сопротивление тоске — здесь дисциплинарной, административной, вызов мундиру, застегнутому на все пуговицы. Пусть Сеф имел в виду не ее, а самодисциплину, то есть скромность. Но ясно и то, что Берестов под «чиханьем на дисциплину» подразумевал творческую свободу. Конечно, это разные планы, но, сведенные вместе, они образовали комический конфликт.

Все, кто видели на эстраде Валентина Дмитриевича, имели удовольствие любоваться чудесной пышностью его «хвоста» — интонационно-стилевым пародированием Алексея Толстого, Чуковского, Маршака; радоваться его байкам, анекдотам, шуткам из жизни...

— Мы копали в Новгороде, — рассказывает Берестов-археолог. — Это было сразу после войны. Нам в помощь дали пленных немцев. А у нас в группе случайно оказались сразу три Вали. И вот, если немцам что-то было непонятно, им говорили:

— Спросите вон у того Вали.

Или:

— Обратитесь вот к этому Вале.

Или:

— Валя должен знать.

Или:

— Вам поможет кто-нибудь из Валь.

Немцы слушали-слушали и решили, что *валя* — это такая профессия...

Мы смеемся — и *валя* вместе с нами. Непостижимо! Пленные немцы становятся вдруг причиной веселой путаницы, приобретающей безусловно положительный смысл: хорошо быть *валей!* Ведь *валя* — это тот, кто знает, умеет, готов ответить на любой вопрос, пусть хотя бы в пределах средневекового новгородского рва.

Доброта. Эпизод из заседания Комиссии по приему в Союз писателей. Рассматривается очередная кандидатура.

— Кто рекомендует?

— Берестов.

— Опять Берестов?.. Его безотказность граничит с равнодушием.

Валентин Дмитриевич говорил: «Мой принцип: ни к кому не напрашиваться, но и ни от чего не отказываться». Отсюда участие в бесчисленных передачах, поездки, выступления на вечерах. Он постоянно находился в какой-то горячке. Успеть, успеть, успеть!.. Опубликоваться в газете, пропеть по радио, мелькнуть на телеэкране. Иногда кажется, что берестовская «всеядность» — следствие добродушия и горячности — распространялась и на его стихи. Вначале жалко вычеркнуть не самую удачную строчку. Потом жалко исключить из книжки не самое удачное стихотворение. А в результате ткань разрыхляется, утрачивает плотность, редеет.

«Мое время пришло», — сказал Валентин Дмитриевич в начале 90-х.

Однако часть стихов как раз этих лет, те, что собраны в книгу «Подземный переход», отличается, по нашему мнению, избыточным публицистическим весом, слишком буквально примененной некрасовской сентенцией о поэте и гражданине. Предлагают — и нельзя отказать, обидеть. Это принцип. К тому же для поэтической рефлексии требуется время, и порой очень значительное, а как хочется успеть!..

И все же именно доброта, которая угадывалась у Валентина Дмитриевича во всем, помогла ему привлечь к себе симпатии читателей как минимум четырех поколений. Доброта и еще одно чувство, понимаемое и узколично, и в самом общем смысле слова.

Любовь. Вообще говоря, поэту не обязательно быть добрым и любящим. Он может оставаться сухим и надменным, холодным и злым. Он может принимать облик язвительного умника или надсадного страстотерпца. Примеров не занимать. Однако если уж благодать коснулась его, если доброта и любовь подарены ему природой, то не замечать их нам было бы негоже. Берестов прибавлял света, как прибавляет его березовая роща. Светлые силы, вложенные в Валентина Дмитриевича, позволяли ему любить и быть любимым. Это они в юности отвели от него руку НКВД. Это их попечительством встретил он Татьяну Ивановну Александрову, которой посвятил столько стихов и отчасти саму жизнь. Это по их воле не сговариваясь встало поминальное застолье, когда с песней об эшелонах сорок первого года зазвенел чистый мальчишеский тенорок семидесятилетнего поэта, уже частного нашей общей памяти.

С милым домом разлученные,
В горьком странствии своем
Пьем мы только кипяченую,
На чужих вокзалах пьем.

Было нам в то время грозное
Чем залить свою тоску.
Эх ты, царство паровозное!
Сколько хочешь кипятку.

Погодите-ка, товарные!
Пей, бригада, кипяток.
Пропустите санитарные
Эшелоны на восток.

Погодите, пассажирские!
Сядьте, дети, на траву.
Воевать полки сибирские
Мчат курьерским под Москву.

Командиры осторожные
Маскировку навели.
Эх, березоньки таежные,
Далеко ж вас увезли.

Паровоз рванет и тронется,
И вагоны полетят.
А березки как на Троицу,
Как на избах шелестят.



GURSKY-KOKТЕЙЛЬ: ОТ ПРОТОКОЛА К КАРНАВАЛУ

Лев Гурский. Убить президента. Роман. М., «Тerra», 1997, 352 стр.
Лев Гурский. Спасти президента. Роман. Саратов. ИКД «Пароход», 1998, 448 стр.

Выходных данных первой книги указана дата ее переиздания, тогда как хронологическое расположение дилогии куда интереснее простого увеличения летоисчисления на единицу. Роман «Убить президента» впервые появился за два года до уже минувших, 1996-го, выборов; следующие, как известно, хоть и неочевидно, состоятся в 2000-м (ср. с выходными данными второй книги). Налицо непрерывность романских циклов относительно основного демократического института: два года на рождение прогноза (возможного сценария), еще два — на его реализацию. Впрочем, раскрутка в одном направлении календарной рулетки с фишками — прототипами реальных лиц интересует нас в случае Гурского далеко не в первую очередь.

Уже по начальным фразам текстов Гурского легко угадывается автор-интеллектуал, досыта хлебнувший совка. В советское время интеллектуал, если он не шел служить власти (она, впрочем, особо и не звала), любил читать книги и рисовать карты, продолжая мерно корпеть младшим научным в геологическом НИИ или старшим корректором в профильном издательстве. Книжки бывали великолепные, вроде «Острова сокровищ», где попадались фразы типа: «Когда я стану членом парламента, то не хочу, чтобы ко мне, как черт к монаху, однажды ворвался кто-нибудь из этих тонконогих стрекулистов». А карты рисовались самые разные: с архипелагами и вершинами, топографией пивных, пунктами А и Б будущих жизней, эмигрантскими скитаниями и маршрутами виртуальных паломничеств. Потом в стране «началось», но к ее очередному обустройству наших героев не допустили, не запретив, однако, и дальше совершенствовать практику привычных хобби. К картографии и книгочеству добавились: диссидентская мифология с не очень внятным «за что боролись?», новая надежда на большую справедливость, актуализовавшиеся мечты об иностранных деньгах, о складах музыкальных инструментов и нарезного оружия в ближайшем кустарнике. Столь абсурдный джентльменский набор диктовала сама увеличивающаяся абсурдность бытия. Так на свет появился предсказуемый гибрид кремлевского мечтателя и конвейерного беллетриста. Мы говорим о Гурском — значит, беллетриста остроумного, наблюдательного, талантливоего.

Основная идея романа «Убить президента» — калька с политических чаяний определенной части интеллигенции. Чайания довольно просты: от победившего наконец добра добра не ищут. Даже если победившее добро с кулаками, «комками», косноязычием, нечистой рукой и дебильными деяниями. Отсюда единственно представимым вариантом альтернативной истории становится антиутопия с хорошим концом, поскольку, в отличие от власть предержащих, интеллигент Гурский ощущает свою ответственность даже не за самый судьбоносный эксперимент. Народ, с присущими ему глупостью и легковерием, выбрал не того, кого надо, и все заверте... Наше дело — прекратить верчение, и оно правое.

Вначале немного о сюжете романа, чтобы не выглядеть Гурскому совсем уж шарлатаном: сюжет закручен, но отнюдь не экзотичен. Основная коллизия подсажена своего рода генеральной репетицией возможного печального события. То бишь парламентскими выборами, где народ отчего-то имеет привычку голосовать за политические силы, опасные, по мнению автора, для отдельно взятой личности, целой страны и остального мира. Опираясь на реальные результаты выборов в Думу, Гурский предпологает исход президентских: к власти приходит отвратный тип с имперскими амбициями, неясным прошлым, букетом клинических хворей, к делу и не к делу вспоминающий Сталина. Раз пришел к власти — надо остаться в истории, любой ценой, и он задумывает крупномасштабную гадость. Старая революционерка, «бабушка русской демократии» (отчего, говоря о политических партиях и институтах, непременно вспоминают бабушек и дедушек?), в общем, Лера Старосельская собирается избавить страну от мерзавца, попросту — убить.

Сам мерзавец для достижения своих глобальных и низменных целей предварительно расписывает тот же самый теракт по нотам, но с существенной поправкой на то, что ни один волос не упадет с его преступной головы. Лере помогают, волею случая, а затем и по душевной потребности, честный гэбист Максим Лаптев, тележурналист Аркадий Полковников, экс-президент, командир Таманской дивизии генерал Дроздов. Самыми, пожалуй, яркими (возможно, из-за ограниченной функциональности) выглядят люди с периферии сюжета: аморальный писатель Изюмов, первым снявший цензурные претензии к слову «жопа»; пропахший пивом и сапожной мазью доморощенный фюрер Карташов, лояльный к новому президенту; главный редактор «Свободной газеты», рефлексирующий ренегат. Погони, выстрелы, битые лица, краденые авто, кожаные пальто, «соколы» и «орлы» из сцепившихся спецслужб, в финале — какая-никакая достигнутая гармония. Главный негодяй завален-таки из хорошего оружия.

Абсолютно чужое литературе вообще, но близкое жанру понятие напрашивается после прочтения — протокол. Можно так и вынести на обложку. От известных мудрецов тут — решение судеб мира, от милицейского канона — строгая последовательность действий, их обусловленность и итоговая совокупность. Плюс обязательное стилистическое единообразие. А что до юмора авторских оценок, которыми мастерски разбавляет свой сюжетный концентрат Гурский, то, ввиду теоретической неразработанности протокола как жанра, никто не посмеет сказать, что юмор здесь противопоказан.

Принцип утопии как обустройства общества на конкретном пространстве — в конечном нивелировании обустроителей и обустроиваемых. Принцип антиутопии — в возвращении к архаике, к мышлению архетипами, налицо обозначение полюсов, гады обустроители против поборников добра, справедливости и либеральных ценностей. И тех и других — жалкая кучка, а страшно далекий народ привычно безмолвствует. Но если понятие утопии достаточно широко и неплохо бы его сузить, совсем как русского человека, то антиутопия за рамки литературы выходит редко (хотя бы потому, что она сама по себе — перекося реальность). Гурский вынужден следовать за скачущим сюжетом, и это, разумеется, оставляет мало времени на индивидуализацию персонажей. Герои предельно функциональны, монолог каждого из них — это, по сути, комментарий совершаемого действия вроде футбольных трансляций. На этом постоянно сменяющемся фоне (при чтении едва ли не слышится жужжание кинопроектора) главным, наиболее детально прописанным и психологически мотивированным героем оказывается сам автор. По сути, все персонажи — это он, и их монологи только демонстрируют многообразие авторских мини-дискурсов. Поэтому, в отличие от персонажей, о нем можно сказать и то, что напрямую не прочитывается в тексте.

Сколько бы ни оговаривалась вашингтонская прописка и солидный эмигрантский стаж Льва Гурского — человек и писатель он безусловно наш. Ибо, как бы ни педалировал Гурский пресловутую далекость от народа, трудится он в области, где интеллигенция с народом традиционно едины, — это беседы при дневном свете и ясной луне о политике и власти, повсеместно сводящиеся к богатым коннотациями местоимениям «они» и «мы». «Они» — это власть, «мы» — те, кто согласен в них видеть демиургов, вершащих судьбы мира в соответствии с запредельной, недоступной обычному пониманию логикой. Как человек умный и образованный, Гурский прекрасно осведомлен, что большая политика в любезном отечестве — отнюдь не бином Ньютона, да и штампованное сравнение ее с шахматами и преферансом выглядит явно комплиментарным. Но как россиянин со стажем, он не может не оставаться адептом ее, политики, космогонической природы. На этом странном сближении строится роман: автор временами проговаривается, а подчас намеренно вносит пародийно-комиксовый рисунок в слишком уж демиургические картинки. Так, шекспировские злодейства Этого Господина (желчный интеллигентский эвфемизм, выдуманный Лерой, дабы не пачкать язык нечестивым именем всенародного избранника) выглядят пионерлагерной страшилкой на фоне его растиражированных признаний о своем папаше Марке, которого иначе как Макаром сроду и не называли. Фигура террористки Леры, при всех авторских симпатиях, — сама по себе добродушная насмешка над неискоренимым донкихотством заигравшихся в поли-

тику старых дев. Железный генерал Дроздов скорбит о сыне, будто читает мелодраматический монолог неизвестного автора на провинциальной сцене.

Кстати, на этом персонаже стоит остановиться поподробнее.

Дроздов верхом на танке как бы символизирует треснувший диссидентско-либеральный миф, чуть истеричное эхо которого иногда прорывается на страницы романа. Танки традиционно воспринимаются в интеллигентской среде как механическая инкарнация диктатуры, олицетворение ее бездушия и слепой мощи. Грязь, впаянная бездорожьем в гусеничные траки, — это как бы вещество зла, готовое обрушиться и задавить все живое и пытающееся дышать без особого на то разрешения. Единственное, что в случае танков имело шанс стать предметом споров, — советские ли танки вошли в Прагу (Будапешт, Афганистан) или все-таки русские? (После Чечни актуальность споров стала хиреть.) Гурский пытается снять с танков либеральное проклятие. Сначала он просто любит их могуществом и сравнивает появившийся из люка силуэт со скандинавским богом Тором. Потом освобожденные, по меньшей мере в пространстве романа, от проклятия танки Гурский активно посылает служить добру. Именно они обстреливают символическое «гнездо зла» в романе — Управление Охраны президента.

Симптоматичны в смысле открытости автора новым веяниям — а процесс этот для Гурского в чем-то даже мучителен — обязательные спецслужбы и спецслужбисты. В фигуре Макса Лаптева, который, укрепляя собственное особое в книгах Гурского положение благородного одиночки в форме (коллеги либо куплены, либо запуганы, либо исполняют приказ «не лезть»), ставит человеческие ценности выше служебных иерархий, автору видятся начальные признаки цивилизованной жизни, желаемого положения дел. Лаптев всегда в несколько привилегированном положении — при общем с остальными персонажами знаменателе он действует как бы с повышенным числителем, в нем изначально угадывается заявка на героя римейк-сериала. Будут меняться президенты и генералы, но останется продажность и ангажированность соответствующих структур, и только один человек со служебным удостоверением в кармане рискнет не поддаться исторически сложившимся свиновым мерзостям.

На привычный перечень каковых настраивает эпическое начало романа «Спасти президента». О том, что в России три беды — дураки, дороги и поголовная грамотность, позволяющая написать письмо с угрозами в адрес высшего должностного лица, чтобы все заверте...

Гурскому, конечно, известно, что равноценных или хотя бы удачных продолжений у великих книг не бывает. В «Убить президента» особых примет величия, может, и не было, но все же — зачем рисковать? Поэтому Гурский продолжения не пишет, радикально меняя имидж спасителя демократии, сложившийся в одном отдельно взятом романе. Если и уместно говорить о диалогии, то только в плане эволюции писательских приемов и взглядов. Воды и иллюзий утекло много, тут бы пушкинскую лиру, чтобы пропеть о безвозвратно удалившемся политическом оптимизме. Былую политкорректность и чапаевскую овощную стратегию (вот мы, вот белые) сменил бесшабашный цинизм, за которым угадывается усталый, но по-прежнему добрый взгляд кремлевского мечтателя. Живейшим образом приподнесенные произвол и беспредел — основное содержание романа — контрастируют с по-прежнему крепко и мастеровито, но уже как будто по инерции сконструированной сюжетной интригой, в которой, впрочем, оставлены разновеликие бреши, дабы отдельные ответвления текста спокойно произрастали за оградой действия.

Речь опять о выборах. Снова президентских. К знакомым лицам прибавляется засуетившаяся челядь кандидатов в гаранты конституции. В неприменном террористическом амплу на сей раз дебютирует некто Мститель. Появляется вуайер-соглядатай, коллекционер предвыборного абсурда со стороны, не способный, однако, этот абсурд адекватно оценить, — премьер Украины Козицкий. Вновь готовится покушение на президента России; в финале несколько трупов, и при этом всё и все осталось и остались на своих местах. Словом, свой особый путь.

Пока охочая до конкретики пишущая братия увлеченно занимается идентификацией прототипов, попробуем разобраться собственно с текстом. Если, прочитав «Убить...», мы говорили о протоколе, то после «Спасти...» напрашивается нечто принципиально иное — карнавал. Филологизированное Бахтиным понятие выво-

дит новый роман Гурского за флажки жанра, торит ему дорогу в область литературы куда более высокой. Карнавализуя политические реалии, Гурский пишет уже не альтернативную историю, но ее органическое вращение в реальность, определенность возможного развития событий задана непрерываемо-горьким коллективным опытом. Мало-мальски квалифицированный гадалец способен довольно точно представить будущее, предварительно выяснив все о прошлом. В подобном положении оказался Гурский. Он уверен, что зло победит, более того, оно уже победило, поэтому его надо рассмотреть и по возможности приручить. Затем изолировать в такой местности, где из всего его, зла, многообразия легко будет выбрать меньшее. И посмеяться над остальным с безопасного расстояния.

В средневековой уличной комедии-мистерии актер отличался от зрителя только грубым гримом. Но даже это незначительное отличие позволяло не воспринимать искусство как реальную жизнь. Сегодня распространенной тенденцией стало максимальное отделение себя от политики. Есть «они», но отсутствуем «мы». У «них» карнавал, у «нас» — обычная жизнь. Моменты вовлеченности в политические игры все более коротки. Самый интересный персонаж романа, полностью отвечающий карнавальности сути, — все тот же аморальный писатель Изюмов, на сей раз — кандидат в грядущие президенты. Рецензент «Книжного обозрения» Олег Рогов, без труда угадав в Изюмове Лимонова, пеняет Гурскому на «удивительную для жителя столь терпимого Вашингтона гомофобию». И далее: «Прототип Изюмова... эту карту давным-давно отыграл и теперь занят куда более интересными играми. ...Данная линия выглядит в романе несколько архаичной...» На наш взгляд, рецензент не учел изначального смещения действительности, ирреальности самой карнавальности стихии. Можно оставить на совести Гурского гомофобию, но она, похоже, продиктована не стремлением оскорбить чью-то толерантность, а является очередным маневром по локализации зла. При всей неприязни к реальному прототипу, Гурский допускает для центрального карнавального персонажа предел падения в вожди секс-меньшинств, но никак не ниже. Общеизвестным ныне «интересным играм», а следовательно реальности, он собрата по перу отдавать не хочет. Другое дело — доморощенный фюрер Карташов, фашист сначала по призванию, а уж затем по карнавальной роли, точный, в несколько штрихов, набросок рванувшего в политику пошлого недоумка.

Постмодернистские игры Гурского — пародийные, то есть возводящие изначально присущую постмодерну пародийность в квадрат, тусовочные, незамысловато-плакатные маски — важная составляющая общероманного карнавального антуража. Ближайшее будущее концептуальных изысков, по Гурскому, — криминальные хроники à la Хармс («Машкин убил Кошкина»), пушкинские строфы, превратившиеся в мантры наркоманов и киллеров, «Семь-сорок» как возможная замена «Калинки». Чувствуется, что и заявление вождя оппозиции о Крыме («остров-то нашенький») ближе не к имперским декларациям, но к аксеновскому бестселлеру...

И хочется крикнуть: хватит, хватит, узнали! Не хотим быть членами парламента и вообще играть в эти игры. Дайте нам на родине любимой, все любя, спокойно пережить ЭТО.

Гурского читать легко и интересно, а главное — нужно. Не будет большой натяжкой вычленив из его лапидарной фамилии слово «гуру». Неужели как раз такие учителя нам сейчас нужны?

Алексей КОЛОБРОДОВ.

Саратов.

*

ГОРОДСКОЙ АЛЬМАНАХ

Александровская слобода. Историко-литературное художественное издание.
Александров. Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. 1998,
267 стр.

Старинный город, при Иоанне Грозном — резиденция, откуда кровавый и набожный царь правил страной. Тогда город назывался Александровской слободой, ныне — Александров. Добротно и современно изданный иллюстрирован-

ный альманах носит старое название города — «Александровская слобода». Инициатор и издатель — первый из основанных в России цветаевских музеев.

На обложке альманаха изображен человек, летящий на распахнутых за спиной крыльях. Это не Икар, это холоп Никитка, смастеривший себе деревянные крылья и полетевший, как гласит легенда, на глаза православного люда и под грозным оком царя Иоанна с Распятской колокольни, что в белокаменной монастырской Слободе...

Куда же летит Никитка с обложки альманаха?

Первый рассказ в альманахе — «Русская печка» Юрия Шахтарина — относит нас в предпоследний военный год. Будто в мерцающем свете старой кинохроники видятся железнодорожные составы, везущие на восток раненых, разбитую технику и... заключенных. Во время стоянок, в ожидании зеленого света семафора, сопровождающая охрана избавлялась от умерших в пути. И вот однажды бабушка (автобиографического, по-видимому, рассказчика) привезла от железнодорожных путей «мертвую мерзлую бабу». Первая крупинка «соли земной» в рассказе та, что сердобольная женщина пожалела *мертвую* — ту могли изгрызть расплодившиеся и осмелевшие волки... В коридоре барака «мертвая» от тепла неожиданно оживает! И ее, больную, бабушка начинает отхаживать, выгревать на русской печке. Выясняется, что это не просто заключенная, но еще и чеченка. Удалось скрыть подобранную, вылечить. Трогательна сцена прощания: «Марьям подошла ко мне, погладила по голове, потом легонько, улыбаясь, тронула синяк на лбу. Сделала шаг к как-то вдруг растерявшейся, суетливо вытиравшей передником правую руку бабушке. И вдруг опустилась перед ней на колени. Бабушка охнула, совсем смутилась, подхватила Марьям за плечи и силой подняла ее. Они обнялись. По-женски, не тесно, скорее ласково... Наконец женщины, старая и молодая, оторвались друг от друга, Марьям направилась к двери, но неожиданно повернула в сторону, подошла к нашей печке и... обняла ее угол...»

...Совсем недавно в подъезде многоквартирного дома, где прожил на первом этаже много лет, от сердечной недостаточности умер врач-окулист из клиники им. Гельмгольца. Погиб только потому, что, проходя мимо почтовых ящиков, под которыми человек мучился от сердечной боли, ни один из соседей за три часа не подошел, ни один не вызвал «скорую помощь»... Немудрено, что неочерстевших, сохранивших живую душу тянет к той русской печке, что греет человеческим теплом в запоминающемся рассказе Ю. Шахтарина.

Что до поэзии, то она представлена большой поэмой Владимира Корнилова «Пасха 61-го года» — о кроваво подавленном в хрущевские времена восстании, действительно имевшем место в Александрове... В чем-то близок к поэме рассказ Спартака Ахметова «Козлы»: безысходно-матерная советская провинция, где даже смерть пьяно бездарна и нелепа (но писательски ярко даны последние видения утопающего). Читатель встретит также стихи Романа Кабакова, с 1992-го живущего в Кёльне, подборки стихов местных поэтов.

Из давно минувших времен, из второй половины XIX века, когда передовым общественным движением считалось народничество, публикация ранее непечатавшихся воспоминаний некогда признанного прозаика и очеркиста Сергея Яковлевича Елпатьевского (1854 — 1933), одного из самых известных до революции (наряду с Чеховым и Вересаевым) писателей-врачей, современника и знакомца В. Г. Короленко, Н. К. Михайловского, Л. Н. Толстого. Когда-то Елпатьевский был выслан в Сибирь за то, что незаконно укрывал революционерок, сестер Фигнер... В «Александровской слободе» помещены воспоминания из ранних лет жизни писателя. Это главы, найденные заместителем директора Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых по научной работе Н. В. Черновой в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки: «Новоселка», «Кухонный период», «Я», «Отец», «Учение», «Духовное училище», «О пребывании в Вифанской духовной семинарии», «Учеба», «Перед поступлением в Университет»... Елпатьевский родом из священнической среды, из старорусского уклада, как и отец сестер Цветаевых, Иван Владимирович, который тоже был сыном священника и тоже из Владимирской губернии. (Цветаевы с Елпатьевским были в дальнем родстве, однажды жили на его даче в Крыму.) Воспоминания эти сердечны, а наблюдатель-

ность писателя высвечивает в прошлом ряд «этносоциальных» подробностей, народных сценок.

Интересно остановиться на помещенных в альманахе мемуарах одной из сестер Герцук. Их было две — Аделаида Казимировна, «совершенно волшебная» полуглухая поэтесса, и ее сестра Евгения Казимировна, переводчица философских трудов Фр. Ницше, известная мемуаристка. Об обеих сестрах писали их близкие подруги, сестры Цветаевы. Марина — в автобиографической прозе, Анастасия посвятила им мемуарный очерк «Об Аделаиде и Евгении Герцук». В Александрове музей провел международную конференцию, Герцукам посвященную, на которую с докладами приехали слависты-филологи из самого дальнего зарубежья. Благодаря стараниям сотрудницы двух цветаевских музеев — московского и александровского, Татьяны Никитичны Жуковской, внучки Аделаиды Герцук, унаследовавшей семейный архив, в последние годы осуществлен ряд изданий, в том числе двухтомник поэзии и прозы этой интереснейшей поэтессы цветаевского круга. В «Александровской слободе» Т. Н. Жуковская опубликовала со своим предисловием две тематические главы из книги воспоминаний Евгении Герцук — «Детство» и «Александров»¹. В этих воспоминаниях нет безмятежной простоты — тревога, ожидание перемен, сомнения. Уже давали о себе знать годы перелома, время «декаданса». Молодых обуревала тоска по возвышенному, надмирному. И в то же время их преследовали бесцельность, отчаяние, трагическая бессонница. У Евгении Герцук вопрос сформулирован так: «Стыдно жить ничего не делая, а что делать?» Прямо-таки чеховское звучание. Поветрие безнадежности очень выпукло представлено у Е. Герцук в главе «Александров» — в образе офицера, обрусевшего немца Н. В. фон Нордгейма: «Интересы его были разнообразны, мысль деятельна, но стоило ему на миг задуматься, — и горчайшая тень ложилась на лицо. С нами двумя он делится своей внутренней безнадежностью всегда бегло, не рисуясь ею. В силу внутренних и внешних причин жизнь бессмысленна, бесплодна. Может ли разумное существо мириться с уничтожением? А нелепость общественного уклада? Я жалобно: „Неужели не может быть счастья?“ — „Отчего же? Счастье — это способность создавать себе иллюзии. Крепче держись за них — и будешь счастлив. — Улыбнувшись: — Знаете, как старик Свифт сказал? Быть счастливым — значит вечно быть в состоянии человека, ловко околпаченного...» — „А искусство?“ — напоминаем. „Да, искусство — это прекраснейший способ забыться. Музыка — это даже больше, чем забвение...». Дальше фон Нордгейм излагает Шопенгауэра. Интересно, что этот офицер чем-то неуловимо походил на второго мужа А. И. Цветаевой, М. А. Минца, которого связали с нею те же настроения. (Заметим в скобках, что в отличие от толстых журналов альманах имел счастливую возможность опубликовать массу уникальных фотографий, иллюстрирующих текст, — в частности, и к материалам Герцук, и к Елпатьевскому...)

Появление в альманахе имени московской писательницы Лидии Либединской (урожденной Толстой) не случайно... Она многие годы вела в Александрове Цветаевские праздники поэзии — когда-то полузапретные. В «Александровской слободе» Л. Б. Либединская опубликовала очерк «О Вере Инбер» с интересными подробностями. Как известно, Вера Инбер была родственницей Льва Троцкого. А тут узнаем, что, изгнанный за революционную деятельность из дома своим отцом, Троцкий «подолгу жил в доме своей старшей кузины, то есть матери Веры Михайловны, а была мать ее начальницей частной одесской гимназии: преподавала русскую словесность. Троцкий относился к ней с большим уважением и любовью, считал себя ей во многом обязанным, в частности, великолепным знанием русской литературы». Возможно, отсюда литературные интересы Льва Троцкого — целая книга статей о литературе... «Мне же хотелось на этих страницах, — завершает свой краткий „мемориал“ поэту Либединская, — напомнить тем, кто любит нашу литературу, еще об одной нелегкой писательской судьбе...»

В альманахе отдана дань и чисто краеведческим материалам. Центральные фигуры очерка П. Хмелевского «От светелки к фабрике» — династия купцов Барано-

¹ См.: Герцук Е. Воспоминания. М., «Московский рабочий», 1996. Эти главы были отданы публикатором в альманах до выхода в свет книги, но издательство, естественно, обогнало «Александровскую слободу» с ее скромными местными возможностями.

вых, предпринимателей по ткацкому делу, текстильных фабрикантов. Дух 60-х годов передает очерк А. А. Саакянц, посвященный совместно с А. С. Эфрон, дочерью Марины Цветаевой, и А. А. Шкодиной путешествию по Енисею на теплоходе «Александр Матросов» в 1965 году². Романтика этого путешествия для Ариадны Эфрон и ее подруги Шкодиной состояла в том, что они обе отбывали ссылку в Туруханске. Всего два часа свидания с прошлым. Герои очерка: река, окружающая природа — и сама Ариадна Сергеевна, про которую сказано: «Впрочем, об огромных противоречиях в уме и душе этой незауряднейшей женщины, *умнее* которой я, пожалуй, не встречала в своей жизни, — когда-нибудь в другой раз». Возможно, «другой раз» — это книга А. Саакянц «Спасибо Вам!», выпущенная издательством «Элис Лак» в 1998 году, куда вошло и «Паломничество на Енисей» и действительно много прозаического пространства отдано А. С. Эфрон.

Альманах, как видим, очень разнообразен по составу. В нем есть и чисто археологический материал Александра Бакаева, и два историко-документальных: «Село Зиновьево» Ал. Миронова и «Дело монахини Прасковьи Даниловой» Ел. Столбуновой — об обительницах Успенского женского монастыря, живших в XVIII веке, о чинимых игуменьей несправедливостях и о том, как две обиженные ею монахини ударились в бега. Статья А. Масловского «Якоб Ульфелдт и его гравюры» исследует ранние графические изображения Александровской слободы, а очерк александровского поэта Вл. Коваленко «Человек осуществленный» посвящен одному из видных ученых в области кристаллографии, лауреату Государственной и Ленинской премий Л. И. Циноберу.

В заключение отметим, что в тетрадке иллюстраций, вшитой в альманах, — авторские фотографии жителя Александрова, доктора С. Н. Масленикова, рецепт которого помог излечиться от рака создателю «Архипелага ГУЛАГ» (см. об этом в его «Раковом корпусе»). В фотографиях Масленикова Александров запечатлен таким, каким его видели сестры Цветаевы в начале века. Рядом — цветное воспроизведение работ художника А. М. Колоскова, прошедшего и ад тюремных нар, и неумолкающий многолетний грохот Струнинской мануфактуры. Художественным и научным текстам альманаха сопутствует также графика художников Анатолия Демьянова и Алексея Панина.

Закрывая ворота в «Александровскую слободу» — в историю и современность, мы догадываемся, что это было свидание с одним из лучших *городских* альманахов.

Станислав АЙДИНЯН.



ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ФИЛОЛОГИИ

В. Н. Топоров. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., «Гнозис»; «Школа „Языки русской культуры“», 1995, 874 стр.
Т. 2. Три века христианства на Руси (XII — XIV века). М., «Школа „Языки русской культуры“», 1998, 863 стр.

Выход в свет второго тома исследования В. Н. Топорова пришелся по времени между присуждением первой Солженицынской премии крупнейшему гуманитарии современности¹ и двумя юбилеями — семидесятилетием самого Топорова и восьмидесятилетием А. Солженицына. О времени, о Слове и о святости ниже следующие соображения.

О времени — о тех тридцати пяти — сорока последних годах, когда в литературе и филологию вошли имена А. Солженицына и В. Н. Топорова. Но сначала

² См. об этом же путешествии подготовленную и откомментированную А. А. Саакянц публикацию путевых заметок Ариадны Эфрон («Новый мир», 1995, № 6).

¹ Незадолго до смерти Ю. М. Лотман писал В. Н. Топорову в связи с его избранием действительным членом Академии наук: «Искренне и от души поздравляю Вас с званием академика. Я знаю, что для Вашей души это не столь уже важное событие, но для тех, кто знает Вас и Ваши труды и числит себя в числе Ваших друзей, это событие радостное, ибо бесспорно *справедливое*. Хочу верить в то, что Вы не сомневаетесь в моей искренности».

два слова о поколении рожденных в первое революционное десятилетие. Где больше всего проявили себя соотечественники, родившиеся между 1918 и 1928 годами, ныне здравствующие и почившие? *Музыка*: Ростропович, Светланов; *балет*: Плисецкая; *актеры театра и кино*: Смоктуновский, Евстигнеев, Леонов, Ефремов, Ульянов, Тихонов, Яковлев, Баталов; *спортсмены* — шахматисты, футболисты, хоккеисты, альпинисты; *ученые* — поколение Сахарова; *писатели-«фронттовики»* — от Самойлова до Астафьева; *филологи* — поколение Лотмана... Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие два-три года ни восьмидесятилетия солженицынского масштаба, ни триумфов семидесятилетних не предвидится. «Промежуток» — по давнему слову Ю. Тынянова.

Но и среди тех, кто заслуженно и достойно отметил свое семидесятилетие, не многие положили руку на сердце скажут, что они прожили свою жизнь, в согласии с солженицынским призывом, «не по лжи». Пожалуй, В. Н. Топоров в максимальной мере проходит через это «угольное ушко»². И дело не только в «непомянутии» им ни разу за сорок лет «патриархов» марксистско-ленинской конфессии (в отличие от вполне досточтимых его сверстников и соратников).

Вопрос: «словесность *или* истина», мучивший Вл. Соловьева и по конкретному поводу, в связи с ницшеанским соблазном, и в широком плане тех опасностей, что подстерегает «сверхфилологов» — определение вполне подходящее для первого поколения отечественных семиотиков, — попытка стать «философом будущего», «пророком и основателем новой религии», «чтобы так и пахло лингвистикой», «перейти границы филологии классической, чтобы впасть в филологию ориентальную»³ и проч., — для В. Н. Топорова, видимо в согласии с российским отношением к евангельскому пониманию Слова, представляется ложно поставленным: словесность как истина — предмет его исследований.

Ты в слове Слова — богослов:
О, осиянная Осанна
Матфея, Марка, Иоанна —
Язык!.. Запрядай: тайной слов!

«Математическая суть» ранних работ В. Н. Топорова, как и манифесты и заклипания его сподвижников («литературоведение должно быть наукой», «о применении точных методов в литературоведении»), не только соответствовала общенаучному этапу, запечатленному в стихотворении Б. Слуцкого («и величие степенно отстывает в логарифмы»), но и, надо думать, осознанно или нет, была вызвана стремлением за деидеологизированным «метаязыком» укрыться от языка лживой и, что самое важное, недобровольной идеологии. Овладение методом математической лингвистики и переложение всего Знания на ее язык, с одной стороны, соответствовало вполне естественному для ученого стремлению уметь в предельно отчетливой и точной форме изложить познанное, а с другой, было подобием некой «интеллектуальной шарашки», где укрыться от лжи было проще, чем на «зоне» традиционного гуманитарного языка.

Но уже конец 60-х годов прошел под другим знаком, нежели начало. Тот, кто регулярно посещал в те годы московские храмы, помнит, как изменился контингент прихожан в некоторых из них буквально за год-полтора. Недаром весной 1969 года отец Всеволод Шпиллер отметил, что в истории Церкви «начинается но-

² То есть не «В. Н. Топоров», коего я не имею чести знать, а его статьи и книги. Попутно и о знакомстве: лет пятнадцать назад, возглавив кафедру театроведения в ГИТИСе, я тут же позвонил С. С. Аверинцеву и В. Н. Топорову с предложением прочитать любой спецкурс. Аверинцев согласился, за что я ему бесконечно признателен, а Топоров отказался. Полагаю, что отказ (отчасти) связан с инстинктивным неприятием любой зрелищности, театральности, а значит, в известной мере и не-правды, что неизбежно связано с чтением лекций. Недаром Топоров, пишущий, казалось бы, обо всем, о театре не пишет, и из всех актеров лишь имя Федора Волкова попало на страницы его статьи, написанной в соавторстве с Вяч. Вс. Ивановым, да и то в связи с культурной ситуацией в Ярославле середины XVIII века. Вряд ли случайно, что и такой тип святости, как «юрродство», не стал (пока?) предметом внимания и анализа ученого...

³ Соловьев Вл. С. Собр. соч. Т. 8. СПб., 1903, стр. 99 — 100.

вая глава», «только переворачивается сейчас одна из труднейших страниц, ни в коем случае ее не заканчивающая. Настало время... Все чаще и неотложнее встречаешь людей самых разных возрастов и положений, прошедших через внутренние глубокие духовные и умственные кризисы, иногда через трагические конфликты, оказавшиеся неразрешимыми для них на внерелигиозной почве... Так религиозная тема мысли верных Христу умов становится темой жизни вопрошающих Церковь то об одном, то о другом. Все чаще, все глубже, все серьезнее...»⁴

Словом, примерно тогда же, когда Солженицын в качестве одного из мотивов публикации «Августа...» на Западе назвал невозможность на родине печатать слово «Бог» с большой буквы, именно с прописной оно было напечатано в одной из статей В. Н. Топорова. А к моменту появления статьи В. Н. Топорова о Софии (1980), вошедшей в первый том его двухтомного труда, стало ясно, что есть в твоей стране филолог-софиолог, что когда-нибудь он, быть может, будет восприниматься не только или не столько в контексте Лотмана — Иванова, сколько Шмемана — Мейендорфа (тоже из недавних «семидесятилетних»). Достаточно сравнить программную статью А. А. Зализняка, Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова «О возможности структурно-типологического изучения некоторых моделирующих семиотических систем»⁵, намечающую подход к изучению «знаковых систем религии», «дифференциальных признаков божества», «структурной типологии религий» и определяющую язык как «сильно формализованную (в логико-математическом смысле) религию», с последними работами В. Н. Топорова, чтобы понять эволюцию одного из авторов статьи. Ритуал, «сакральные ситуации», сакральное пространство-время и, наконец, святость и святые — темы и проблемы его последних работ. И если в начале 60-х мир может рассматриваться им как пассивная память машины, то теперь «величие» отступило от «логарифмов» и перешло в сферу иного «пространства-времени», где «универсальным ответом может быть только спасение», где «луч света выхватывает из тьмы... веру», где через «образ Премудрости-Софии, которая изначально жертвенна и многоплодна и в которой слиты воедино Творец, творчество и тварь, обнаруживается связь христианской софиологии (русско-православная ветвь ее из числа наиболее плодоносных) с одним из ее важнейших истоков — библейской мифологемой о жизни и творчестве как радостном искусстве», где «в отрезке между 1040 и 1120 гг.» формируется «русская идея», а в ее составе — «святость как высший нравственный идеал поведения, точнее — особый вид святости, понимаемой как жертвенность, как упование на иной мир, на ценности, которые не от мира сего»⁶. Осмыслением этих идей, и особенно последней — о святости, и является двухтомный труд В. Н. Топорова — так ему видится, перефразируя заглавие статьи Вл. Соловьева столетней давности, «Россия через 1000 лет», таким он видит «Русский вопрос к началу тысячелетия», перефразируя заглавие недавней статьи Солженицына.

Двух томов, даже таких объемных, все же мало. Уж хотя бы потому, что если верны наблюдения В. Н. Топорова-лингвиста о связи языковых предпосылок святости с мотивами «набухания, роста и силы» (т. 1, стр. 144), то можно было бы сказать, что «русская святость» за тысячу лет так «набухла», что просто не вместились в изданный двухтомник — «осталось маленько и oprичь его», как говорил горьковский Лука по другому поводу.

Явно недостает «равноапостольных» Ольги и Владимира. Нет святителей: во втором томе отведено 34 страницы «московским митрополитам» XIV века — мало-вато, и можно было бы назвать среди них Алексия святителем, не боясь вызвать «соблазн» (так откликнулся В. Н. Топоров на канонизацию Димитрия Донского, что требовало бы большей аргументации, а в контексте исследования отдаст столь несвойственной ему публицистикой «МКомсомольского» пошиба, зато неправо-

⁴ Протоиерей Всеволод Шпиллер. Слово крестное. М., 1992, стр. 8, 9.

⁵ Сб.: «Структурно-типологические исследования». М., 1962, стр. 134 — 143.

⁶ Топоров В. Н. Спор или дружба? — «Сборник памяти о. Александра Меня». М., 1991, стр. 105, 111, 128 — 129, 130 — 131 соотв. Мне приходилось уже писать, что выражение «русская идея» сомнительно даже в кавычках и скорее им стоило бы пользоваться во множественном числе: «русские идеи», — но это особая тема.

мерно большое место занимает Антоний Римлянин, нужный больше для развития темы открытости Западу).

Тут повод снова вспомнить Вл. Соловьева, в свое время писавшего о трех вопросах, стоящих перед Россией, — польском, восточном и еврейском. В известной мере эти же вопросы стоят и перед нашим автором: 1) «К ранним русско-еврейским культурным контактам» (т. 1); 2) «Из ранних русско-западных встреч» (т. 2); 3) место «восточного вопроса» занял «евразийский» (т. 2). Судьба Вл. Соловьева и русского религиозного возрождения XX века к указанным трем добавила и четвертый: о «христианском гнозисе» и его «страстотерпце» Авраамии Смоленском (т. 2) — характерное для воцерковленного интеллигента «избирательное сродство». (Чувство вкуса разочек изменило Топорову не по этой ли причине? — речь идет о сравнении Серапиона Владимирского с Чаадаевым, да еще с несвойственным Топорову пафосом вообще и пафосом «прогрессиста» в частности: «И это за шесть столетий до Чаадаева!» Право же, звучит как «второй Чаадаев, мой Серапион». Полагаю, что это сравнение вряд ли порадовало бы и того, и другого.) И неким все же сомнительным итогом выдающегося исследования В. Н. Топорова, впрочем, если итогом, то предварительным, остановкой на пути, выглядит заключительная фраза книги: «Если угодно, это толстовское „трое вас, трое нас, помилуй нас“ тоже — при заданной мере простоты и краткости — вариант Троичного учения, точнее — вариант, по которому можно идти дальше к уяснению смысла образа Троицы» (т. 2, стр. 598). Если прав был И. В. Киреевский, что «направление философии зависит в первом начале своем от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице», то спустя две тысячи лет после Воплощения Второго Лица Троицы, через тысячу лет без малого, как «русская идея», согласно В. Н. Топорову, так содержательно проявила себя в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона; спустя сто лет после Вл. Соловьева и В. В. Болотова — толстовское «трое вас, трое нас» не один из вариантов пути, а тупик, не «неслыханная простота», а натужное упрощение, столь чуждое ошеломляющему богатству знания и сложности мысли Топорова. Впрочем, «здесь кончается» филология и начинается филокалия. Сейчас, когда вопрос, тревоживший Г. П. Федотова, — «будет ли существовать Россия?» — актуален как никогда за последние триста пятьдесят лет, когда самыми злободневными становятся строчки Ахматовой:

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве, —

когда из двух свойств подлинного патриотизма, по Вл. Соловьеву, «тревожного» и «размышляющего», «тревожный» явно возобладал над «размышляющим», двухтомник В. Н. Топорова, не уменьшая «тревог», напоминает «о великой щедрости Божьей», о том, что мы не только потеряли, но и приобрели, о нашем богатстве не только «бывшем», но и нынешнем, и, Бог даст, будущем.

Борис ЛЮБИМОВ.

*

ОСКАЛ ХОЛОКОСТА

В. М. Алексеев. Варшавского гетто больше не существует. Издательская программа Общества «Мемориал». М., «Звенья», 1998, 159 стр.

Эта книга, написанная на закате хрущевской оттепели, должна была тогда же и выйти. Не вышла. Историческая наука в пору развитого социализма идеологически блюла свою «антисионистскую» непорочность и отторгала исследования,

посвященные запретным еврейским темам. Вот и пришлось книге обреченно лежать в столе. Впрочем, как и другим научным трудам Валентина Михайловича Алексеева (1924 — 1994): о Варшавском восстании 1944-го, о событиях в Венгрии 1956-го, о Пражской весне 1968 года...

А между тем никаким явным потрясением тоталитарных основ работа ученого не грозила. Как замечает в предисловии научный сотрудник Русского исследовательского центра Гарвардского университета А. Х. Горфункель, автор был не из тех, кто демонстрировал свою оппозиционность, он лишь «выражал ее в точном следовании истине, объяснял, как в действительности обстояло дело», направляя тем самым мысль слушателя и читателя к выводам «неожиданным, но неопровержимым».

Один из главных выводов, естественно вытекающих из авторского повествования об истории Варшавского гетто и восстании как ее героическом пике и трагическом финале, — несостоятельность фарисейской морали, которой привычнее подвергать скорому, но неправому суду не все силы палачей, а обреченность жертв: сами-де виноваты, коль оказались слабы. Почему не сопротивлялись? Отчего не вняли, к примеру, шапкозакидательским зазывам Ежи Альбрехта, секретаря Варшавского комитета Польской рабочей партии, который, нацеливая на активную борьбу с оккупантами, всерьез обещал: погибнут единицы, но спасутся тысячи? «Конечно, — вынужден прокомментировать историк, — находившийся вне гетто секретарь недооценил серьезность положения (как, впрочем, и многие, многие деятели внутри самого гетто): речь шла о гибели тысяч ради спасения единиц».

Но и на горьком личном опыте познав действительное соотношение погибающих и тех, кому удается выжить, люди гетто не спешили смиряться. Самое выживание за трехметровой кирпичной стеной с колючей проволокой, ограждавшей перенаселенные — по 15 человек на комнату — дома, чьих обитателей выкашивали голод, холод, болезни и эпидемии (по 150 покойников каждодневно, 80 тысяч «естественных» смертей за первые полтора года), становилось вызовом насилию. «Евреи вымрут от голода и нужды, и от еврейского вопроса останется только кладбище», — предрекал Людвиг Фишер, губернатор Варшавы.

Голоду и нужде сопутствовали запреты на какие бы то ни было проявления человеческой жизнедеятельности. Любое из них поэтому объективно носило характер неповиновения немецким властям. Тем не менее люди занимались ремеслами, создавали кустарное производство, торговали. Благодаря этому «Варшавское гетто быстро превратилось в крупный ремесленно-торговый центр общепольского значения».

Рука об руку с торговлей шла контрабанда, в значительной мере сорвавшая «гитлеровские планы быстрого удушения Варшавского гетто голодом». Недаром «в записках, оставленных погибшими жителями гетто, не раз встречается пожелание, чтобы после войны был поставлен памятник „неизвестному контрабандисту“». Поверим им, очевидцам, и ученому, изучавшему их свидетельства. И не уподобимся тому цензору-моралисту, который, запрещая рукопись В. Алексеева, начертал на полях негодующую помету: «И это — хорошо?» Негодование блюстителя морального кодекса строителя коммунизма вызвал рассказ автора о том, как, обходя жесткие запреты оккупантов, мальчишки из гетто добывали еду себе и близким.

Однако, упорствуя, чтобы выжить, гетто в массе своей выживало отнюдь *не любой ценой*, а сопротивляясь «общественному распаду и распаду личности», хотя то и другое, конечно, было в взбаламученной реальности апокалипсического узилища.

Оно знало свое социальное расслоение, вынесшее на поверхность мутную накипь «новых людей», которые, освоившись с чудовищной обстановкой, приспособились к ней, сумели «извлечь из нее пользу. Готовые в любую минуту получить баснословный выигрыш или пулю в затылок, они ни перед чем не останавливались... Верхний слой в вымирающем от голода гетто составили преуспевающие коммерсанты, контрабандисты, владельцы и совладельцы шопов, высшие чиновники юденрата, агенты гестапо». Не было в гетто и «недостатка в негодах, которые обворовывали, грабили и выдавали палачам своих соплеменников в надежде продлить таким образом собственное существование».

Под стать расслоению людей — расслоение идей. В их пестром калейдоскопе одни исповедовали смирение и непротивление злу («самооборона равнозначна гибели»), другие — соглашательскую тактику выжидания, уступок («не будем играть с огнем»), третьи — самовнушаемые иллюзии изоляционизма, якобы благоприятствующего самосохранению национальной самобытности культуры и быта в первозданной, не замутненной инородными примесями чистоте. Особый сюжет, занимавший исследователя, — действия юденрата: был ли он чем-либо еще, кроме как пропагандистской ширмой рекламной автономии, мнимого самоуправления, до поры до времени нужной оккупационной власти?

Цепко повязанный ею, юденрат пресекал любую самостоятельность, инициативу снизу, направленные на облегчение условий существования. Так, именно он жестко «преследовал попытки создать в домах комитеты взаимопомощи. Такие комитеты, создаваемые жильцами на добровольных началах, помогали беднякам и больным, организовывали, насколько это было в их силах, дешевое общественное питание, вели просветительскую работу, боролись с произволом юденратовских чиновников... Юденрат конфисковывал деньги особенно активных домовых комитетов, арестовывал руководителей, не останавливался даже перед разрушением жилищ». Свою лепту, и немалую, в поддержание «нового порядка» вносила подчиненная юденрату еврейская полиция, арестовывая и выдавая немцам непокорных. На совести чиновников юденрата и полицейских, знавших о лагере уничтожения в Трешлинке, куда отправлялись из Варшавского гетто эшелоны с людьми, массовый обман населения, до которого доходили «ужасающие слухи о судьбе депортированных. Юденрат официальным объяснением опроверг „лживые измышления”», а один из полицейских чинов «громогласно назвал эти слухи провокацией».

При всем том, как свидетельствовала сотрудница юденрата, его председатель Черняков, «инженер по профессии, был скромным человеком, которого силой заставили занять этот пост... Чернякову нельзя отказать ни в старании, ни в изобретательности. Он вертелся, как рыба в сети, чтобы залатать все более расплывающуюся жизнь гетто, пока ему однажды не пришлось понять, что больше ничего сделать не удастся. Он принял цианистый калий». Приведя это и другие аналогичные показания, В. Алексеев не спешит сбрасывать их с чаши весов, но, взвешивая, сопоставляя все «за» и «против», приходит к выверенному заключению: «Каковы бы, однако, ни были личные намерения Чернякова, нельзя отрицать, что в течение многих месяцев он проводил политику оккупантов и покрывал деятельность различных мошенников внутри самого гетто».

Восемь еврейских полицейских, которые тоже свели счеты с жизнью вслед за председателем юденрата, тем самым сняли с себя ответственность за соучастие в карательных акциях оккупантов. Но «остальные, во главе с начальником полиции Юзефом Шериньским, продолжали выполнять распоряжения немцев, надеясь, что их и их семей „операция Рейнхард” (физическое истребление, уничтожение евреев, прикрываемые эвфемизмами „переселение”, „эвакуация”, „специальная обработка” и т. п. — В. О.) не коснется». Место Чернякова занял Марек Лихтенбаум, совершенно сознательно помогавший гитлеровцам истреблять евреев. «Его сыновья сотрудничали с гестапо, бражничали с нацистами, издевались над жителями гетто». Такой «нецивилизованный» коллаборационизм не требовал флера хотя бы внешней благопристойности: жуткая действительность потворствовала обнажению животной сути предательства.

Но чем ниже нравственное падение вольных или невольных пособников гитлеровской политики геноцида, тем выше духовное противостояние ей в антифашистском движении Сопротивления, исподволь набиравшемся сил и расширявшем поле борьбы. Один из начальных ее этапов — создание коллективом научных работников секретного института «под безобидным религиозным названием „Онег-шаббат” (Общество проведения субботнего отдыха)». Действуя под такой защитной вывеской, он собирал архив документов, включая мемуары и дневники, удостоверяющий расистскую идеологию фашизма и его преступления против человечности, выпускал еженедельный информационный бюллетень, в котором велась хроника Варшавского гетто. «Подпольный архив снабжал информацией антифашистскую печать, обслуживал организации Сопротивления, по поручению которых Рингель-

блном (известный ученый, экономист и историк, взявший на себя руководство институтом. — В. О.) в течение 1942 г. подготовил для отправки по секретным каналам за границу ряд меморандумов о немецких лагерях смерти и об общем положении евреев под властью Гитлера». Широкое распространение получило в гетто «тайное обучение. Выдающиеся педагоги (знаменитый Януш Корчак — один из них. — В. О.), ученые, литераторы давали молодежи запрещенные гитлеровцами образование — среднее и высшее, университетское и политическое. Тайно издавались учебники. Впоследствии вокруг подпольных гимназий и курсов формировались первые дружины антифашистов».

К началу октября 1942 года число убитых польских евреев достигло миллиона. Но место погибших занимали живые: создавались и активизировались нелегальные организации, подпольные — до полусотни названий — газеты и журналы работали на духовное обеспечение Сопrotивления нацистам.

Апогей борьбы — восстание (о хорошей организованности которого генерал-губернатор Франк особо докладывал в канцелярию фюрера). Разразившись на краю бездны — в ответ на подготовку ликвидации населения гетто, оно стойко выдерживало и шквальный огонь артиллерии, и газовые атаки, и пожары, от которых не только гетто — всю Варшаву заволочло тучами дыма. «Сполохи огня освещали город ночью, как днем, дома на „арийской стороне“ сотрясались от детонации... гитлеровцы, держась на более или менее безопасном расстоянии, попросту выжигали квартал за кварталом, готовые расстрелять любого, кто попытается выбраться».

Но и дотла спаленное, гетто сопротивлялось. Даже год спустя гитлеровцы, взрывавшие развалины, «натыкались на вооруженные группки евреев», ютившихся там. В трагические дни Варшавского восстания 1944 года они приняли в нем участие.

...Участие в Варшавском восстании уцелевших героев восстания в гетто — характерный штрих, позволяющий уточнить один из тезисов книги. Речь идет об антисемитизме, который «в Польше издавна был силен» и порождал «травлю евреев в широком масштабе». Последние два высказывания, похоже, настолько увлекли В. Алексеева, что он даже «погромы времен Б. Хмельницкого и М. Железняка» списал на польскую историю. Не точна и аналогия между польской мелкой буржуазией, интеллигенцией, крестьянством, то есть большинством населения, будто бы сплошь пораженного антисемитизмом, и баварскими лавочниками, которые «пошли за Гитлером». Нет, не подобна одна другой обстановка, какая складывалась на рубеже 20 — 30-х годов в Германии и Польше. Уместно в этой связи сослаться на совесть польской литературы начала века Стефана Жеромского, чей последний роман «Канун весны», признанный в СССР и контрреволюционным, и антисоветским, среди многих сюжетных мотивов, оппозиционных тогдашнему режиму ново-рожденной Польши, содержал и мотив отторжения антисемитизма...

Да и в годы гитлеровского нашествия польские писатели продолжали эту традицию активного неприятия антисемитизма. И Зофья Коссаk, с заслуженным уважением упомянутая В. Алексеевым в его книге — в разгар оккупации она организовала Временный комитет помощи евреям, написала и нелегально издала брошюру «Ты католик... какой?», где «напомнила верующим о том, что заповедь Христа о любви к ближнему относится и к евреям». И такие не названные в работе российского историка мастера польской прозы, как Мария Домбровская и Зофья Налковская. Последняя вела свои «Дневники военных лет» в доме, расположенном в непосредственном соседстве с гетто. И записи весны 1943 года, достаточно лапидарные по понятным причинам, свидетельствуют о глубоком потрясении, пережитом Налковской. «Варшава, 7.V.43. Стихия смерти, ужаса, зла в самом разгаре... И все это продолжается». Записи приобретают особенно трагическую тональность, поскольку Налковская понимает свое бессилие как-то помочь гибнущим в гетто людям.

В этой связи кажутся противоречивыми утверждения В. Алексеева, что вооруженное сопротивление еврейских боевиков не находило поддержки в среде поляков и повстанцы «умирали с сознанием своего одиночества». Автор сам приводит ряд свидетельств того, как варшавяне не только восхищались мужественной борьбой защитников гетто, но и пытались оказывать последним посильную помощь. Другое дело, что большинство этих людей погибло во время попыток прорваться в

гетто с транспортом оружия и боеприпасов от рук блокировавших эти кварталы эсэсовцев. Погибли и активисты «Жеготы», единственной в те дни в Европе организации по спасению евреев, которая финансировалась польским эмигрантским правительством в Лондоне.

...Иное дело — волна антисемитизма в конце 60-х годов, задним числом наложившая мрачную тень фальсификаций и на восстание в гетто. Но не сама поднялась она — ее намеренно подняли и целенаправили руководящие деятели ПОРП, цепляясь за пошатнувшуюся власть. Не с польской истории, стало быть, а персонально с них спрос. Твердокаменный ортодокс В. Павлов, советский резидент КГБ в Польше, в мемуарной книге «Руководители Польши глазами разведчика» (М., 1998) одним из главных закоперщиков антисемитской кампании называет генерала М. Мочара, метившего на роль первого лица в государстве. Но ничего у него не вышло, он только приобрел одиозную славу среди польской интеллигенции, в том числе в органах средств массовой информации, культуры и науки.

И сегодня книга В. Алексеева воспринимается своевременным и веским ответом тем, кто пытается объявить холокост сионистским мифом.

Валентин ОСКОЦКИЙ.

I. ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ. Стихотворения. М., Книжная серия журнала «Арион», 1998, 144 стр.

Не секрет, что многие литераторы видят в слове прежде всего источник дохода. Их слово так или иначе зависит поэтому от социальной или просто житейской конъюнктуры. Это предприниматели «от пера», от слова. Собственно, в силу слова они при этом не верят: оно у них оглядливо, осторожно и заискивающе подмигивает читателю.

Но все еще существуют между нами «безумцы», помнящие, что поэзия — «служение», дар свыше, и беспорочно, по-своему счастливо исполняют это служение. Вениамин Блаженный — из их числа. Поэту под восемьдесят, а новый сборник (охватывающий период с 1943 по 1997 год) — всего лишь четвертая его книга. «Я так и не пойму, что значит быть известным. / Известны ль облака? Известна ли гроза? / Так почему и мне по тем стезям небесным, / Слезами изойдя, свой путь пройти нельзя? / Лесного соловья не кличут Евтушенко, / Не издают рулад в миллионном тираже, / Но все же соловей рифмует задумчиво, / Чтоб в песне дать остыть взволнованной душе».

В проникновенном, хотя и не избежавшем преувеличений послесловии Т. Бек цитирует автора: «Поэтом меня можно назвать лишь условно». Действительно, если понимать под «поэтом» тип вышеупомянутого профессионала, живущего на литературные

дивиденды, то Блаженный впрямь не «поэт». Он поэт в другом, главном смысле: для него словесность — не выгодная деятельность, но сама жизнь. Поэзия Блаженного — очень своеобразный творческий мир, где лирическое достоинство достигается не ремесленным умением, а непосредственно поэтическим даром. Тут дышат не только «почва и судьба», но и полное бескорыстие. «Грандиозный творческий феномен», «огромная духовная мощь», — восхищается Бек. Понимаю, велик соблазн из далекого от столичной тусовки отшельника с прикровенной судьбой сделать гения. Все это, однако, не подходит к Блаженному: пышный декорум подобных определений его поэзии не к лицу. В его лирике поет «птица с маленькою головкою лугового цветка» — и этот щебет дорого стоит.

В 1944 году написано сильное, очень сильное стихотворение «Жизнь»: «Отдаешь свое детство попечительству идиотов, / Лучшие часы отрочества — грязной казарме школы, / Отдаешь юность — спорам с прорвой микроцефалов... Двадцатитрехлетний мальчик в советских условиях пишет такое — разве это не удивительно?»

Только подлинному поэту свойственны жизнелюбие и пренебрежение жизнью разом. Жизнь Блаженного отнюдь не сладка, скорее свинцова: «23 года трудился в инвалидной артели, ибо официально был признан „убогим“ с соответствующим заключением ВТЭКа.

Был помещен в сумасшедший дом, где полностью подорвал здоровье... „Поражаюсь убожеству собственной жизни“, — пишет он о себе, поражая и других ее убожеством...»

И тем не менее: «Боже, как хочется жить!.. Даже малым мышонком / Жил бы я век и слезами кропил свою норку, / И разрывал на груди от восторга свою рубашонку, / И осторожно жевал прошлогоднюю корку». Мало того: «Боже, когда уж не мошкой, — блошкой, тлєю / Божьего мира хочу я чуть слышно касаться. / Чтоб никогда не расстаться с родимой землей, / С домом зеленым моим никогда не расстаться...»¹

Читая Блаженного, нередко вспоминаешь о искусстве художественного примитива. Те же преувеличения, те же чудные неловкости кисти, то бишь пера, то же вкусовое бесстрашие, то же фамильярное прямодушие в «тягбе» со Всевышним. И граничащая с дилетантством непосредственность — как имманентная составная лирического письма, не негативная, а просто своеобразная.

Творческие миры — суть отражения качества души своих создателей. Потому-то многие из них в XX веке столь неотчетливы, грязноваты. И не только в книгах. Придешь на современную выставку — и становится не по себе: что за «зеркала души» висят в залах? Что же надо носить в сердце, чтоб не лениться «создавать» такое? Какая — по сравнению с прежними мастерами — деградация душевного качества.

Книгу же Вениамина Блаженного закрываешь со светлым чувством: человек с душой... поэт с душой... В наше время большая редкость.

II. ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ. Бремя безверья. Стихи. Тверское областное книжно-журнальное издательство. 1998, 176 стр.

Как ни удивительно, но русская поэзия на излете века все еще существует. Далеко не все цивилизованные страны

могут теперь похвастаться наличием в современных своих культурах полноценной поэзии — то есть рода творческой деятельности, предполагающей бескорыстную самоотверженность автора и сосредоточенный читательский труд.

Но это, разумеется, не означает, что у нас «нет проблем»: поэзия в кризисе; в кризисе само мироощущение честного стихотворца, чуждого популистской жилки. Прежде русский поэт ощущал себя едва ль не гуру, и для такого заблуждения культурная среда давала ему шедрый повод. Теперь общество, говоря на современном, а прежде уголовном жаргоне, «опустило» поэта, и ему осталось на долю «только» экзистенциальное, так сказать, выживание.

В кризисе и поэтика. Зубры андеграунда превратились в платных куплетистов и тешащих богатую публику шутников; постмодернистские приемы очень скоро всем нормальным людям набили оскомину; последние не выжившие из ума традиционалисты балансируют на грани эклектики. И все еще дышит в спину Солярис словесного неряшества советской поэзии...

В таких мрачных условиях радостно было услышать — сначала с журнальных страниц, а теперь вот отдельной книгой — бодрый, свежий, я бы даже сказал, пробирающий до костей голос Евгения Карасева. Стихотворец чуть не двадцать лет сидел в уголовных лагерях, живет в Твери и пишет просто и сильно. Его никто этому не учил — кроме жизни. Она сама дала ему и словарь, и синтаксис, и глубину лирического дыхания. Помните у Пушкина: «Художник-варвар кистью сонной / Картину гения чернит». Тут как раз все наоборот: «художник-варвар» кладет на тусклый пейзаж нынешней изящной словесности сочные до пастозности краски, яркие, несмотря на их тюремно-лагерный колорит. Его мастерство спонтанно, его повествовательная манера энергично первична. Ведь мы начали уже привыкать, что стихотворение — рефлексия на культуру, а тут — рефлексия на самое бытие.

В криминальном государстве лагерная героика подспудно стала одним из элементов фрондирующей социальной культуры. Но Карасеву хватило и дара, и ума, и просто вкуса не эксплуатиро-

¹ Ср. со стихотворением Г. Иванова: «Если бы жить... Только бы жить... / Хоть на литейном заводе служить». Кажется, такая острая, можно даже сказать, нецеломудренная жажда жизни в русской поэзии XIX столетия не встречалась. Тут есть над чем поразмыслить.

вать возможности данной темы. Пройдя огонь, воду и медные трубы, в поэзии он остается — на глубине — моралистом: добро и зло в его стихах не разжижаются — до неузнаваемости — в своих консистенциях, но и не имитируют «железное противостояние».

Никак не менее, чем лагерные, интересны и энергичны стихи Карасева-«вольняшки». Прикидывая мораль зоны к вольной и понимая, что различие не столь уж и велико и на воле оставаться человеком немногим проще, чем за решеткой, лирический герой Карасева им тем не менее остается.

...Помнится, Катенин, восхищаясь «Сказкой о рыбаке и рыбке», досадовал, что не понимает, что там за стихотворный размер и как она сделана. Так же, очевидно, и многие читатели Карасева, и я в их числе, не в силах понять, «из какого сора» выросли его лексика и грамматика. Ну как, например, написан замечательный «Отдых на ипподроме»? «Я прихожу на ипподром не играть — отдохнуть, / сбежав с городских улиц, как со стрельбища. / И, устроившись вдали от трибун, наслаждаюсь / чистым воздухом, доносящимся до меня горячим лошадиным храпом. / И лишь однажды иду поглазеть на зрелище — / когда объявляют гит с секундным гандикапом». Впечатляюще, ничего не скажешь.

Одна из неприятных черт порою и добротной поэзии, чувствуемая читательским нюхом, если не сердцем, — ремесленная насильственность сложенных в стихотворение слов, когда стихотворение — просто не худо выполненное профессиональное задание, уже заранее рассчитанное на потребителя.

Не то Карасев. Он пишет искренне, а не на потребу. И нигде не скрипят у него сколоченные тяп-ляп поэтические конструкции. Но они и не поставлены намертво, а живут и гуляют, как при волнении палуба. Карасеву удается выразить многое, очень многое — и при этом непринужденно. Это на редкость самобытный талант, как говорили в старину, самородок.

Основательно само умонастроение поэзии Карасева — настроение горького жизненного трезвения. (Вообще поэтическое настроение стихотворцем не выбирается: мол, сейчас напишу «с грустинкой», а завтра повеселее. Оно либо

есть, либо его нету, и тогда нет и поэзии. У Карасева оно имманентно и натурально.)

«Вечерами, желая спастись от хандры и забот, / я представляю себя на полке дальнего поезда. / И под частый перестук колес / уношусь из тягостного временного пояса / к своим началам, как идущий к истокам лосось». Карасева читаешь порою буквально с открытым ртом. У него необычная рифма не подбирается, а возникает сама — по ходу поэтической речи. Что Гумилев, например, считал самым верным признаком настоящей поэзии. (Правда, у иных поэтов это может быть также и просто результатом навыка заводить служебный мотор.)

«Я хочу выскочить из воображаемого поезда, / вернуться к житейским напастям, прорехам, / но, убаюканный дробным переплясом, не нахожу мочи. / И продолжаю ехать, ехать / по гнетущей, ненавистной, отвратной дороге, / без которой не было бы самых дорогих моих строчек...»

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН. Долгота дня. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 64 стр.

«Открой окно, ползущего червя / услышь в траве — извилистый, сырой, / своим подземным помыслом черня / еще сильнее ночь, — открой, открой, / открой огонь чердачный ночевья / ему навстречу, — медленный, ползет, / готовя для трагедий черепа. / Открой, вбери глазами — парой сот — / мед бытия: шевелится тропя, — / когит добычу хищный небосвод, / и ты неизменно жив, раз ты / забыт, разлюблен или приговорен / болезнью...»

И язык «неизменно жив», поэтический талант вообще производная функции быть живым, а в случае Владимира Гандельсмана она, эта функция, приобретает оттенок какой-то чуть ли не противоестественной или, напротив, как раз естественной потрясенности самим фактом существования. Я существую — значит, я... живу. Гандельсман извлекает поэзию не из радости бытия (не только из радости бытия, коей он от-

дал щедрую дань, особенно в первой своей книжке «Шум Земли» и в романе в стихах «Там на Неве дом»), а из невозможности привыкнуть к нему: «Тем ненасытной потрясенье, / когда в вагоне в тридцать тел дрожим / и дышим сумерками воскресенья». «В жизнь упавший» — так он помнит себя в точке-тайне, вокруг которой (вслед за Мандельштамом, определившим ее как «узел жизни, в котором мы узнаны и связаны для бытия») уже четверть века ходит его слово: «сюда и метили, когда дыханием зажглись». Тайну возникновения самосознания не дано постичь никому («*Может быть, это точка безумия*»), и здесь все мы различаемся степенью не приближения к ее разгадке, а потрясенности ею, живостью не ума, а чего-то такого, о чем гадал Мандельштам («*Может быть, это совесть твоя*»). И еще — степенью непривычки к языку (только глубоко пораженные им — поэты) и потому способностью речи совпасть с чувством.

Пострашнеем — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более — «пусти к ним!» —
и не просятся к земле, к воде,
к виноватым превосходствам жизни...

А «мед бытия» из стихов про червя — ирония? Легчайшая, как чаще всего у этого поэта; ирония у него не хлеб насущный, а соль на кончике ножа. «Мед бытия» горек для отдельно взятого рта, фокус в том, чтобы потреблять его «глазами — парой сот», и тогда вкус бытия, слагаясь из горестей и сладостей существования, протекающих бок о бок, приобретает терпкий букет жизни. Как, например, на пространстве трех ломких строф «Цапли», где в финале совместились животный мир, китайская графика, даосийская мудрость и русский язык.

Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен

и воткнул в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,

где испуг
круглее и безмолвнее мишени
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.

Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определенно,
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбным ртом
разинут мир, зияя изумленно.

Кто-то увидит здесь талантливую иллюстрацию к тезису о борьбе за существование (сияющий охотник и зияющая добыча), а кто-то — магическое зрение, способное увидеть пустоту *всеобъемной утробой мира*. И если кто-нибудь задастся вопросом, рождаются ли с таким зрением, то в книге «Долгота дня» ответ найдется:

Опыт горя и опыт любви непомерно дают
превращение в сердце, лишенное
координаты, —
оно — все, оно — всюду, с ним время
в сравнении — зуд,
бормотание, шорох больничной палаты.

И теперь всемогущество зрения — нежность
его,
пусть зрачок омывает волна совершенным
накатом,
это значит, пробившись за контур, слилось
существо
с мнимо внешним и мнимо разъятым.

Такое «всемогущество зрения» — сила и всего человека; пресловутая проблема трагизма бытия — это проблема зрения: когда зрение становится знанием, когда обретается способность видеть из «вне-себя», тогда противоречие между бесконечным миром и конечным во времени самосознанием (проблема смерти то есть) снимается для «я».

Отмычка, конечно, — любовь, дарующая магическое зрение в единственном возможном постижении равносущности «я» и «ты» — и, по индукции, «я» и всего другого. «Непомерно» дающая — это важно. А «опыт горя», он тоже важен? Заменить опыт любви он, увы, не в состоянии, но может сделать его еще «непомернее». Как, например, в стихотворении «И от любви остается горстка...» — о том, как, разлюбленный, «бу-

дешь двуруким теплом двуногим / жить, согревая тьму». Или, напротив, любимый и любящий, но ревнующий «непомерно» (потому что к умершему сопернику), вызываешь: «Да будет муж твой / не мёртв, но мертв». Расправа с соперником, достойная поэта, — средствами поэзии: «Так в слове выколоты очи, / так в небе замер их свет двойной...!» Это из финала «Стихов одного цикла», кодирующих сюжеты жизни сильно деформированными коллизиями мифа о Мееде. Автор свои двенадцать песен любви и горя передоверяет голосам античной традиции: всем сторонам любовного треугольника он, видимо, намерен дать высказаться без оглядки на более привычную для современного человека комнатную температуру эмоций. Стилистика этого цикла, однако, не тяготеет к стилизации архаики, а современна типично по-гандельсмановски: осторожное прикосновение к грамматическим связям, еще на один вздох их ослабление, разрешение синтаксису ветвиться на ощупь, а слову — вспоминать о праслове. Легкий, нежный сдвиг канонов русской традиции приводит у него к речи вязкой, плотной, объемной. Рискованная затея переселения современных душ в древние тела оборачивается порой срывами голоса — прежде всего в пафос, пытающийся себя преодолеть темной речи. Но, может быть, «пострашнеем — и тогда постигнем» — например, очень темные «Две песни», редкий случай двухголосия в лирике.

В последнее время много сетуют, что, мол, о любви пишут редко теперь; я этого не замечала — как и того, что пишут, мол, неярко. Вот и «Долгота дня» в существенной доле, с самого начала, — книга любовной лирики, а о яркости ее, о насыщенности эмоционального и интеллектуального спектра судите хотя бы по неожиданной сентенции, чуть ли не перечеркивающей весь «опыт любви непомерно»: «О любви поют неверно, чувство — суть невелико, / потому что не безмерно и от правды далеко. / А безмерное бесстрастно. Как младенец. Над волной / замирают и не гаснут весла музыкой двойной»; по богатству интонационного диапазона, простирающегося от экстатического захлеба («так те разлепятя на локоть, / ступню, на локоть, на ступню, / теперь

взгляни, Безумный, сквозь стекло хоть — / ты сотворил их — значит, знаешь похоть — / на мертвую свою стряпню...») до аскетического выдавливания слов («Кто ты? Техник-смотритель. / Грузчик я, истопник, / тараканоморитель. / Крупно падает снег») и захватывающего массу оттенков в промежутке.

Юношеской аллюзией на дантовскую «любовь, что движет Солнце и светила», открывается «Долгота дня», на всем протяжении осуществляя обещанную автором «оголенность слова до весла». И если такая свобода слова, которая в стихе и есть поэзия, не непременно предполагает свободу печати, то свобода письма гарантирована, только «надо бумагу до дыр протереть, / чтобы и лист, как листва, / мог от избытка себя умереть, / свет излучив существа».

Лиля ПАНН.

Бостон (США).

*

СОЛОМОН ВОЛКОВ. Диалоги с Иосифом Бродским. М., «Независимая газета», 1998, 328 стр.

«Я один в России работаю с голоаса», — по праву может повторить знаменитую фразу С. Волков, много лет передоверяя хранение чужих соображений магнитофонной ленте. Благодаря технике мы получили новый литературный жанр — помесь интервью с биографией, рассказанной от первого лица. Поскольку накануне нового тысячелетия читатель, не желая больше обливаться слезами над вымыслом, обратил свой взор к продукции менее зыбкой, вроде документальной прозы, мемуаров, в крайнем случае к эссеистике, он, заручившись поддержкой героя книги, справедливо полагающего, что «просто бессмысленно открывать рот, чтобы сказать то, чего ты не думаешь», может счесть и ее документом. Но прав будет лишь наполовину. Нельзя недооценивать творческий метод «монтажа» у Волкова, выказавшего себя воистину великим комбинатором, его любовь к внутренней драматургии и подводным течениям. Читая вступительное слово человека с магнитофоном, заранее готовившего свои завязки и кульминации, недоумевай: неужели, если экспозиция, скажем, разговора о Цветаевой приходится на весну 1980 года, то идти

за развязкой пришлось осенью 1990-то? Десять лет, спрессованные в один разговор, превращают живую мысль в набор клише, эволюцию — в противоречивость, динамику — в статику. Герой из многомерного становится ходульным, а речь его — суррогатной и парадоксальной. И если «безумный беспорядок есть порядок», то «разумная» упорядоченность в данном случае выглядит насилием — или вымыслом.

Книга состоит из двенадцати глав. Названия по крайней мере трех (третья — «Аресты, психушки, суд»; четвертая — «Ссылка на Север»; шестая — «Преследования. Высылка на Запад») противоречат самой эстетике И. Бродского, главный принцип которой — не драматизировать, не шеголять страданием, не выставить себя жертвой и вообще не упоминать свой тюремный опыт.

На деле перед нами герой, не нуждающийся в нашем сочувствии; биография для него хоть и «последний бастион реализма», но ни черта не объясняет, а «вся эта забота поэта о своей биографии — моветон». Главная забота — чтобы читатель не соскучился, а биографии у Бродского хватает на семерых.

Повествование строится из баек и анекдотов и принимает вид авантюрного романа с поножовщиной в морге, попыткой угнать самолет, оглоушив летчика, с требованием звания майора и соответствующей зарплаты в ответ на предложение сотрудничать с органами. Такова внешняя фабула. Примечательно, что ни одно событие не нашло отражения в стихах, а то, о чем мы догадываемся, читая стихи, не обнаруживает себя в этом ёрническом рассказе: сокровенное обсуждаться не должно, о любви читай «Новые стансы к Августе». Частная жизнь обошла книгу стороной, предпочтя ей поэтические сборники. На фоне этого целомудренного умалчивания, прочитываемого как минус-прием, удивителен назойливый интерес Волкова к теоретизированию о любви однополый — тема, грешащая безвкусицей, а порой и бестактностью и притом оставляющая собеседника равнодушным. Вопреки подначкам интервьюера Бродский выводит разговор на высоту, где все прегрешения уравнины перед лицом общей участи; его способность взглянуть с точки зрения вечности задает диалогам метафизическое измерение

и уносит их от местных пикировок и пересудов. Процесс, тюрьма, ссылка, вынужденная эмиграция становятся биографией века вообще с описанным поэтом интерьером («Большой Дом... воплощает идею вещи в себе», «Кресты — чистый Пиранези»). Биография, рассказанная нейтральным голосом, с самоиронией и беспощадностью к себе.

Главы биографические чередуются с главами о любимых поэтах: М. Цветаевой, Р. Фросте, У.-Х. Одене, А. Ахматовой — о них, а значит, и о себе, поскольку «мы есть то, что мы любим». Творчество, пусть и чужое, вытесняет биографию, вернее, составляет ее внутренние силовые линии, ведь «у жизни просто меньше вариантов, чем у искусства, ибо материал последнего куда более гибок и неистощим. Нет ничего бездарней, чем рассматривать творчество как результат жизни, тех или иных обстоятельств. Поэт сочиняет из-за языка, а не из-за того, что „она ушла“».

Главный миф Бродского — об императивности языка, о его диктате над поэтом — объединяет упомянутых авторов, придавая их характеристикам черты автопортрета. Чтение их — обретение родственной души, обнаружение себя в другом. Еще одна попытка выстроить родословную заканчивается иерархией поэтических темпераментов, где в стан меланхоликов (самооценка) попадают Гораций, Баратынский и Мандельштам. Поэтому постулат: «В поэзии мы ищем мироощущения нам незнакомого» — хочется дополнить предположением, что — соглашаемся на созвучное. А вот высказывание: «Цель писателя — выразить мироощущение посредством языка, а вовсе не посредством сюжета» — как раз подтверждается неостребованностью в стихах богатой биографии.

Вообще речь говорящего поражает афористичностью и обилием формулировок, и хотя «интеллектуальная распушенность — когда ты не обращаешь внимания на детали, а стремишься к обобщению — присуща до известной степени всем, кто связан с литературой», наш поэт особенно склонен формулировать, а не растекаться мыслью по древу. Отсюда впечатление, что говорит он как пишет. Но впечатление это обманчиво. Его письмо с усложненным синтаксисом, извилистыми ходами мысли, худо-

жественной болтливостью и остроумными каламбурами, знакомое нам по книгам эссе, имеет мало общего с линейным, безоткатным движением его мысли в «Диалогах», венчающимся сильным высказыванием наподобие пули, попадающей в десятку. Боюсь, этим спрямлением мы опять-таки обязаны компиляторским талантам Волкова.

А формулировки действительно замечательные: «Тюрьма — недостаток пространства, возмещенный избытком времени», «Фрост... отжатым вариантом Эсхила», «Всякое творчество есть по сути своей молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всемогущего», «Оден просто результат того, что мы считаем нашей цивилизацией. По сути же он — последнее усилие ее одушевить», «„Петербургское” — это ясность мысли... и трезвость формы», «У поэта с тираном много общего». Последнее соображение, правда, противоречит другой излюбленной мысли автора, что «поэт — прирожденный демократ», но, видимо, нельзя требовать последовательности от книги, которая объединила под своей обложкой разговоры за восемнадцать лет. Есть среди них увлекательные, как, например, изложение Бродским личного мифа о воде и времени и о том, что время, эта «нейтральная субстанция», делает с человеком (глава XI, «Италия и другие путешествия»). Есть темы навязанные, а потому вялые, ненужные, пробуксовывающие, как околобалетная беседа, сильно занимающая Волкова и абсолютно чуждая и неприятная — поскольку вымогается этическая оценка — его собеседнику (глава XII, «Санкт-Петербург. Воспоминание о будущем»; глава VIII, «Жизнь в Нью-Йорке. Побег Александра Годунова»).

Будь поэт жив, он наверняка захотел бы что-то в этой книге изменить; но скорей всего при его жизни она вряд ли увидела бы свет...

Елена КАСАТКИНА.

*

СЕРГЕЙ ТОЛСТОЙ. Осужденный жить. Автобиографическая повесть. М., «Международная программа образования», 1998, 576 стр.

Читатели узнали имя Сергея Николаевича Толстого после публикации в

1992 году «Новым миром» второй части этой книги — «Отец». Теперь «автобиографическая повесть» открывает собрание сочинений прозаика, поэта, драматурга, эссеиста, литературоведа, переводчика, который прожил довольно долгую жизнь, много писал, но почти не мог печататься.

Увидев этот первый том и полистав его, я подумала: «Ну какой еще новый Толстой! А описание детства дворянского мальчика — разве не знаем мы все это по прекрасным образцам — трилогии „Детство. Отрочество. Юность” и „Детству Никиты”?» Но, начав читать, не могла оторваться, пораженная красотой и значительностью сочинения.

Потомок тверской ветви Толстых, во многом похожий на своих литературных предшественников, помещен волею судьбы в другое историческое время — XX век. Он «осужден жить», чтобы, страдая от потерь, одиночества, правдиво рассказать о многом, даже и не надеясь, что его кто-нибудь услышит. Задуманный тон книги поражает!

Сергей Толстой родился в год 80-летия Л. Н. Толстого и прожил, никогда не уезжая из России, шестьдесят девять лет. Три части — «Брат», «Отец», «Сестра» — вместили события и внутреннюю жизнь семьи с 1910 по 1924 год. В светлый мир счастливого детства, наполненный любовью друг к другу, разными занятиями, умственным и физическим каждодневным трудом, овеванный атмосферой наследственного подражания с ее традициями и праздниками, религиозной верой, врывается современная история: Первая мировая война, унесшая брата, потом революция и Гражданская война, в которых погибли родители и другие братья. Уцелевшему достаются тяжкая борьба за выживание, ощущение трагедии происходящего и воспоминания.

Гибнут не только люди, не только тихая семейственность бытия, — погибают семейные реликвии, рукописи начатых книг, произведения искусства, заброшенный сад...

В 60-е годы у Сергея Толстого появились такие строки: «Отчего потери, которые приходится рано или поздно переживать каждому человеку, раны души, которые обычно затягиваются и рубцуются, не зажили, не зарубцева-

лись и кровоточат всю жизнь? Почему, обреченный на столько лет страшного и холодного одиночества, я с десятилетнего возраста достался в жертву собственным воспоминаниям? Почему терзали они меня так неустанно на протяжении стольких десятков лет и, теперь уже ясно, не выпустят до самого конца...» Книга «Осужденный жить» создавалась в конце 40-х годов, после победы в Отечественной войне, и поведала не только историю души дворянского мальчика, отрока, юноши, но рассказала о его любви к России, верности ей, причастности к ее истории. Кстати сказать, род тверских Толстых не был титулованным, но зато у них в прошлом не было и «услуг», подобных той, какую оказал Петр Андреевич Толстой императору Петру I.

Мир русского поместья тесно прижат к миру крестьянскому. Память Сергея Толстого сохранила картины не противостояния их, а сердечности и понимания. Невольно вспоминаешь заключительные главы «Детства» Л. Н. Толстого: смерть матери и старушка Наталья Савишна, одна из всех по-христиански горящая о той, «кого она любила больше всего на свете». И как трогательно прописана автором XX века фигура крестьянки Аксиньи: она жалеет голодающих «господ»! И помнит сделанное ими добро. «Эта знает то, что ей знать нужно твердо, — говаривал отец, — такую не собьешь — ни при каких обстоятельствах не растеряется, цену себе знает и от своего не отступится...» Зловещим контрастом этому звучат строки, рассказывающие об отце и матери, идущих на расстрел («революционный» террор после покушения на Ленина):

«Они ушли после короткого препирательства, когда мама сказала, что непременно пойдет и хотя бы проведит его... Надо было спешить. Перекрестили и крепко поцеловали Веру, меня, Аксюшу, обнялись с тетушкой, которая заторопилась к себе, и вышли вместе... Щелкнула щеколда входной двери. Облака за окном снова стали темнеть и сгущаться, опять закапал мелкий, совсем осенний дождь...»

Прошел день, вечер... наступила ночь...

Они не вернулись.

Что это, если брать вместе? Идиллия, трагедия? Нет, жизнь, ее полная правда, рассказанная честным, до предела искренним мемуаристом.

И надо всем этим царит стихия прекрасной прозы, классического русского языка, вдохновенно созданных картин природы, восходов и закатов, весен, лет, осеней, зим...

Книгу завершает «Послесловие», отлично составленное Н. И. Толстой на основе дневниковых записей автора, писем, отрывков из стихотворений и поэм; затем дан содержательный очерк жизни и творчества С. Н. Толстого, а также подборка фотографий.

Труд (вернее бы сказать — подвиг) С. Н. Толстого выиграл конкурс на лучшие книги, проведенный мэрией к 850-летию Москвы. Мы увидим еще четыре или пять томов собрания сочинений, намеченных к выпуску издательством «Международная программа образования». Эту книгу — «Осужденный жить» — планируют переиздать, с новыми материалами, «Литературные памятники». Будем ждать!

Л. ОПУЛЬСКАЯ.

Б Е С Е Д Ы

«ПРОШЛОЕ НЕВОЗВРАТИМО»

С Никитой Алексеевичем Струве беседует писатель Вячеслав Репин

Никита Струве (род. в 1931) — известный парижский русист, культуролог, религиовед, исследователь творчества Осипа Мандельштама. Директор старейшего русского эмигрантского издательства «УМСА-press», главный редактор журнала «Вестник русского христианского движения» (Париж — Нью-Йорк — Москва).

Вячеслав Репин (род. в 1960) — прозаик, эмигрировал во Францию в 1985 году. Живет в Париже. В № 7 «Нового мира» за прошлый год была опубликована беседа В. Репина с епископом Вашингтонским и Сан-Францискским Василием (Родзянко).

— *Писатель, публицист, славист, видный представитель русской диаспоры, директор издательства — все это разные грани вашей деятельности, за которую в свое время в СССР вы снискали себе репутацию «врага номер один». За книги вашего издательства отправляли в лагеря... Одним словом, вы внесли немалый вклад в крушение коммунистического режима. Никто из нас в то время не знал, какой будет потом Россия. Не разочарованы ли вы результатом? Стоила ли игра свеч?*

— Называть меня «врагом номер один» — большое преувеличение. Врагом в смысле отрицателя советской системы и идеологии я, бесспорно, был. Только действительным ли? Каждый из нас что-то привнес в борьбу с большевизмом. Врагами Советского Союза нас считали и там, и здесь, во Франции, отчего нам приходилось иногда нелегко. В Россию я не ездил до девяностого года принципиально.

Что же касается свеч, игры, вопрос поставлен коренным образом неправильно. Коммунизм пал, просуществовав семьдесят лет, а как утопия еще и гораздо дольше. Он пал окончательно, и это событие мирового значения. То, что произошло в России, нельзя рассматривать изолированно от остального мира. Произошел исторический катаклизм, для некоторых означающий едва ли не конец истории. И всякого рода разочарования, а тем более ностальгические настроения по устоявшемуся ушедшему времени неуместны. Для многих из нас было очевидно, что после семидесятилетнего опыта коммунизма, причем мирового, с намерением покорить весь мир, России не удастся выйти сухой из воды. Из такого провала можно выбраться только с большим ущербом для себя и ценой огромных усилий, чему мы свидетели. Я не ждал наступления в России немедленного благоденствия, спокойного мирного жития. Кстати, житие все-таки сравнительно мирное. Могло быть и хуже. Ведь рухнул целый мир! А вместе с ним рухнули надежды немалой части человечества, даже если за последние десятилетия эти надежды несколько потускнели. Как бы то ни было, подведен итог двухвековой истории человечества, охватившей период с 1789 по 1989 год. Два века безумной утопии — утопии, унесшей в двадцатом веке десятки миллионов людских жизней. А об ущербе нравственном или духовном что и говорить...

— *Русская интеллигенция чувствует себя сегодня обманутой, разочарованной. Чем это, по-вашему, вызвано?*

— Вместе с Россией она оказалась в огромной яме наподобие той, которую так ярко изобразил Андрей Тарковский в своем знаменитом фильме «Андрей Рублев» — когда всем миром отливали колокол, помните?.. Из этой ямы нужно выбираться — понять, каким образом найти настоящую глину, и т. д. Но если бы выбираться было просто — это означало бы, что прежняя система была не слишком

порочной. Огромной стране вдруг нужно перескочить практически из самоизоляции — в мир, который все это время не стоял на месте, и встать вровень с этим миром. Это неимоверно трудно. Безусловно, каким-то категориям населения до перестройки жилось материально легче, чем теперь. Но я не уверен, что так было бы и сегодня, если бы коммунизм продолжал существовать: последние десять — двенадцать лет коммунистического режима экономика неуклонно деградировала. Отчего коммунизм пал?.. От своей дряхлости.

— *В отличие от многих русских вы имеете возможность смотреть на вещи более отстраненным взглядом, хотя бы потому, что живете вне России. Не думаете ли вы, что вместе с Советским Союзом, проигравшим «холодную войну», в чем-то потерпела поражение и сама Россия, ее идея?*

— Ударение мы всегда ставили на духовном, а не на внешней мощи — перед мощью СССР у нас никогда не было преклонения, — потому я не считаю, что потерпела поражение сама Россия. Когда я говорю «мы», я отождествляю себя с определенным социумом, с определенным островком культуры — русско-западной, если так можно выразиться, с православными парижскими кругами. У нас никогда не было иллюзий по поводу этой мощи. СССР был колоссом на глиняных ногах. И вообще, как можно поклоняться государственной мощи? Это идолопоклонство. Всякая мощь и всякая власть подозрительны, если они не опираются на правду и справедливость.

— *После войны среди эмиграции была вспышка патриотизма. Многие вернулись прямо в руки НКВД...*

— Кое-кто в эмиграции соблазнился победой СССР над Германией — больше в Европе, чем в Америке. В дальнейшем наше отрицательное отношение к успехам Советской России нас разделяло с другими движениями, более политизированными, как, например, течение солидаристов (НТС). Помню, как во время одного из наших православных съездов стало известно о запуске первого спутника Земли, осуществленном в Советском Союзе. Для присутствующих на съезде солидаристов это было очередной победой России. Нас это отнюдь не обрадовало. По нашим представлениям, техническое чудо, каковым являлся запуск в космос летательного аппарата, было достижением первверзного государства, способствующим распространению его влияния, следовательно, экспансии...

— *А если б спутник был запущен американцами, вы бы обрадовались?*

— Это был бы удар по советской мощи. И мы могли бы это только приветствовать. Нельзя забывать, что технический прогресс может оборачиваться дурными последствиями, когда изобретения попадают в недолжные руки.

— *За каждым таким достижением стоят судьбы и усилия конкретных людей. Выходит, что исходя из понимания, что ими правит первверзное государство, они должны были похоронить свой талант и заниматься пассивным саботажем?*

— Это вопрос зречести и совести каждого. Как вы помните, он очень остро поставлен в романе Солженицына «В круге первом».

— *Сегодня всем очевидно, что главные действующие лица мировой политики не заинтересованы в сильной, полноценной России. Да и «не может дюжина червей бесконечно изгрызть одно и то же яблоко... Если земной шар ограничен, то ограничены и его пространства и его ресурсы»¹ — чем меньше на них претендентов, тем больше достанется каждому при дележе.*

¹ Солженицын А. Письмо вождям Советского Союза. Париж, «УМСА-press», 1974, стр. 19.

— Возможно, но кого в этом стоит винить? Почему кто-то должен желать процветания стране, которая еще вчера исповедовала откровенную вражду ко всему внешнему миру? Но не все так просто. Несомненно, что благодаря провалу большевизма Соединенные Штаты стали единственной сверхдержавой. Несомненно, что и Россия — по вине того же большевизма — в конце концов стала второсортной державой по экономической, политической и военной мощи.

Заинтересованы ли Соединенные Штаты в слишком слабой России? Я не вполне в этом уверен. В наши дни процесс глобализации еще более обостряет взаимосвязь всех больших экономических единиц. Так, кризис, наблюдаемый в Японии, если он усугубится, может поставить в затруднительное положение и западные страны, включая Соединенные Штаты.

Перемены в России произошли большие. Нужно отдавать себе отчет, какая колоссальная задача встала перед страной. Ведь все производство, все, кроме военно-промышленного комплекса, устарело, и его необходимо полностью перестраивать. Оно должно быть теперь современным, рентабельным, конкурентоспособным.

То же и с сельским хозяйством. За семьдесят лет во всем мире оно претерпело огромные перемены. Во Франции, например, около шестидесяти процентов населения было занято в начале века в сельском хозяйстве, а теперь не наберется и пяти. И этот процесс неизбежен для всех стран. В СССР же он был страшно искажен: сначала всех погнали в города, затем оставшихся соединили в огромные колхозы. Самым нелепым образом был разрушен естественный уклад, динамика развития, самостоятельность. Деревня уже не первый год вымирает, молодежь из нее бежит..

В этом отношении я не согласен со слишком односторонне отрицательным анализом экономического положения, излагаемым в последней, недавно вышедшей в Москве книге Солженицына «Россия в обвале», — не согласен с тем, что во всех трудностях виноваты сегодняшние власти. Мне кажется, что это трудности прежде всего *структурного* порядка. Быть может, какие-нибудь харизматические, более жертвенные лидеры могли бы сделать лучше. Но откуда им взяться? Ведь перестройка произошла стихийно, лавинно, неподготовленно.

А кроме того, нужно учитывать, что еще ни у кого не было опыта перехода из всегосударственного экономического тоталитаризма к капиталистической системе управления. Капитализм — отстоявшаяся, апробированная форма, но способы перехода к нему в таком масштабе неведомы. Капитализм всюду нарастал постепенно, как это происходило в России до войны четырнадцатого года. Не будь этого семидесятилетнего зияния, Россия, несомненно, развилась бы в крупную мировую державу с мощной и действенной формой капиталистического управления.

— *И все же складывается впечатление, что победителям в «холодной войне» Россия выплачивает какую-то негласную контрибуцию.*

— Если говорить образно — возможно. Россия несомненно расплачивается за то, что произошло. Но она могла бы выйти и с гораздо большими потерями. По мне, она вышла достаточно сухой из воды. Крушение коммунизма, повторяю, могло быть куда более страшным.

— *С окончанием «холодной войны» завершилась эпоха противостояния, благодаря которому мир имел возможность поляризоваться. Теперь все смешалось. Враг, если он и существует, стал невидимым или оказался совсем не тем, каким мы его мнили. Не сидит ли он в нас самих, в недрах нашей психологии или даже культуры? Где этот враг? Кто он?*

— Согласен, бессмысленно искать внешних врагов. У человечества есть один исконный и общий враг — зло, злое хотение, несовершенство. И с ним можно и нужно бороться, начиная с себя самого и кончая своей страной, — бороться со всеми злыми волями, со всеми эгоизмами, которые могут вести к гипертрофии власти, к казнокрадству и т. д. Вообще говоря, понятие «враг» — это в некотором

роде изобретение советской власти, она создала вокруг этого понятия целую мифологию. Считаясь «врагами» советской власти, мы, например те, кто считал эту власть в корне порочной, не отрицали того, что под ее крылом могли укрыться и некоторые положительные явления, находящие себе выражение пусть не в среде власти предрежащих, но в народе, например в войну: жертвы, принесенные русским народом, совершались под предводительством именно этой самой перверзной власти — кстати, укравшей у народа его победу.

Вынашиваемое в наши дни понятие «враг» — это самокомпенсация. И с ним можно столкнуться на каждом шагу, даже в православных кругах. По привычке «врага» ищут на Западе. Запад остается исчадием всех зол — от него идет якобы одно растение. Ищут «врага» и где-то внутри, выращивают его на голом месте. В некоторых случаях для этого, вероятно, есть основания. Но я не берусь наотмашь судить всех молодых руководителей России, выступавших со всякими программами и завалившими их. Еще нужно доказать, что ошибки допущены ими со злыми намерениями или что это действительно были ошибки, а не издержки неизбежно несовершенных действий. Опять-таки, никто не знал, как выходить из положения.

— Упомянутый вами А. Тарковский нарисовал в «Рублеве» довольно неприглядную картину жизни русского народа: духовная чистота, жертвенность — и в то же время междоусобица впережку с коварством и жестокостью... Может быть, все это уходит к корням русской культуры? Может быть, предпосылки для появления «империи зла» существовали в самой нашей истории?

— Я бы поостерегся таких выводов. Конечно, не так просто объяснить, почему произошла русская революция — и не как какой-то кратковременный вихрь, а как длительный смертоносный процесс, — почему страна сама себя истребила. Такого опыта, опять-таки, ни у кого не было, по крайней мере ни в одной европейской стране — там достаточно быстро избавились от революционного вируса. Опыт был повторен в Китае, в Камбодже, в других коммунистических странах. Я всегда считал это естественным развитием идеологии, которая в 1789 году была в зачатке, в России же она разбушевалась. Вполне возможно, сам факт, что это произошло именно в России и в таких абсолютных формах — в формах абсолютного зла, — можно объяснить максимализмом русского духа, его подспудной мечтой закончить историю. В этом смысле да, семнадцатый год — следствие русской истории. Как сказал Блэз Паскаль: «Qui veut faire l'ange fait la bete»². Но есть и тайна истории. Почему опыт изживания человеческой безбожной утопии пришелся на Россию — остается загадкой.

— После всего, что произошло в России в этом веке, с трудом верится, что у нее хватит терпения заниматься однообразным созиданием, которому предаются развитые западные страны.

— У нас этот вопрос ставился часто: не противопоставлено ли России благополучие? Смею верить, что нет. Россия истосковалась по благополучию, которое так жестоко ее миновало. Хотя, если взглянуть на вещи с исторической точки зрения, это может вызывать некоторые сомнения: к четырнадцатому году Россия дошла в своем развитии до определенной степени благополучия — и вдруг все сорвалось. И тем не менее я из этого не выводил бы общего правила. Дело не только в благополучии. Созидательный, мирный труд, ответственность за него — это то, чем живут все люди на земле, и этого русский человек в XX веке был лишен. Русский человек по своей природе мирный. Ему несвойственно стремление к экспансии, к авантюре. Если история Российской империи и свидетельствует об обратном — России постоянно приходилось воевать не на своей территории, — то это решалось не в душе русского человека, а на государственном уровне и было до некоторой степени неизбежно для вхождения России в Европу. Никчемные походы, бес-

² Кто хочет играть в ангела, оборачивается зверем (франц.).

спорно, были. Но нельзя сказать, что имперская Россия лезла в конфликты. Англия, Франция и другие проводили куда более агрессивную военную политику далеко от своих границ. Границы же Российской империи, сложившиеся довольно естественным образом, не были следствием завоевательной политики, за исключением, пожалуй, Кавказа. Тут я вполне согласен с размышлениями Солженицына в той же последней его книге. В национальной политике все было не так просто. Ведь Кавказ был, да и остается эпицентром постоянной конфронтации между христианским и мусульманским миром, причем у самых границ России...

— *Когда покидаешь пределы России в западном направлении, поражаешься тому, насколько мир вне границ России выглядит благополучнее. Это удивляет даже в странах приграничной Восточной Европы. При попытке найти этому объяснение в людях, живущих в западноевропейских странах, убеждаешься в том, что отличия не так уж и велики, что они не «умнее» нас. Неужто Всевышнему угодно благоволить одним и оставить на произвол судьбы других?*

— Объяснение простое: Россия была под коммунизмом семьдесят лет. А страны, включенные в коммунистический блок позднее, до некоторой степени уже полинявший, прожили под ним только тридцать лет, они знали всего лишь семь лет сталинизма, а не тридцать, как Россия. Делать же из этого вывод, что Россия впадала в «высшую» немилость, — опрометчиво. В бывшей России многие процессы обновления, болезненно протекавшие у других, проходили достаточно мягко. Вспомните, в каких тяжелых условиях протекала индустриализация в Англии. Собственными глазами мне приходилось в детстве и юности наблюдать за жизнью французского крестьянства. Оно жило очень скудно, грязно. Русское крестьянство в свое время жило куда достойней и чище, хотя бы потому, что у него были бани, которых не было во французской деревне. Теперь все изменилось. Французский крестьянин-предприниматель живет как горожанин. В нашу эпоху носить воду на коромысле, жить без водопровода, как это еще широко распространено в российской деревне, — немисливо, это дикость.

— *Западный христианин не видит ничего предосудительного в том, чтобы устроить свою земную жизнь с максимальными удобствами. Православие же обычно замыкалось на аскетической идее...*

— В этом есть доля истины. Но и тут все сложнее. Русские старообрядцы, например, экономически очень преуспевали. В православии, в русской культуре есть, конечно, неотмирность, которая в тех или иных случаях может обернуться презрением к миру. Но одно дело — неотмирность, а другое дело — недостаточная забота о мире. Сложная диалектика. Мы призваны возделывать этот мир, быть в мире, но не от мира. Это стержень Христова евангельского учения. Живя в мире и возделывая этот мир, мы не должны быть его рабами, поскольку есть мир иной — Царство Небесное, в которое мы идем. В этом смысле протестантизм стал слишком мирским. В то время как православие порой становилось слишком неотмирным. Достигнуть в этом вопросе равновесия нелегко. В мире восторжествовали, и в потоке глобализации сегодня распространяются все шире, идеи и обычаи англо-американского, протестантского направления, более приспособленные к этому миру.

— *Какая идея, на ваш взгляд, превалирует сегодня в России?*

— Современное русское общество лишено цельности, здесь взаимодействуют различные элементы: сохранившиеся крупницы дореволюционной России, реставрационные, чисто советские и чисто русские, сидящие в самом характере русского человека, довольно противоречивом, а кроме того, элементы европеизации, американизации.

Духовный организм России ослаблен, лишен иммунитета и податлив на облазы. Россия была в буквальном смысле обескровлена. Поэтому я не думаю, что

сейчас можно говорить в категориях «идей». Какая сейчас может быть идея? А. И. Солженицын выдвинул совершенно правильную идею-лозунг — идею выживания, или сбережения, народа. Ведь вопрос сегодня стоит скорее в выживании и в сбережении, а не в идее. Необходимо восстанавливать исторические силы, одновременно проектируя их вперед и сообразуя с тем, что история не ждет. Если мы опять отгородимся от Запада, а такие попытки в русской истории делались, и большевизм хотя и был занесен с Запада, но проклял его, — то мы окажемся на обочине истории. Все поползновения, о которых мне доводилось слышать, выдвинуть русскую идею сейчас — так, чтобы ее можно было противопоставить западной культуре, — кажутся мне чрезвычайно надуманными. Противостоять можно только жизненностью. Если страна будет жизненной, она сможет переработать то, что сейчас вливается в нее с Запада.

— Не кажется ли вам, глядя на вещи беспристрастно, что разрыв и противоборство между Западом и Россией имели провиденциальное значение, сыгравшее немало важную роль в развитии всей западнохристианской цивилизации и даже в сохранении Россией своей идентичности? Не являлся ли большевизм какой-то сложной, запутанной формой «русскости», которая незримо делала свою работу, выделяя Россию из общей массы, незримо отстаивала ее право на особое историческое развитие?

— Никак не могу с этим согласиться. Выхолостить из России ее нутро — это и было главной задачей большевизма. Он не мог довести начатого до конца. Но тем не менее, уничтожив лучших представителей всех классов России, он задержал ее развитие, и в этом смысле коммунизм волей-неволей подморозил Россию, сделал то, о чем так мечтал Леонтьев, боявшийся единообразия, всеобщего смещения и т. д. Но Леонтьев все же представлял себе это совсем по-другому: ему хотелось, чтобы Россию подморозили сочной, яркой, отличающейся от всех своей особой статью, начиная с бород, кафтанов и кончая православием. Но какую Россию подморозил большевизм? Полностью обескровленную, обесцвеченную.

— Одни верят, что Россия может вернуться к земскому управлению, к управлению снизу. Другие считают, что при ее богатстве и ресурсах, при здоровом управлении ей хватит лет десяти для полноценного подъема. Высказывались мнения о том, что достаточно дожидаться прихода нового поколения, не искалеченного идеологией, — и оно возьмет бразды правления в свои руки и заставит страну жить по-новому. Как вы думаете, по какому пути идет Россия в настоящее время? По западному? По какому-то своему, особому? Или она топчется на месте?

— Топтаться на месте не приходится. Поскольку теперь нет прежней отъединенности от западного мира, которая была совершенно аномальна, то у России нет другого пути, кроме как нагонять Запад. Здесь нет тридцати пяти путей. Для всего мира путь один — модернизация экономики, ее действенность, ее конкурентоспособность. Сегодня даже так называемый мягкий социализм разуверился в государственной собственности. Во Франции, когда к власти пришел социалист Миттеран с обличениями мультинациональных частных компаний, он начал их национализировать, но уже через год это привело к экономическому тупику, и теперь тем же социалистам приходится все обратно приватизировать. Приватизация признана рентабельной по одной простой причине — кто-то берет на себя настоящую ответственность. Когда ответственность берет на себя государство, это непременно превращается в администрирование, в расхлябанность, в казарму.

Что касается России, то здесь стояла и стоит совершенно невиданная проблема: как эффективно передать собственность, целиком принадлежавшую государству, да к тому же бывшую еще и нерентабельной, в частные руки? Где уж России придумывать новые формы, когда она находится под обломками рухнувшего, хотя так и не достроенного здания?

— Горько чувствовать себя приговоренным жить воплоти, посвящая себя разгребанию мусора и обломков.

— Почему же вполсили?.. Всякое оздоровление не есть малое дело. Положение нужно сравнивать с реальным выздоровлением после тяжелой болезни, которая угрожала жизни.

— *Верите ли вы в плюрализм как в принцип, на который должно опираться современное общественное устройство?*

— Эта постановка вопроса мне непонятна. Плюрализм означает допущение, что другой человек думает иначе, чем вы. Это самое прямое уважение к другому. Есть один термин, который вы до сих пор ни разу не употребили, — свобода. Это характерно — ее до сих пор в России недооценивают. Человек создан Господом Богом свободным. И плюрализм — это не доктрина, а что-то естественное. Свобода, естественно, порождает различие во мнениях, это необходимое условие бытия. Все остальное является посягательством на человеческую свободу. Но это не значит, разумеется, что все мнения равнозначны.

— *В вопросе о плюрализме демократическое общество не допускает двух мнений. И здесь явно кроется предел провозглашаемых им свобод. Стоит ли, в таком случае, принимать плюрализм за образец?*

— Опасность будущего совсем не в плюрализме, а как раз в единообразии информации, в единстве воззрения через образы, подаваемые низкой глобализованной культурой. Такая глобализованная субкультура может стать тираничной. Но это опасность общечеловеческая.

— *Сегодня в мире наблюдается упадок интереса к русской культуре, к славистике; русские кафедры сокращают штаты, некоторые закрываются вовсе. Удивительный парадокс! Ведь именно сегодня, казалось бы, есть все необходимые условия для плодотворного возделывания этой нивы. Чем вы это объясните?*

— Здесь сливаются воедино две причины. Первая связана с нарастающей глобализацией и распространением одного языка, необходимого для всякого рода деятельности, — английского. Когда-то люди мечтали создать эсперанто. Это оказалось наивной мечтой. Сегодня английский язык и стал этим мировым эсперанто. Сейчас все языки, кроме испанского, который еще кое-где на планете соперничает с английским, сокращаются в употреблении. Даже немецкий, что совершенно парадоксально, ведь Германия — ведущая страна в Европе. Печально, но факт: глобализация неразрывно связана с единообразием. Случилось то, чего так страшился Леонтьев. Вторая же причина заключается в том, что одним Советская Россия импонировала своим могуществом, а других привлекала своим вызовом Западу. Теперь нет ни того, ни другого.

— *Может быть, мы сами повинны в том, что мир теряет к нам интерес?*

— Конечно. И это опять-таки следствие того, что Россия сейчас никому ничем не импонирует. В этом мире все, к сожалению, уважают силу. Сегодня Россия страна не сильная, а с другой стороны, многих она своим коммунизмом обманула — тех, кто в него верил. Таких людей в мире немало, и они не могут ей этого простить.

— *Печатная продукция издательства «УМСА-press» во Франции расходуется сегодня с трудом. В России, где в наши дни издается все, что только можно себе вообразить, вашим изданиям тоже непросто найти широкого читателя. Деятельность, которой вы посвятили себя, поставлена под вопрос. Не оказались ли вы и заодно с вами издательство на парижской улице Святой Женевьевы у разбитого корыта?*

— Нет, потому что разбитое корыто подразумевало бы провал наших идей, нашей деятельности, посвященной служению русской духовной культуре. Теперь но-

вые условия. Эмиграция больше не играет исключительной роли в этой области. Нужно помнить, что книгоиздательство никогда не было в эмиграции рентабельным делом. В тридцатых годах Осоргин говорил, что книга, изданная вне России, расходуется не больше чем в трехстах экземпляров. Совместными усилиями — благодаря правительству Москвы, Фонду Солженицына — нам удалось создать в Москве Библиотеку-фонд Русского Зарубежья и издательство «Русский путь», в которое мы влились и с которым сотрудничаем. Географически центр тяжести теперь перенесен в Россию, что естественно. Но мы считаем необходимым сохранить во Франции центр русской книги, который является живым свидетельством того, что было сделано русской эмиграцией, точкой отсчета и точкой опоры. В России все до некоторой степени еще зыбко, не столько в материальном смысле, сколько в смысле внутреннего наполнения.

— В одной из своих статей вы справедливо заметили, что появление русской диаспоры было providенциальным. Тогда providенциальным является и утрата эмиграцией своей исторической роли. Какие пути Провидение изберет теперь?

— Одно с другим связано. Русская эмиграция — первая, вторая и до некоторой степени третья — имела своей миссией не только сохранить, но и творить русскую культуру, свидетельствовать о свободе. Эту миссию она выполнила и продолжает играть свою роль, вливаясь в отечественную культуру самой России. Мы по-прежнему издаем во Франции журнал — «Вестник РХД», хотя тиражируется он в Москве, да и девять десятых авторов, выступающих на его страницах, живут в России. Но и раньше, начиная с шестидесятых годов, и «Вестник», и «УМСА-press» публиковали произведения, в основном написанные в России. Талантливых писателей и публицистов, живущих на Западе и пишущих на приличном русском языке, уже тогда можно было пересчитать по пальцам одной руки, а сегодня эмиграции как таковой больше нет и не должно быть — для нее нет причин.

— Сейчас от безусловного преклонения перед эмигрантской культурой кое-кто в России переходит к осторожному в отношении нее скептицизму...

— Тут есть своя правда. В сфере литературного творчества эмиграция не могла поспеть за Россией. В эмиграции литература не могла иметь той силы, которая отличала ее в России, за исключением, может быть, Цветаевой, кстати, в Россию вернувшейся. Хлебнув невероятных бед, литература в России достигла таких высот, которые в эмиграции были недостижимы, — я имею в виду и Ахматову, и Пастернака, и Булгакова, и Мандельштама, а в дальнейшем Солженицына и других. Что же касается русской религиозной мысли, богословия, то именно в эмиграции они расцвели, в России все было прервано. На Западе и философия, и богословие развивались свободно и достигли небывалых высот. Для России это остается *кладом*. И если она пройдет мимо этого клада, то это будет большим уроном для ее духовного будущего.

— Окунаясь сегодня в среду русской эмиграции, кажется, что она самостоятельный организм, который научился обходиться без России и даже в ней не нуждается...

— Существуют чисто биологические законы. Аналогично тому, как советская система должна была рухнуть на третьем поколении — это было предсказано Розановым в 1912 году: он утверждал, что революция в России восторжествует, но продержится всего три поколения, потому что она не способна ничего построить, — эмиграция тоже должна была выдохнуться на третьем поколении. За эти три поколения она себя исчерпала — биологически, интеллектуально и духовно. Это, разумеется, не значит, что от нее ничего не остается. Эмиграцией были созданы большие ценности, их восприятию, их сбережению некоторые потомки эмигрантов посвящают себя и по сей день.

— *Говорят, что у вас дар предсказателя. Каков ваш прогноз — с точки зрения геополитической — на будущее России в контексте нового распределения сил на евразийском континенте в течение... скажем, ближайших пятидесяти лет?*

— Едва ли я обладаю таким даром — это опять же преувеличение. Правда, в 1977 году, к шестидесятилетию русской революции, я написал передовицу, в которой говорил о том, что советскому режиму отведено не более чем десять лет, что и сбылось. Но данное предвидение основывалось на объективных наблюдениях за дряхлеющей системой — без полной, конечно, уверенности, но с большой степенью вероятности это можно было вывести анализом. Что касается прогнозов, то мне кажется, что лет через пятнадцать — двадцать не избежать глобальной конфронтации между мусульманским миром и былым христианским; сейчас она идет подспудно. В этом конфликте Россия примкнет, разумеется, к христианскому миру.

— *Опять в виде буфера?*

— Вполне может быть, в силу ее географической принадлежности к Евразии. Все это, конечно, при условии, что мусульманский мир сумеет воспротивиться секуляризации и модернизации, в которую он втянут сейчас процессом мировой глобализации, заставляющей его адаптироваться к миру внешнему при сохранении некоторых своих особенностей. Кроме ислама существует и фактор дальневосточный — Китай. Но роль этого фактора остается довольно загадочной, трудно предсказуемой. Панмонголизм, который так страшил Вл. Соловьева, можно назвать сегодня несостоявшимся течением этого века. Пока же мы свидетели внутреннего конфликта, который сотрясает и мусульманский мир. Он развивается в Алжире, в Афганистане, в Таджикистане. Он чувствуется на Кавказе, который всегда представлял собой сложную мозаику. Там Россия уже сталкивается с этой проблемой. Тут не исключена одна из тех геополитических катастроф, что способны перекроить географию планеты. Весь вопрос в том, как это произойдет. Катастрофа, может быть, останется подспудной, поскольку глобальный вооруженный конфликт сегодня, кажется, невозможен. Техника сначала породила, а затем убила глобальные, межконтинентальные войны.

Будущее же России напрямую связано с тем, что будет с миром. Многое будет зависеть от того, к чему приведет ускоренное развитие технологий и как будет происходить глобализация. У России настолько своеобразная культура, что она, надеюсь, своего лица не потеряет, хотя сказать что-либо с уверенностью невозможно.

— *Но вы все же считаете, что Россия сольется в одно целое с Западом?*

— Что значит сольется? Западный мир разнообразен, единообразие во внешних формах еще не есть единообразие внутреннее. Как бы ни было, лет через десять или двадцать, в зависимости от превратностей экономической жизни, Россия займет в Европе и Евразии едва ли не ведущее место — в этом я уверен.

Париж.
Июнь 1998.

Р. С. Вышепубликуемое интервью датировано июнем прошлого года. С тех пор — в связи с новым скачком цен, разорением среднего класса и т. п. — влияние коммунистов и в Думе и в Правительстве возросло. В связи с чем мы — уже от себя — решили спросить Н. А. Струве, не страшит ли его возможность социалистической реставрации в России.

Н. А. Струве:

— Кризис 17 августа в некотором смысле подтверждает мое ощущение, что до этого выход из коммунизма проходил все же менее болезненно, чем можно было предполагать.

Нынешний экономический кризис вызван многосторонними причинами, как внешними, так и внутренними: дальневосточный и южноамериканский кризисы, удешевление нефти; с внутренней стороны — неопытность реформаторов, их непонимание прагматизма западных стран, коррупция, ослабление центральной власти в связи с болезнью Президента и проч.

Кризис принесет новые страдания — особенно тем социальным категориям и регионам, которые и без того уже обездолены. Однако возвращение во власть коммунистов (не коммунизма — он повержен окончательно), по-моему, маловероятно. Хотя ведь в некоторых бывших соцстранах, более благополучных, они на время и усилились. Маловероятно по той простой причине, что они смотрят в прошлое, а прошлое невозвратимо.

За последние десять лет Россия изменила свой облик — это уже совсем другая страна.

Выигрывают те, кто не оборачивается назад, а зорко смотрит в будущее.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «НОВОГО МИРА»!

Наш индекс 70636 в Объединенном каталоге «Подписка-99» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы также можете оформить *льготную* подписку на вторую половину 1999 года непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. *Особые льготы* предусмотрены для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, а также для ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь же можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:
германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);
акционерное общество «МК-Периодика» («Международная книга») через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в ЗАО «МК-Периодика»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67;

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «New Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Валерий Брюсов. Неизданное и несобранное. Составление и комментарии В. Молодякова. М., «Ключ», «Книга и бизнес», 1998, 332 стр., 3000 экз.

Основную часть книги составили стихотворения, хранившиеся в архиве поэта или публиковавшиеся в начале века в разных изданиях и никогда впоследствии не включавшиеся в переиздания; а также наброски прозаических произведений. Впервые публикуются воспоминания о Брюсове Георгия Шенгели, Н. Н. Фатова, А. П. Остроумовой-Лебедевой и других.

Ёса Бусон. Стихи и проза. Перевод с японского, предисловие, комментарии Т. Соколовой-Делюсиной. СПб., «Гиперион», 1998, 253 стр., 3000 экз. (Серия «Японская классическая библиотека»).

Константин Вагинов. Стихотворения и поэмы. Подготовка текстов, составление, вступительная статья, примечания А. Герасимовой. Томск, «Водолей», 1998, 192 стр., 1000 экз.

Ван Янь-сю. Предания об услышанных молитвах (Гань ин чжуань). Предисловие, перевод с китайского, примечания М. Е. Ермакова. СПб., «Петербург. Востоковедение», 1998, 359 стр.

Поль Верлен. Романсы без слов. Составление Н. Г. Лютикова. СПб., «Терция», «Кристалл», 1998, 446 стр., 10 000 экз.

Всемирная эпиграмма. Антология. В 4-х томах. Том 4. Россия. Составитель Вл. Васильев. СПб., «Политехника», 1998, 893 стр., 3000 экз.

Б. Ф. Гарт. Степной найденыш. Калининград, «Янтарный сказ», 1998, 376 стр., 5000 экз.

Роман американского писателя, известного у нас «Калифорнийскими рассказами», Френсиса Брет Гарта (Брет Гарта; 1836 — 1902) вышел в серии «Зарубежный классический роман».

Борис Екимов. Избранное. Том 2. Волгоград, Комитет по печати и информации, 1998, 624 стр., 1000 экз.

Двухтомник (см. «Книжную полку» в № 1 за этот год), составленный автором из рассказов», написанных и опубликованных им до 1990 года.

Жан Жене. Чудо о розе. Роман. Смертник. Поэма. Перевод с французского А. Смирновой. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 301 стр., 6000 экз.

Михаил Кузмин. Дневник 1934 года. Под редакцией, со вступительной статьей и примечаниями Глеба Морева. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1998, 414 стр., 3000 экз.

Записи с 16 мая по конец декабря 1934 года — своеобразное сочетание дневника как литературного жанра с ежедневными личными записями. Публикуется впервые по машинописной копии, оригинал утрачен (возможно, был конфискован при аресте хранителя рукописей художника Ю. И. Юркуна в 1938 году). В приложении — мемуарные очерки О. Н. Гильдебрант «М. А. Кузмин», «О Юрочке» и письмо Кузмина к Ю. И. Юркуну от 13 февраля 1946 года. Кроме архивных фотографий 20 — 30-х годов Кузмина и его окружения в книге широко представлены рисунки Ю. И. Юркуна.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

И. Меттер. Пятый угол. Повесть. СПб., «Журнал „Нева“», 1998, 174 стр., 1000 экз.

Адам Мицкевич. Пан Тадеуш, или Последний наезд на Литве. Шляхетская история 1811 — 1812 гг. В 12-ти книгах стихами. Перевод с польского, послесловие, комментарий С. Свяцкой. СПб., «Всемирное слово», 1998, 382 стр., 5000 экз.

Булат Окуджав. Избранные стихи и песни. Составитель А. В. Сазонов. М., 1998, 64 стр., формат 50×70 мм.

Олег Павлов. Степная книга. Повествование в рассказах. СПб., «Лимбус Пресс», 1998, 159 стр., 2000 экз.

Вера Павлова. Второй язык. Три книги стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 1998, 63 стр., 3000 экз.

Жюль Ренар. Дневник. Перевод с французского Н. Жарковой, Б. Песиса. Под редакцией Н. Н. Глушенковой. Калининград, «Янтарный сказ», 1998, 479 стр., 5000 экз.

Николай Рубцов. Избранное. Составитель А. Ф. Заиванский. СПб., «Диамант», 1998, 416 стр., 10 000 экз.

А. Тиняков (Одинокий). Стихотворения. Вступительная статья, комментарии Н. А. Богомолова. Томск, «Водолей», 1998, 352 стр., 1000 экз.

Ф. С. Фицджеральд. Собрание сочинений. В 2-х томах. М., «Вече», «Бета-Сервис», 1998. Том 1. Великий Гэтсби. Ночь нежна. 511 стр. Том 2. По эту сторону рая. Последний магнат. Новеллы. 511 стр.



Е. И. Анненкова. Аксаковы. СПб., «Наука», 1998, 366 стр., 1050 экз.

Библия: литературные и лингвистические исследования. Выпуск 1. Ответственные редакторы С. В. Лёзов, С. В. Тищенко. М., РГГУ, 1998, 308 стр.

Н. А. Варенцов. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. А. Любартовича и Е. М. Юхименко. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 848 стр.

Воспоминания потомственного почетного гражданина Москвы, купца и промышленника Николая Александровича Варенцова (1862 — 1947), охватывающие деловую, общественную и культурную жизнь России со второй половины XIX века по 1905 год. Написанные в 30-е годы мемуары хранились в семейном архиве Варенцовых (ныне — в архиве Государственного Исторического музея). Публикуются впервые.

Эмма Герштейн. Мемуары. СПб., «ИНАПРЕСС», 1998, 528 стр., 6000 экз.

Я. Э. Голосовкер. Засекреченный секрет. Философская проза. Томск, «Водолей», 1998, 224 стр., 1000 экз.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Олег Даль. Дневники. Письма. Воспоминания. Составление, комментарии Н. Галаджевой, Е. Даль. Под редакцией Б. Поюровского. М., «Центрполиграф», 1998, 455 стр., 10 000 экз.

Галина Махрова. Запретные краски эпохи. Наброски к портретам друзей-художников. 1960 — 1980. СПб., Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1998, 271 стр., 1500 экз.

Книга коротких очерков о более чем ста современных художниках и галерейщиках, собиравших русское неофициальное искусство в 60 — 70 — 80-х годах. Каждый очерк сопровождается фотографией художника и репродукцией одной или нескольких его работ. Автор книги, гражданка Франции, художник Галина Махрова, вместе со своим мужем, торговым атташе при французском посольстве, в разные годы жила в Москве, в круг ее друзей и знакомых входил «цвет» русского официального (но не официозного) и «неофициального» искусства России — от Гончаровой, Ларионова, Тышлера до знаменитых сегодня Шемякина, Манухина, Рабина и множества, к сожалению, до сих пор малоизвестных, но замечательных художников «эпохи застоя».

Дмитрий Мережковский. Испанские мистики. Святая Тереза Авильская. Святой Иоанн Креста. В приложении: Маленькая Тереза. Редакция, вступительная статья, предисловие Т. Пахмусс. Томск, «Водолей», Издание А. Сотникова, 1998, 288 стр., 1000 экз.

Дмитрий Мережковский. Тайна русской революции. Опыт социальной демонологии. Предисловие и комментарии А. Н. Богословского. М., «Русский путь», 1998, 144 стр., 1000 экз.

Литературно-философская эссеистская книга, одна из последних работ Мережковского, посвященная «развитию основной интуиции его о „русской беде как части беды всемирной“... Пытаясь определить генезис смертоносных идей, парализовавших Россию в XX столетии, Мережковский обращается к наследию великой русской литературы... Предвестие великой катастрофы временами туманило ясное сознание Пушкина, вещей тревогой отозвалось в творчестве Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Толстого и Достоевского...» — из предисловия Богословского.

Москва и «московский текст» русской культуры. Сборник статей. Ответственный редактор Г. С. Кнабе. М., РГГУ, 1998, 225 стр., 1000 экз.

В. В. Мусатов. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., РГГУ, 1998, 484 стр., 2000 экз.

Словарь языка К. Г. Паустовского. В 8-ми томах. Том 1. А — Б — В. 4741 слово. Составление Л. В. Судавичене. М., Издательство Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского, 1998, 335 стр., 1000 экз.

С. Л. Франк. Свет во тьме. Опыт христианской логики и социальной философии. М., «Факториал», 1998, 255 стр., 2000 экз.

М. Хайдеггер. Прологомены к истории понятия времени. Томск, «Водолей», 1998, 383 стр., 2000 экз.

С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М., Издательство гуманитарной литературы, 1998, 352 стр., 3000 экз.

Адольф Шапиро. Как закрывался занавес. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 352 стр.

Мемуарная проза театрального режиссера, создателя одного из самых интересных театров СССР — рижского Молодежного театра, о жизни театра и о драматической истории закрытия, по сути, уничтожения театра в 1992 году новыми рижскими властями. Первоначально книга публиковалась в журнале «Дружба народов», 1997, № 9 — 10.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Вестник Литфонда», «Волга», «Время и мы», «Время МН»,
«День литературы», «Диалог», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда»,
«Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Коммерсант-Daily»,
«Кулиса НГ», «Литературная газета», «Литературные вести», «Москва»,
«Московские новости», «Наш современник», «НГ-Религии», «Нева»,
«Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая Юность»,
«Новый Журнал», «Общая газета», «Октябрь», «Русская мысль», «Труд»,
«Фигуры и лица»*

Валерия Абросимова. «...Кажется, что я спасал себя...». Уход Толстого из Ясной Поляны глазами Валентина Булгакова и Михаила Сухотина. — «Независимая газета», 1998, № 211, 12 ноября.

Пять писем 1911 — 1912 годов зятя Толстого М. С. Сухотина (1850 — 1914) к секретарю и помощнику Толстого В. Ф. Булгакову (1886 — 1966). «Насколько я мог понять из вашей книги, Л<ев> Н<иколаевич> представляется вам человеком, достигшим возможного для человека совершенства. Мне же представляется, что Л<ев> Н<иколаевич> был полон всевозможных человеческих слабостей и пороков и что жизнь свою он положил на борьбу с тем злом, которое с юных лет гнездилось в нем» (из письма от 18 апреля 1911 года).

Алексей Алехин. Границы поэтического текста. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 3.

О попытках расширить границы поэзии за счет внелитературных приемов.

Марк Альтшуллер. Диптих Пушкина и палинодия митрополита Филарета. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 212 (1998).

Некоторые аспекты хорошо известного поэтического диалога Пушкина и митрополита Филарета.

В этом же номере «Нового Журнала» напечатаны письма А. Скалдина Вячеславу Иванову 1909 — 1918 годов и письма Зинаиды Гиппиус секретарю Мережковских Владимиру Злобину 1922 — 1923 годов, а также статья Сергея Карпенко «„Руль“: зеркало кадетского Берлина» и другие интересные материалы.

Е. В. Анисимов. Народ у эшафота. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 11.

О публичных казнях в России и Европе.

Роман Арбитман. Уроки урки. — «Время МН», 1998, № 127, 2 декабря.

О том, что этический релятивизм разъедает традиционные основы благородного детективного жанра.

Дмитрий Бавильский. Карточный домик. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 3.

«Лев Рубинштейн — это Чехов сегодня. Подтекста больше, чем текста, пауз — чем слов».

Павел Белицкий. Поэзия навыка. Стихи в журнале «Октябрь». — «Независимая газета», 1998, № 215, 18 ноября.

«Есть все причины тому, чтобы поэзия в толстых журналах была скучной, и нет (по крайней мере мне так и не удалось отыскать) ни одной, чтобы было наоборот».

Александр Беляков. Творение небесного огня. Образ на Туринской Плащанице. — «НГ-Религии». Ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1998, № 10, ноябрь.

На знаменитой Плащанице «запечатлено не только тело Иисуса Христа, распятого и умершего на кресте, но и Его Тело по Воскресении», и это *воскресающее* «огненное тело» оставило *ожог* в виде нерукотворного образа на ткани. обстоятельная статья написана на основе доклада, прочитанного на III Международном конгрессе, посвященном столетию начала научного исследования Туринской Плащаницы (Турин, июнь 1998 года).

Джордж Блекер. Американские журналы и распад интеллектуалов. Перевод с английского Г. Дашевского. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. Критико-эссеистическое приложение к журналу «Новое литературное обозрение». 1998, № 2.

«К началу 90-х главную функцию (американского. — А. В.) интеллектуала — наблюдать и критиковать — взяли на себя журналисты, писавшие для высококачественных журналов и газет... Вторую функцию: выстраивать систему идей, или „убедительный набор принципов“, — переняли, в большой мере, академические журналы, полезность которых для общества в целом подорвана их узостью и элитарностью». Надежда на появление множества новых журналов в Интернете.

Тут же напечатана статья Олега Проскурина «Земная слава, или Русская литература в американской жизни» о том, что в книге Гарольда Блума «Западный канон» в списке «канонических» для западной культуры текстов русская литература XIX века представлена 14 именами, а XX века — 18 именами (*в три раза меньше*, чем французская).

Михаил Бобович. К северу от Вуоксы. — «Нева», Санкт-Петербург, 1998, № 10.

Минувшее: начало 50-х, студенты филфака ЛГУ в колхозе. Михаил Ананьевич Бобович (1935 — 1988), хороший невестребованный писатель, покончил с собой. Другие его прозаические тексты см. в журнале «Постскриптум» (1996, № 3; 1997, № 3).

Юрий Бондарев. Переворот (93-й год). Пьеса в четырех действиях. — «День литературы», 1998, № 11, 12; 1999, № 1.

Бондарев-драматург.

А если серьезно: проиграв открытую схватку с президентом в октябре 1993 года, сторонники Верховного Совета взяли реванш в пространстве литературы. За эти годы они напечатали множество стихотворений, рассказов, романов, пьес, мемуаров о кровавых злодеяниях оккупационного режима и взяли свое — не качеством, так количеством. Оккупационный режим и культурная элита отнеслись к этому удивительно равнодушно. А зря: в России историю пишут писатели.

Василь Быков. Художник в современном мире. — «Литературные вести». Газета Содружества союзов писателей, Союза писателей Москвы и независимой ассоциации писателей «Апрель». 1998, № 31, октябрь.

Выступление на 65-м конгрессе Международного ПЕН-центра, проходившего под девизом «Свобода и безразличие» (Хельсинки, сентябрь 1998 года). «Художник по природе своего дара — индивидуалист, но его творчество служит людям. Как говорили прежде — служит народу. Но как быть, если его служение, его истину и веру народ не приемлет?» Для известного белорусского прозаика вопрос не риторический.

Юрий Буйда. Сумма одиночества. — «Октябрь», 1998, № 11.

«Булавка», «Ивовые заросли», «Об одном слове» и другие... рассказы не рассказы, а так, «вне всякой формы... высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь» (эпиграф, взятый автором из Льва Толстого). Хорош «Третий» — неожиданное прочтение пушкинских «Египетских ночей».

Татьяна Вольтская. Невский старец. — «Фигуры и лица». Приложение к «Независимой газете», 1998, № 19, ноябрь.

Беседа с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. На вопрос «что делать?» академик ответил: «Изучать прошлое. Главным образом прошлое XX века: что такое фашизм, что такое нацизм, что такое коммунистическая партия, какой это был ужас... И, кроме того, нужно знать, какой расцвет культуры был в XIX веке». А на замечание, мол, получается, что XX век — упадок, невинский старец уверенно ответил: «Да».

Егор Гайдар. Проталкивание реформ. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4241, 4242, 4243.

Директор Института экономических проблем переходного периода пытается ответить на насущные вопросы в статьях: «Проблемы „особой стати“ России» (№ 4241), «Как реформы забуксовали» (№ 4242), «Взрыв бомбы, заложенной усилиями думского большинства» (№ 4243).

Дмитрий Галковский: я не пью, не курю и не люблю художественную литературу. — «Коммерсант-Daily», 1998, № 212, 13 ноября.

Виртуальная беседа обозревателя Михаила Новикова — через Интернет — с Дмитрием Галковским (www.samisdad.aha.ru). На просьбу назвать десять лучших романов XX века автор «Бесконечного тупика» скромно ответил: я, мол, столько не читал... Галковский — сторонник «узкой специализации» и «честных зрелищ». Цитата: «Из фильмов больше всего люблю фантастику со „спецэффектами“. Компьютерные игрушки уважаю... Сделал человек „Quake“ — жму руку за профессиональную работу. А когда выходит жеманный чечеточник и начинает „за духовность“ говорить...» Еще цитата: «...полуобразованные евреи, укравшие несколько мелодий у немецких композиторов XVIII века». Кто такие? Да битлы.

Десять гуманитариев в поисках университета. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1998, № 2.

Светлана Бойм, Виктор Живов, Андрей Зорин, Сергей Козлов, Драган Куюджич, Ольга Матич, Александр Носов, Сергей Панов, Константин Поливанов, Ирина Прохорова заинтересованно беседуют о судьбе (кризисе) гуманитарного образования в России. Один из участников «круглого стола», Сергей Панов выдвинул рабочую гипотезу: «...можно сохранить гуманитарное образование в старом понимании как некую ступень, на которую для желающих социализироваться ставится надстройка в виде профессии... (Сильное оживление в зале)».

Алексей Дидуров. Рыцарь без страха и упрека, или Принц на свинцовой горшине. — «Дружба народов», 1998, № 10.

Большая рыхлая статья — апология поэта Дмитрия Быкова. С выражениями типа «подвиг Быкова», догадками о «нынешней, злободневной форме гениальности» Быкова и проч. В ноябрьском номере «Дружбы народов» за 1998 год напечатаны взволнованные отклики Л. Аннинского, Сергея Федякина, Инны Кабыш, Николая Александрова и Александра Ревича на статью Дидурова. Общий итог: Дидуров погорячился.

См. подборку стихотворений Дмитрия Быкова в январском номере «Нового мира» за этот год.

Евгения Долгинова. Всем дефолтам назло. — «Литературная газета», 1998, № 47, 25 ноября.

Поразительная устойчивость частного образования в условиях кризиса. «Московские негосударственные школы (их сегодня около 250) потеряли в среднем не более

10 процентов своих учеников (а есть такие, которые вообще никого не потеряли) и закрываться — во всяком случае сегодня — не собираются».

Борис Екимов. Дочиста наши. Беседу вел Владимир Бондаренко. — «День литературы», 1998, № 11.

К 60-летию писателя. «Для меня совершенно очевидно: если бы сейчас закончились литературные журналы, закончился бы и я как литератор, закончились бы и десятки других лучших литераторов. Самых лучших». Тут же напечатаны два коротких рассказа Бориса Екимова «И услышим...» и «Жар-уголь».

Исаак Башевис Зингер. Фокусник из Люблина. Предисловие Иды Кантор. — «Диалог». Литературный альманах. Главный редактор Рада Полищук. Выпуск 2. Россия — Израиль. 1997/1998.

Пьеса Марка Розовского — для Театра «У Никитских ворот» — по одноименному роману нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера, писавшего на идиш и жившего в США.

Михаил Золотоносов. Бык у обломков дуба. — «Московские новости», 1998, № 47, 29 ноября — 6 декабря.

Под этим выразительным названием скрывается юбилейная статья о Солженицыне — *Вечном Критике и Разрушителе*.

К 80-летию писателя см. также статьи Олега Павлова «Солженицын — это Солженицын», Лады Лукьяновой «Духовный диалог. И. А. Ильин и А. И. Солженицын» и Владимира Юдина «Величие и трагедия русского народа. (О „Красном Колесе“ А. И. Солженицына)» в журнале «Москва» (1998, № 11).

См. также в газете «Коммерсантъ» (1998, № 228, 5 декабря) письмо А. И. Солженицына к кинорежиссеру О. Ю. Фокиной от 22 февраля 1998 года и письмо Н. Д. Солженицыной к председателю ВГТРК М. Е. Швыдкому от 30 ноября 1998 года в связи с трехсерийным документальным фильмом Олеси Фокиной «Избранник».

Владимир Иваницкий, Порча языка и невроз пуризма. — «Знание — сила», 1998, № 9 — 10.

О том, что люди склонны смешивать недовольство от «засорения» речи множеством непривычных слов с раздражением по поводу заимствования вещей и понятий, о том, что «чистота» языка есть состояние искусственное, а не естественное, о том, что никакой язык — в том числе английский — уже не справляется с новыми задачами, и о многом другом.

Андрей Илларионов. Катастрофа 17 августа стала триумфальным крахом социализма. — «Известия», 1998, № 213, 13 ноября.

Либеральные реформы не могли провалиться, поскольку не проводились. Социалистическое правительство Кириенко. Либеральная альтернатива (которую мы еще не пробовали) вековому социалистическому безумию.

Иоанн Павел II. «В ожидании новой весны христианства». — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1998, № 4241, 4242.

Некоторые из воскресных проповедей лета и осени 1996 года — о путях Запада и Востока, о христианстве и культуре, о мучениках XX века, о том, что католиков и православных неизмеримо большее объединяет, чем разъединяет.

Сергей Кара-Мурза. «Смена курса реформ»: что это такое? — «Наш современник», 1998, № 11-12.

В России 90-х годов происходит не *реставрация*, а новая *революция*, которую ведут неизвестные марксизму общественные силы, порожденные советским строем, — «союз номенклатуры с преступным миром, прикрытый свихнувшейся на правах человека интеллигенцией». В результате создаются особый, еще не имеющий определения социально-экономический уклад и особое государство, которых нет в учебниках. А также: *семья* и *рынок* как метафоры жизнеустройства.

Кшиштоф Кеслёвский. О себе. Литературная запись Дануты Сток. Перевод с польского и вступление Ирины Адельгейм. — «Иностранная литература», 1998, № 11, 12.

Незначительно сокращенный вариант книги знаменитого польского кинорежиссера Кшиштофа Кеслёвского (1941 — 1996), вышедшей в Англии по-английски в 1993 и в Польше по-польски в 1997 годах.

Александр Коган. Биль, зажегшаяся искусством. — «Дружба народов», 1998, № 11.

Слыханное ли дело: опытный критик преклонных лет одновременно напечатал в двух толстых литературных журналах (ноябрьский номер «Дружбы народов» и декабрь-

ский «Нового мира») две отчасти совпадающие рецензии на одну и ту же книгу (Домбровский Юрий. Меня убить хотели эти суки. М., 1997). Объяснения теперь уже бывшего автора «Нового мира» нашу редакцию не удовлетворили.

Юрий Кувалдин. Титулярный советник. Повесть. — «Время и мы». Международный журнал литературы и общественных проблем. Нью-Йорк — Москва — Иерусалим, № 137 (1997).

Бывшие однокурсники: безработный совок и «новый русский». Мораль: совок останется совком, хоть ты осыпь его деньгами. О прозе Юрия Кувалдина см. рецензию А. Василевского «Повести о жизни» («Новый мир», 1997, № 9).

Повесть «Титулярный советник» напечатана еще в «американском» номере журнала, более двадцати лет издававшегося за рубежом; ныне журнал «Время и мы» переехал в Россию.

Милан Кундера. Подлинность. Роман. Перевод с французского Ю. Стефанова. — «Иностранная литература», 1998, № 11.

Новый роман («L'identité», Paris, 1997) известного чешского писателя, живущего в Париже.

Вячеслав Куприянов. Бурич дикорастущий. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 3.

Воспоминания об известном верлибристе В. Буриче интереснее его текстов.

Джульетто Кьеза. Россия. Гибель литературы. Перевод с итальянского Э. Двин. Послесловие Вл. Огнева. — «Вестник Литфонда». Газета Международного Литературного фонда. 1998, № 1 (6), ноябрь.

По наблюдению известного журналиста, русские участники недавнего брюссельского форума писателей Европы говорили только о *прошлом*, «ни разу не попытавшись заглянуть в будущее и даже не задержав свое внимание на настоящем». Перепечатано с сокращениями из итальянской газеты «Стампа» (1998, 30 сентября).

Валерий Лебедев. Загробное правосудие. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 212 (1998).

Посмертно пересмотрено дело В. С. Абакумова, расстрелянного в 1954 году. Оказывается, этот министр госбезопасности (в 1946 — 1951 годах) виновен лишь в превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением. Одновременно отказано в посмертной реабилитации адмиралу Колчаку, поскольку контрразведка Колчака *расстреливала коммунистов*.

Владимир Максимов. «Литература там, где есть боль». Беседу вел Юрий Рябинин. — «День литературы», 1998, № 11.

Последняя, видимо, беседа Владимира Максимова в полном виде не публиковалась. О «Континенте» старом и новом. «Россия начинает рассасываться». А также: «Почему в колыбели европейской культуры народ смыкает с политической арены все партии и делится ровно пополам: половина голосует за фашистов, половина за коммунистов? Ровно пополам! Что случилось с итальянцами? Это какой-то вулканический процесс».

И. М. Метгер. Письма к А. А. Крону. Вступительная заметка М. Г. Качурина. Публикация К. М. Златковской. Примечания Н. Елисеева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 11.

Письма 1946 — 1983 годов из Ленинграда в Москву к прозаику и драматургу Александру Александровичу Крону (1909 — 1983) — фрагмент огромного эпистолярного наследия Израила Моисеевича Метгера (1909 — 1996). Советская литературная жизнь снаружи и с изнанки. Нравы, характеры. «Читал ли ты в „Лит. обозрении“ в одиннадцатом номере статью Золотусского о „Картине“ Гранина? Называется статья „Без риска“. Злая до мордобоя. Талантливая весьма. В пылу полного уничтожения Золотусский даже переходит на личность Гранина. Я давно не читал такого о знаменитых писателях, да еще занимающих посты. Не совсем ясно, почему журнал этот позволил себе напечатать статью? Скажем, о Шестинском никто бы не опубликовал подобное. Гранин, говорят, в бешенстве и ищет возможности, чтобы какой-нибудь солидный орган дал по скуле Золотусскому и „Лит. обозрению“. Очень возможно, что Даниле это удастся, — не такой он человек, чтобы ходить с плюхой на морде...» (из письма от 4 января 1982 года).

Татьяна Морозова. Саван как одноразовая одежда. — «Москва», 1998, № 10.

О стилизованной под Гоголя, но «вполне современной в своей безысходности» повести Антона Уткина «Свадьба за Бугом» («Новый мир», 1997, № 8) как явлении постмодернистской культуры, противоположность которой она на первый взгляд являет.

Елена Невзглядова. «Все зависит, как в музыке, только от пауз, акцентов...» — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 3.

Жизнь акцентного (рифмованного, в котором отсутствует метр) стиха: две линии — маяковская и кузминская — подвели к новому рождению акцентного стиха в наши дни. Николай Кононов. Олеся Николаева.

См. также статью Елены Невзглядовой «Литература и здоровье» («Звезда», 1998, № 11), представляющую собой расширенный текст доклада, прочитанного на миланской конференции, посвященной проблемам здоровья (май 1997 года). Беспощадная критика *нездоровой* поэзии Веры Павловой, удивление/сожаление по поводу доброжелательной рецензии Владимира Абашева в «Новом мире» (1998, № 7) на одну из поэтических книг этого автора.

Владимир Нилов. Образованец обустроивает Россию. К выходу книги А. Солженицына «Россия в отвале» (так! — А. В.). — «Наш современник», 1998, № 11-12.

С 1949 года живущий на Западе Лев Александрович Волин (литературный псевдоним — Владимир Нилов), аттестованный в редакционном предисловии как «золотое перо русской публицистики», обвиняет писателя в том, что тот... «не призвал Русь к топору».

О книге А. Солженицына «Россия в обвале» (М., «Русский путь», 1998) см. в статье Александра Архангельского (настоящий номер «Нового мира»).

Вл. Новиков. Невозможность истории? Poleмические заметки. — «Дружба народов», 1998, № 11.

Против исторического мифотворчества. В каких бы литературных жанрах оно ни проявлялось.

Владислав Отрошенко. Тайная история творений. — «Новая Юность», № 32 (1998, № 5).

Три эссе из будущей одноименной книги: «Последняя метаморфоза Овидия», «Сумасшествие мировой воли» (о Шопенгауэре), «Гоголь и признак точки». Эссе об Овидии печаталось уже дважды: «Постскриптум» (1996, № 3) и «Ясная Поляна» (1997, № 2).

Письма И. С. Шмелева. Предисловие, публикация и комментарии Марии Ангарской. — «Наш современник», 1998, № 11-12.

Письма 1914 — 1923 годов к издателю и общественному деятелю Н. С. Клецову-Ангарскому. «Это ужасно, это, скажу, преступно! Да, преступно. Это — обида, это — насмешка над писателем. Я не допускаю, чтобы мне знаки препинания поправляли, а тут целые слова. Дойдет до того, что будут выкидывать одни слова и фразы и заменять» (из письма И. С. Шмелева от 22 марта 1914 года). Ответы Н. С. Клецова-Ангарского не сохранились.

Григорий Померанц. Другой. — «Время MN», 1998, № 125, 30 ноября.

«Дискуссия, начатая г-ном Макашовым, имеет измерения, которые он вряд ли сознает...» Проблема диаспоры (не только еврейской). Языческое чувство неприязни к Другому. И, конечно, Мартин Бубер.

Михаил Пришвин. Дневник 1939 года. Июль — декабрь. Вступление, подготовка текста, публикация и комментарии Л. А. Рязановой. — «Октябрь», 1998, № 11.

«Нельзя более обозлить народ, как у нас обозлили под этот Новый год: десятки тысяч жен рабочих стояли в очереди, дожидаясь продуктов, которые, в свою очередь, дожидались повышенных цен. И все-таки от непрерывных передач по радио о счастливейшей в мире стране никого не взорвало, никто не разбил ни одного стекла, не взломал ни одного лая. И каждый по своему достатку терпеливо... устраивал себе праздник в своей норке» (из записи от 31 декабря 1939 года).

Начало дневника 1939 года см. в № 2 «Октябрь» за 1998 год.

Максим Соколов. Как выглядели дисциплина и порядок. — «Известия», 1998, № 214, 14 ноября.

Исследование Е. А. Осокиной «За фасадом „сталинского изобилия“. Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации, 1927 — 1941» («Российская политическая энциклопедия», 1998) как материал для размышлений о том, что при Иосифе Виссарионовиче, вопреки расхожим мнениям, строгость была, а вот пресловутого порядка все равно не было.

См. также статью Максима Соколова «Бдительность — цена свободы. Россия 1998 года стала слишком сильно напоминать Германию 1932-го» («Известия», 1998, № 213, 13 ноября) с интересным наблюдением, что призыв запретить коммунистов вызвал некоторые возражения и не вызвал недоумения (которое неизбежно вызвал бы призыв запретить «Яблоко» или ЛДПР).

См. в связи с этим статью Михаила Загулина, сопредседателя общегражданского движения «За демократию без коммунистов», «Кто в России демократ?» («Демократический выбор», 1998, № 45, 12 — 18 ноября) о том, что сегодня любой российский демократ, «будь он кадет, социал-демократ, либерал или кто-то еще», не может не быть антикоммунистом. «При этом мы имеем в виду не абстрактный антикоммунизм как борьбу только лишь с коммунистической идеей, а вполне конкретный, направленный против компартии, ее членов, их последователей и приспешников».

Александр Солженицын. Сродненные с чеховской «Степью». — «Труд», 1998, № 216, 21 ноября.

«В русской литературе почти не отражена южнорусская природа. Чехов возместил эту недостачу в полноте и яркости». Текст выступления А. Солженицына на открытии памятника Чехову в Москве (к 100-летию Художественного театра). См. также статью А. Солженицына «Окунаясь в Чехова» («Новый мир», 1998, № 11).

Виктор Топоров. Славный послед. Литературная жвачка Анатолия Наймана. — «Ex libris НГ», 1998, № 43, ноябрь.

Степень отвращения питерского критика к мемуарно-автобиографическим произведениям Анатолия Наймана «Славный конец бесславных поколений» (М., «Вагриус», 1998) и «Б. Б. и др.» («Новый мир», 1997, № 10) выражена в названии статьи.

См. также статью Анатолия Наймана «Дело тоталитаризма непобедимо, потому что оно вечно» («Октябрь», 1998, № 11; сокращенный вариант — «Общая газета», 1998, № 48, 3 — 9 декабря), написанную на основе доклада, прочитанного на иерусалимской конференции «Русская литература после падения коммунизма» (апрель 1998 года).

Семен Файбисович. Песни о главном. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1998, № 2.

Многочисленные теле- и прочие проекты о недавнем советском прошлом как несомненная фальсификация: «...всенародная ирония как способ преодоления тоталитарного давления и постоянного чувства собственной униженности не стала предметом ностальгирования, а таковыми стали артистические артикуляции системы, порождавшей эти и подобные чувства».

Сергей Федякин. Неразгаданный Газданов. — «Ex libris НГ», 1998, № 47, декабрь.

«...В газдановской прозе к гоголевской „бредоносной“ словесной магии прибавляется и чеховская сюжетная вседозволенность». К 95-летию писателя, на глазах превращаемого в младшего классика (прошли сразу две газдановские конференции — в Москве и Владикавказе).

См. также статью С. Федякина «Над давними страницами» («Независимая газета», 1998, № 228, 5 декабря), в которой он к 85-летию Сергея Залыгина разбирает его рассказ 70-х годов «Коровий век».

Василий Франк. Русский мальчик в Берлине. Перевод с английского Вадима Михайлина, Елены Зотовой. Предисловие Гасана Гусейнова, Ксении Павловой. — «Волга», Саратов, 1998, № 10.

Василий Семенович Франк (1920 — 1996) — младший сын философа Семена Людвиговича Франка, высланного из Советской России на печально знаменитом «философском пароходе». Мемуары охватывают период до октября 1937 года, когда семнадцатилетний автор оставил уже национал-социалистический Берлин для учебы в Англии.

Татьяна Чередниченко. Музыкальная статистика: lamento. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1998, № 2.

«В Москве сегодня — трудно поверить — 150 оркестров (против 10 коллективов в конце 80-х)...» Музыка и власть. Новая музыкальная номенклатура и критика. Культура «звезд» и высокая музыкальная традиция. Провинциальная столичность.

См. также культурологическую статью Т. Чередниченко «Радость (?) выбора (?)» («Новый мир», 1999, № 1).

Сергей Шаповал. Разговоры об Иване Тургеневе с точки зрения современности. В связи со 180-летием со дня рождения. — «Кулиса НГ», 1998, № 19, ноябрь.

Интервью с двумя современными прозаиками. Евгений Попов, автор римейка «Накануне накануне» (1993), считает, что у Тургенева «неестественный, сильно офрануженный русский язык». Одним из главных камней в фундаменте соцреализма видит Тургенева Владимир Сорокин, автор квазитургеневского «Романа» (1994). Оба согласны с тем, что этого классика в школе изучать надо, но иначе.

Т. С. Элиот. Кто такой классик? Предисловие и перевод с английского Игоря Шайтанова. — «Арион». Журнал поэзии. 1998, № 3.

Классик — это зрелость. Речь, произнесенная Т. С. Элиотом (1888 — 1965) в 1944 году в «Обществе Вергилия». Печатается с сокращениями.

Александр Эткинд. Господа рецензенты. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1998, № 2.

Автор известных книг «Эрос невозможного», «Содом и Психея», «Хлыст» учит своих критиков писать рецензии.



ПОПРАВКИ: в ноябрьском выпуске «Периодики» за прошлый год на стр. 250 следует читать: **Оксана Никитина.** Судьба чекиста (Лев Николаевич Захаров-Мейер). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1998, № 7; в январском выпуске «Периодики» за этот год на стр. 237 следует читать: **Николай Шмелев.** Curriculum vitae. — «Знамя», 1998, № 9.



ДАТА: 20 марта (1 апреля) исполняется 190 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809 — 1852).

Составитель **Андрей Василевский.**



Составители «Книжной полки» и «Периодики» будут благодарны провинциальным издательствам и редакциям провинциальных литературных журналов, если те найдут возможность присылать нам образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России на страницах «Нового мира».



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Март

20 лет назад — в № 3 за 1979 год напечатана повесть Владимира Тендрякова «Расплата».

30 лет назад — в № 3 за 1969 год напечатана повесть Василя Быкова «Круглянский мост».

35 лет назад — в № 3 за 1964 год напечатана пьеса В. Розова «В день свадьбы», повесть Виля Липатова «Чужой» и «Лирические эпиграммы» С. Маршака.

65 лет назад — в № 3 за 1934 год напечатаны «Переводы из грузинских поэтов» Бориса Пастернака.

SUMMARY



The issue begins with new belles-lettres prose by Nobel prize winner Alexander Solzhenitsyn, the short story in two parts «The New Villages of Zhelyabuga» and the «twenty-four-hours» narrative «Adlig Schwenkitten». We are also publishing the narratives «The Actress and the Militiaman» by Galina Shcherbakova and «The Observatory. Lessons of Clairvoyance» by Michail Belenky.

The poetry section presents new poems by Yury Ryashentsev, Olga Yermolayeva, Vladimir Leonovich, Yelena Ushakova and Larisa Miller.

In the section «Times and Morals» we are publishing the notes «In the Jungle of Prememory» by Igor Andreyev, a specialist in the culture of Africa.

The section «Far Nearness» presents letters written by Ilya Erenburg to Michail Koltsov in the period of 1935-1937.

Alexander Arkhangel'sky is the author of our traditional section «By the Way».

Literary criticism of the issue is presented by the last article «The Late „Alexandrians”» by untimely deceased filologist and critic Vladimir Slavetsky as well as the article «After Literary Studies» by Tatyana Kasatkina.

In the section «Conversations» prosaist Vyacheslav Repin is interviewing Nikita Struve, the head of the well-known Paris publishing house «YMCA-press».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. Е. Борщевская, М. В. Бутов (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев, С. П. Костырко (редактор электронной версии журнала), Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, А. А. Носов,

И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Технический редактор Л. Б. Лёвова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,
отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, историко-архивный отдел — 209-12-50,
для справок — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@deol.ru

Электронная версия журнала: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”».

Сдано в набор 20.11.98 г. Подписано к печати 25.01.99 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.
Высокая печать. Объем 15,0 п. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 950 экз. Зак. 5065. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

В 1999 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Дух времени и чувство юмора (речь перед австрийской аудиторией);

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Монахи (роман);

МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (портреты);

АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);

ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);

ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов;

МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.

Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);

БОРИС ЕКИМОВ. Пиночет (повесть);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. После инфаркта (повесть);

АНАТОЛИЙ КИМ. Близнец (роман);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Читающая вода (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);

МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);

ВИТАЛИЙ СВИНЦОВ. Достоевский и «отношения между полами»;

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. День денег (плутовской роман);

А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);

а также романы, повести, рассказы ВИКТОРА АСТАФЬЕВА, ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЕНА ЗЛОБИНОЙ, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**